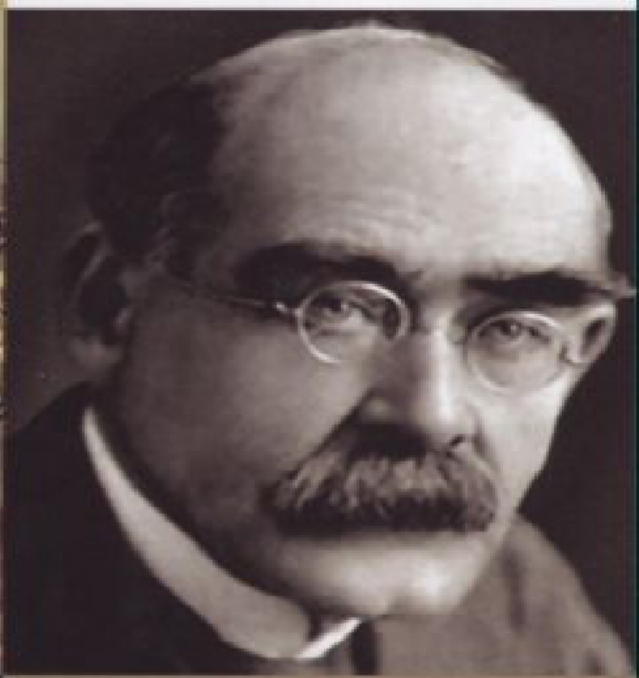
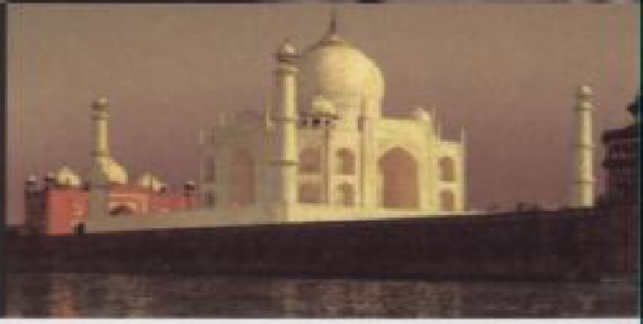
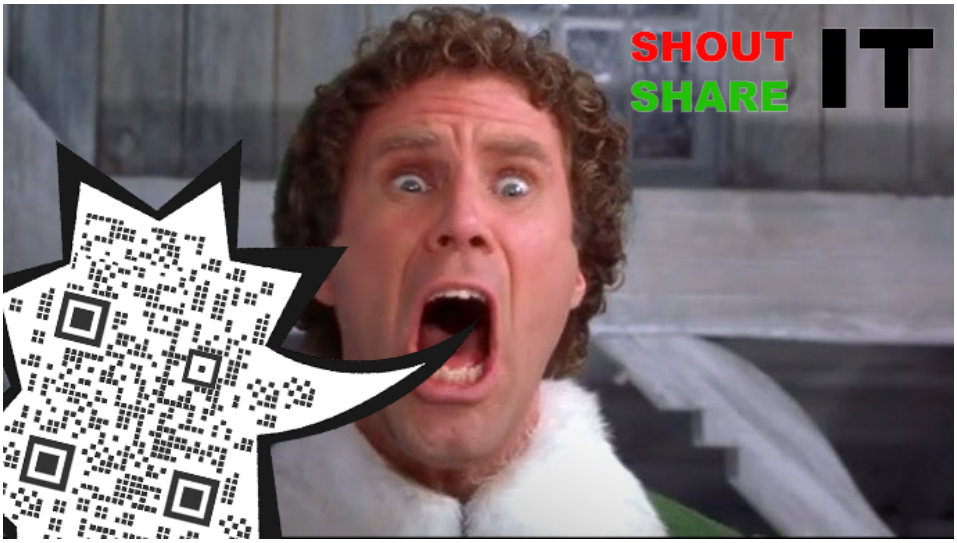
КИПЛИНГ





Александр Ливергант

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Литературная репутация Редьярда Киплинга так же неоднозначна, как его личность. С одной стороны — «бард британского империализма», воспеватель войн и колониальных захватов, с другой — автор замечательных стихов, рассказов, сказок, первый английский лауреат Нобелевской премии. Многие его произведения посвящены Индии, где писатель провел детство и юность, впервые открыв эту громадную многоликую страну остальному миру. Его герои — волчий приемыш Маугли и юный разведчик Ким, любопытный Слоненок и смелый мангуст Рикки-Тикки-Тави — до сих пор любимы читателями и зрителями разных стран, хотя сам Киплинг с его безнадежно устаревшими политическими взглядами еще при жизни оказался оттеснен на обочину литературной жизни. Автор первой в России биографии Киплинга, известный переводчик Александр Ливергант, рассматривает жизненный и творческий путь автора «Книги джунглей» и «Бремени белых», уделяя особое внимание становлению его писательского дара.

- Ливергант А. Я. Киплинг
  - Введение
  - Глава первая ДВА ДЕТСТВА
  - Глава вторая «ШКОЛА, ОПЕРЕДИВШАЯ СВОЕ ВРЕМЯ»
  - Глава третья «РАДДИ, ЭТО БЫЛО НЕ ТАК УЖ ПЛОХО»
  - Глава четвертая ОТ «ПЕКИНА» ДО «БЕРЛИНА»
  - Глава пятая «БЫТИЕ: 45, 9 — 13»
  - Глава шестая КАМЕНЬ ЦЕНОЙ В МИЛЛИОН РУПИЙ
  - Глава седьмая «И ВДВОЕМ ПО ТРОПЕ, НАВСТРЕЧУ СУДЬБЕ…»
  - Глава восьмая МАЛЬЧИК-ВОЛК И ПАЙ-МАЛЬЧИК
  - Глава девятая «МЫ НАЗЫВАЕМ ДОМОМ АНГЛИЮ, ГДЕ НЕ ЖИВЕМ»
  - Глава десятая «И В СЕРДЦЕ ВСТУПАЕТ ТЬМА»
  - Глава одиннадцатая «ДЕНЬ-НОЧЬ-ДЕНЬ-НОЧЬ — МЫ ИДЕМ ПО АФРИКЕ…»
  - Глава двенадцатая «КИМ», КОТОРЫЙ «КОНЧИЛ СЕБЯ САМ»
  - Глава тринадцатая «БОГОМ ЗАБЫТОЕ МЕСТО»
  - Глава четырнадцатая «ВСТАВАЙТЕ В СКОРБНЫЙ ЧАС!»
  - Глава пятнадцатая «ДОЛЖЕН ЖЕ ПОЕЗД КОГДА-НИБУДЬ ОСТАНОВИТЬСЯ»

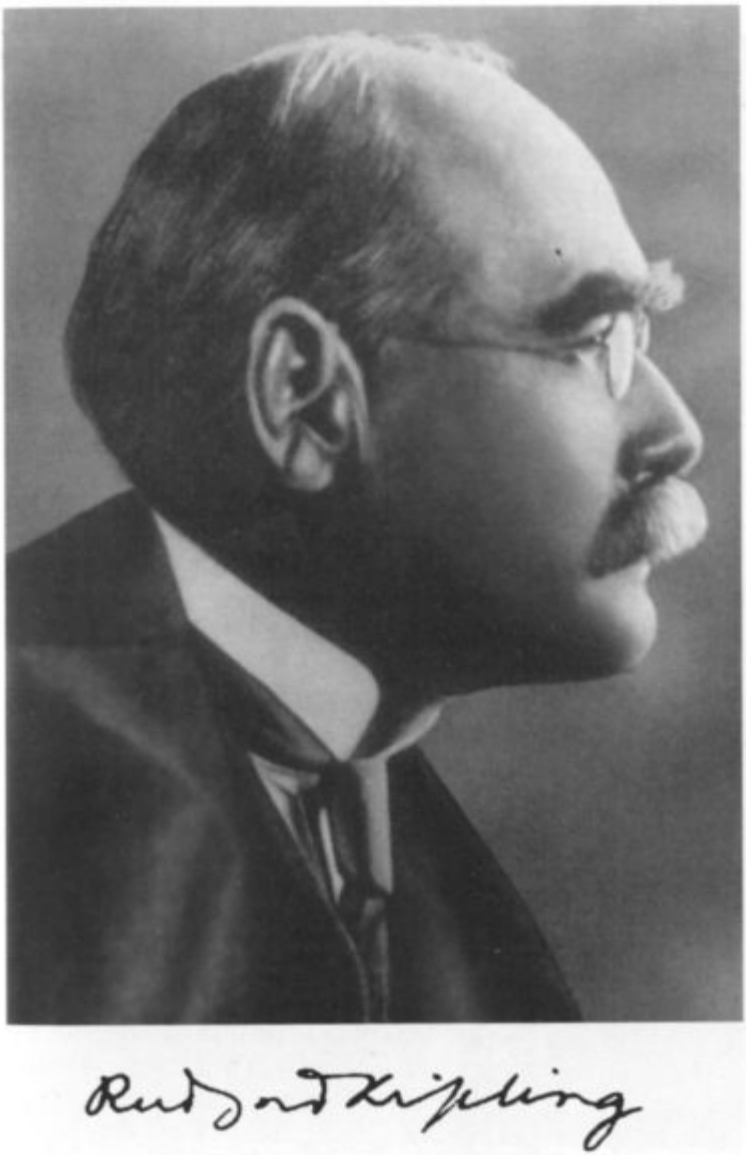
- ПРИЛОЖЕНИЕ I
- ПРИЛОЖЕНИЕ II
- ПРИЛОЖЕНИЕ III
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39

Ливергант А. Я. Киплинг

Введение



Даже те, кто никогда не читал или подзабыл классику, русскую и зарубежную, живо откликнутся на такие азбучные цитаты, как «Все смешалось в доме Облонских», «Человек — это звучит гордо» или «Быть или не быть?».

Редьярд Киплинг — которого сегодня если и читают, то разве что в детстве (удел многих, со временем «молодеющих»

классиков), если и помнят, то «Книгу джунглей» и «Просто сказки», если и цитируют, то Багиру и Рикки-Тикки-Тави, а не Кима, полицейского Стрикленда или художника Дика Хелдера, — пополнил эту коллекцию такими хрестоматийными словосочетаниями, как «закон джунглей» или «бремя белого человека». Такими поэтическими строками, как «Запад есть Запад, Восток есть Восток» или «Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неумолимый бег…».

Слава «барда Британской империи», который, по словам его друга и вечного оппонента Герберта Уэллса, «поразительно подчинил нас себе… вбил нам в головы звенящие и неотступные строки, заставил многих… подражать себе… дал особенную окраску нашему повседневному языку», была столь же фомкой, сколь и недолговечной. В 90-е годы позапрошлого века «туземнорожденный» Киплинг единодушно считался первым писателем Англии, однако до конца столетия все главное было уже им создано. После Первой мировой войны писатель сначала отошел в тень, а затем, еще при жизни, был прочно забыт и вписан в пантеон почитаемых, но не читаемых классиков. По словам крупнейшего англоязычного поэта XX века Томаса Стернза Элиота, вновь, уже перед самым началом Второй мировой войны, открывшего киплинговскую поэзию, Киплинг еще при жизни стал «забытой знаменитостью», «лауреатом без лавров».

Похороны первого английского нобелиата в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства были столь же торжественны, сколь и немноголюдны, и в этом не было ничего удивительного: Киплинг-поэт, Киплинг-властитель дум был, по существу, похоронен несколькими десятилетиями ранее. Но довольно скоро выяснилось, что его творчество затронуло умы и сердца британских — и не только британских — читателей куда глубже, чем хотелось бы его хулителям. «На протяжении пяти литературных поколений, — писал о нем Джордж Оруэлл, отнюдь не разделявший политических воззрений автора „Книг джунглей“ и „Кима“, — всякий просвещенный человек презирал Киплинга, но, в конце концов, девять десятых этих просвещенных людей оказались забыты, Киплинг же по-прежнему с нами». А презирали Киплинга не только за реакционные политические взгляды, но еще и потому, что забыли про его поэтическую «Просьбу»: «Расспрашивайте про меня лишь у моих же книг[1]». Для писателя — а Киплинг, не будем этого забывать, был прежде всего писателем, — такая просьба вполне оправданна.

Глава первая ДВА ДЕТСТВА

Из церкви Сент-Мэри Эбботс в Кенсингтоне молодые отправились не на свадебный ужин вместе с гостями, а на пароход, отбывавший в Бомбей. Свадьбу праздновали без них.

Без Джона Локвуда Киплинга, художника-иллюстратора, скульптора, архитектора, искусствоведа, дельного и энергичного администратора, отлично справившегося с должностью директора музеев и художественных школ в Бомбее и в Лахоре, и, вдобавок, способного литератора, тонкого стилиста, про которого его знаменитый сын сказал как-то, что отец владеет пером лучше, чем он сам.

И без Алисы Киплинг, урожденной Макдональд, родившейся в том же 1837 году, что и ее избранник, но происходившей из семьи более культурной и образованной, с куда большими связями, стоявшей на общественной лестнице выше Киплингов.

Прадед писателя по отцовской линии Джон Киплинг был простым йоркширским фермером, а дед, один из шестерых его детей, преподобный Джозеф Киплинг — методистским священником. 6 июля 1837 года у него и у его жены, дочери мажордома лорда Малгрейва Франсес Локвуд, родился первенец Джон Локвуд. Семейство преподобного Джозефа Киплинга часто переезжало, по долгу службы главы семьи, с места на место, и мальчика определили в почтенную, с традициями методистскую школу Вудхаус-Гроув под Лидсом. В 1851 году тринадцатилетний Джон Локвуд отправился с классом на экскурсионном поезде в Лондон, на Всемирную выставку в Гайд-парке, и поездка эта оказалась в его жизни решающей. Прошло всего несколько лет, а молодой человек уже подвизался скульптором на строительстве Музея Южного Кенсингтона (теперь — Виктории и Альберта), о чем, между прочим, свидетельствует его портрет на стенной росписи, для которой он позировал собственной персоной.

В 1859 году в жизни Джона Локвуда, работавшего в то время в Берслеме в гончарной мастерской и дававшего для заработка уроки французского (в Вудхаус-Гроув языкам, как, впрочем, и другим предметам, учили на совесть), происходит еще одно памятное событие: он сходится со своим сверстником, священником, преподобным Фредериком Макдональдом, и весной 1863 года на пикнике на озере Редьярд в Стаффордшире знакомится с его сестрой и своей будущей женой Алисой, которая была старше его — впрочем, всего на несколько недель.

В жилах Макдональдов текла кельтская (шотландская, ирландская и валлийская) кровь. Дед и отец Алисы, двух ее

братьев и четырех сестер были, как и отец ее мужа, священниками-методистами. Отец, преподобный Джордж Макдональд, как и его будущий зять, получил образование в Вудхаус-Гроув. В пятидесятые годы методистская «охота к перемене мест» приводит Джорджа Макдональда в Бирмингем, а его старшего сына — в тамошнюю художественную школу короля Эдуарда, где непререкаемым авторитетом пользуется самый одаренный из учащихся — будущий знаменитый художник-прерафаэлит Эдвард Бёрн-Джонс. Когда спустя несколько лет Бёрн-Джонс переехал в столицу, в его лондонскую мастерскую, которую он снимал на паях с другой знаменитостью и тоже прерафаэлитом Уильямом Моррисом, наведывались и бывший его соученик Генри, и младший брат Фредерик, и любимица семьи Макдональдов, старшая сестра Джорджина. В 1860 году Джорджина вышла замуж за Бёрн-Джонса, и спустя четыре года уже обремененные семейством молодые люди переехали в Фулхэм, в большой старинный особняк на Норт-Энд-роуд, именуемый Грейндж (мыза, ферма). Этому-то особняку, где некогда живал знаменитый автор «Памелы» и «Клариссы» Сэмюэл Ричардсон, и предстояло на три с лишним десятилетия стать местом встречи многочисленного и дружного семейства Макдональдов. Здесь родители развлекали детей, а дети родителей. Здесь принято было играть с детьми под Рождество в магический фонарь и «изюминку на спиртовке», учить их рисовать и писать стихи, читать им книги и рассказывать невероятные истории. В нелегкие семидесятые, когда юный Редьярд Киплинг был оторван от родителей и жил «в людях», Грейндж, Бёрн-Джонсы, дядя Топси, как дети звали У. Морриса, старшие и младшие кузены и кузины станут для него отдушиной и подспорьем, праздником, который, увы, был с ним далеко не всегда.

Свадьба Киплингов — если не считать, что сами молодожены, как уже говорилось, на ней отсутствовали, — удалась на славу. Джорджина, ее устроительница и вдохновительница, предусмотрела, кажется, всё. Пышный прием по случаю состоявшегося Смарта 1865 года обручения невысокого, улыбчивого, сдержанно-добродушного Джона Локвуда и умницы и красавицы Алисы — голубоглазой, с густыми золотисто-каштановыми волосами, острыми чертами лица и таким же острым язычком, — почтил своим посещением весь литературный и художественный Лондон. Поэтический мир был представлен крупнейшими именами — Робертом Браунингом и тогдашним кумиром читающей публики, горбуном с рыжей копной волос на львиной голове Алджерноном Чарльзом Суинберном.

Прерафаэлитское братство присутствовало почти в полном составе: Бёрн-Джонс, Уильям Моррис, художник и поэт, один из основателей братства Данте Габриэль Россетти, его брат, литератор и художественный критик Уильям Майкл Россетти, а также живописец и книжный иллюстратор Форд Мэдокс Браун. Это он, в отсутствие жениха, потешал гостей, переиначивая имя Джона Киплинга в Джона Гилпина — торговца льняным товаром, незадачливого героя шуточного стихотворения английского поэта XVIII века Уильяма Каупера…

Итак, молодожены, презрев свадебные ритуалы, в тот же день отбыли в Бомбей, где Джону Локвуду стараниями шурина, а также своего учителя сэра Филиппа Канлиф-Оуэна предстояло возглавить уже лет десять существовавшую, основанную богатым парсом художественную школу в экзотической должности «профессор архитектурной скульптуры» и где в предпоследний день того же 1865 года у Киплингов родился сын, нареченный в честь деда Джозефом, а в честь места, где познакомились родители — Редьярдом. Идея назвать первенца этим необычным именем принадлежала, впрочем, не родителям, а младшей сестре Алисы Луизе, которая, с точки зрения Макдональдов, сделала куда лучшую партию, чем сестра, выйдя замуж за богатого фабриканта Альфреда Болдуина и став матерью будущего английского премьера Стэнли Болдуина. Надо сказать, что все Макдональды так или иначе преуспели в жизни: старший, Фредерик, сделал завидную духовную карьеру, а вторая сестра Джорджины Агнес вышла замуж тоже очень удачно и тоже за художника. Ее муж Эдвард Пойнтер стал со временем директором той самой Кенсингтонской художественной школы, где в свое время учился Джон Локвуд, а в 1896 году — президентом Королевской академии искусства.

Со стороны может показаться, что Алиса и в самом деле — даром что по любви — вышла замуж не слишком удачно. И то сказать, кто такой был малоимущий учитель живописи и декоратор по сравнению с Бёрн-Джонсом, Пойнтером и Альфредом Болдуином? И ладно бы малоимущий, — еще ведь и авантюрист: не всякий бы отважился увезти молодую жену на край света. Макдональды были от этого «волюнтаристского» решения, прямо скажем, не в восторге. А между тем идея уехать в Индию с ее голодом и эпидемиями, да еще спустя всего несколько лет после кровавого, только что подавленного восстания сипаев, дабы обрести там независимость — и материальную, и семейную, — принадлежала вовсе не Джону Киплингу, а его жене, отличавшейся, по отзывам знавших ее, в том числе мужа и сына, куда более сильным и независимым нравом, чем несколько

отрешенный от жизни Джон, писавший о своей спутнице жизни с нескрываемым восторгом и даже не без некоторой зависти: «Она видела на сто миль вперед и не столько объясняла свои доводы, сколько на них настаивала… Проницательность, коей она отличалась, была сродни вспышке молнии…» Если учесть, что дар ее сына взращен был Индией и неизвестно, кем стал бы Джозеф Редьярд (и стал бы кем-нибудь), не отправься его родители тем холодным мартовским днем прямо из-под венца на бомбейский пароход — Алиса Макдональд видела не на сто, а на несколько тысяч миль вперед.

* * *

«В детстве у меня не было детства», — писал Чехов. У Киплинга их было целых два — индийское и английское. В индийском детстве у автора «Маугли» детство было, в английском — не было. В Бомбее, где Джон Локвуд, с самого начала стремившийся развивать исконно индийские искусства и ремесла, был окружен любовью и почтением, юного Редьярда рьяно опекали все находящиеся в доме слуги и в основном, конечно, айя (няня), не спускавшая с него глаз. С первых же месяцев жизни Ралли, как его называли в семье, был избалован вниманием окружавших его взрослых, белых и цветных, и когда в одном из первых своих рассказов Киплинг писал о шестилетнем мальчике: «Ему никогда не приходило в голову, что на свете найдется хоть один человек, способный ослушаться его приказов», — он явно имел в виду самого себя.

В возрасте двух с половиной лет Редьярд совершил свое первое путешествие из Индии в Англию, куда Алиса Киплинг, беременная вторым ребенком, отправилась рожать, захватив с собой и маленького сына. Сестра Алисы Луиза Болдуин нашла племянника, боготворимого взрослыми умницу и шалуна, своенравным, избалованным, излишне разговорчивым, не в меру любопытным и капризным — одним словом, дурно воспитанным ребенком: ласковая, преданная, даже подобострастная индийская прислуга сделала свое дело. «Некоторое время Радди мог быть мил и вежлив, — вспоминала впоследствии тетя Луиза, — зато потом в него словно бес вселялся. Он принимался истошно кричать… Не знаю, как его бедная мать справится с ним на обратном пути в Бомбей, ведь у нее на руках будут грудной ребенок и этот упрямый, своенравный бунтарь».

Капризы «бунтаря» продолжались и после возвращения из Англии, где Радди обзавелся еще одной Алисой — любимой

младшей сестрой, которую в семье прозвали Трикс («Проказница») и про которую старший брат, когда его спрашивали: «Это твоя сестра?» — с гордостью отвечал: «Нет, это моя дама».

Безмятежное индийское детство продолжалось еще почти три года, и за это время у разбитного, говорливого мальчика в матроске, с длинными светлыми волосами и большими темно-синими глазами, которого слуги прозвали «маленьким другом всему свету» (спустя много лет Киплинг наделит этим именем своего Кима), обнаружились не только отрицательные свойства, за которые попеняла его матери лондонская тетка, но и некоторые незаурядные способности, прежде всего исключительная наблюдательность и превосходная память. Друзья и знакомые Киплинга будут вспоминать, что писатель и в преклонном возрасте никогда не записывал ничего из того, что видел и слышал; всё, вслед за матерью, схватывал на лету, запоминая сразу и на всю жизнь. Запомнил, к примеру, — и это в два с половиной года! — как родители везли его на поезде через пустыню из Суэца (Суэцкого канала тогда еще не было) в Александрию: «Были поезд, шедший через пустыню, остановка посреди нее, и маленькая, закутанная в шаль девочка, сидевшая напротив меня, лицо ее я помню до сих пор…»[2] Друг отца парс Пестонджи Бомонджи вспоминал спустя шестьдесят лет, что пятилетний Редьярд «не забывал ни одного лица, ни одного имени». На хинди (а вернее, на хиндустани — смеси хинди, арабского и персидского) Радди объяснялся лучше, а главное — охотнее, чем по-английски, ведь его постоянными собеседниками были не родители, а местные жители — няня его сестры, португалка-католичка, певшая детям индийские колыбельные песни, носильщик-индус Мита, делавший игрушки из апельсинов и орехов и не раз бравший юного сахиба с собой в храм Шивы. Юный Киплинг так привык говорить на местном наречии, что на английский переходил с трудом, да и то исключительно под давлением родителей. «За наших корми-лиц-язычниц, за язык младенческих дней, их речь была нашей речью, пока мы не знали своей»[3], — напишет Киплинг спустя четверть века в стихотворении «По праву рождения».

Но мальчику не было еще шести, когда счастливое индийское детство внезапно оборвалось и началось второе, куда менее счастливое — английское.

Известна точная дата начала английского детства Редьярда Киплинга — 15 апреля 1871 года. В этот день родители и двое детей, шестилетний Радди и трехлетняя Трикс, вновь погрузились на пароход и отплыли на родину — во второй раз за последние

три года. В Бомбей родители вернулись в декабре того же года, Радди — спустя десять лет. Пять из них брат с сестрой провели в Саутси, под Портсмутом, в доме своих опекунов — найденной по объявлению четы Холлоуэй, морского офицера и его жены. Прайс Эйджер Холлоуэй был отставным капитаном китобойного судна, служившим в юности мичманом на военном корабле «Бриск» и раненным в битве с турками при Наварине 20 октября 1827 года. Согласно традиции дети в англо-индийских семьях образование должны были получать на родине — а что такое для англичан традиция, все мы хорошо знаем. Вот и получилось, что люди чужие и совершенно незнакомые приобрели нежданно-негаданно статус родственников, став юным Киплингам приемными родителями, которых Радди и Трикс обязаны были называть не иначе как «дядя Гарри» и «тетушка Роза». Семья разделилась. Младших Киплингов — небезвозмездно, разумеется, — отдали опекунам, а позже — в местную школу. Старшие же, не желая, видимо, травить детям душу, потихоньку (мы бы сказали «по-английски»), как и шесть лет назад после венчания, сели на пароход и уплыли обратно в Бомбей. «Быстрее научись читать и писать, чтобы мы могли присылать тебе книги» — вот всё, что отец сказал перед расставанием сыну.

В Лорн-Лодже, в доме «дяди» и «тетушки», Радди проживет пять лет и три месяца, с шести лет до одиннадцати, Трикс — на несколько лет больше. Какую цену заплатил за обучение детей и их проживание в приюте Джон Локвуд Киплинг, неизвестно, да и неинтересно, зато его сыну пребывание «в людях» обошлось дорого: мальчик быстро почувствовал разницу между родителями настоящими и приемными. Между бомбейским бунгало с пышным садом и студией отцовской школы искусств, полной причудливых вещиц и аппетитных запахов красок и масел, и Домом отчаяния, как впоследствии назовет писатель Лорн-Лодж в Саутси.

И отец, и сын свое слово сдержали. Радди, хоть и не без труда, выучился азбуке, и родители исправно снабжали его книгами, которые он читал запоем, отчего очень быстро и на всю жизнь испортил себе зрение. В Доме отчаяния, чтобы справиться с отчаянием, отгородиться от действительности, он не только читал все подряд, но и разыгрывал все, что читал. «Когда отец прислал мне „Робинзона Крузо“ с иллюстрациями, я стал в одиночестве устраивать торговлю с дикарями… в подвальной комнате, где не раз отбывал одиночное заключение». Читал он не только детские книжки («Робинзона», сказки братьев Гримм, Андерсена), но и взрослые: Беньяна, Филдинга, Диккенса, стихи Вордсворта и Теннисона, поэмы Эмерсона и рассказы Брет-Гарта.

Дети, у которых в детстве нет детства, взрослеют, как известно, куда быстрее счастливых, благополучных детей. Вот и Радди возмужал очень рано, тяготы жизни «в людях» в каком-то смысле пошли ему на пользу. Под ударами судьбы (и тети Розы, жестокой и вздорной ханжи) он вырос не робким, забитым, а решительным, уверенным в себе, способным за себя постоять. Нет худа без добра: куда только девались в конце приютской жизни упрямство, капризы, болтливость, обидчивость избалованного, всеми обожаемого младенца, который мог, вспоминает Луиза Макдональд, бежать по улице с громкими криками: «Ну-ка, все прочь с дороги, сердитый Радди идет!» Сталь, которую мы ощущаем в стихах и прозе «железного Редьярда», закалилась именно тогда, в Саутси, что будущий писатель как будто сознавал и сам. «Моя тогдашняя жизнь была хорошей подготовкой к будущему», — вспоминает он в автобиографии. В автобиографическом же рассказе «Мэ-э, паршивая овца…» из сборника «Маленький Вилли Винки и другие рассказы для детей» звучит совсем другая, далеко не жизнеутверждающая тональность: «Когда детским губам довелось испить полной мерой горькую чашу Злобы, Подозрительности, Отчаяния, всей на свете любви не хватит, чтобы однажды изведанное стерлось бесследно…»[4]

Вот и непонятно, кто прав — родители, отдавшие его на воспитание чужим людям, или те биографы, которые сокрушаются, отчего, дескать, было не поселить детей либо у старших Макдональдов, либо у старших Киплингов (в бабушках и дедушках недостатка не было). Либо — что для детей было бы лучше всего — у Бёрн-Джонсов в Грейндже. Но Алиса рассудила — и не в первый раз, как мы знаем, — что лучше всего полагаться на самих себя. Что родственники, пусть и самые близкие, могут оказаться менее пригодными для воспитания ее детей, чем чужие люди, тем более что ей наверняка запомнилось, как не полюбился Радди ее сестре Луизе, которой «тетушка Роза», в отличие от племянника, пришлась по вкусу. «Какая славная женщина», — отозвалась она о «приемной матери» Киплинга, когда однажды заехала в Лорн-Лодж проведать детей сестры.

Как бы то ни было, Радди и Трикс были принесены в жертву славной британской традиции воспитания детей «на стороне», а заодно — родительским независимости и здравому смыслу. Здравый смысл состоял, помимо прочего, и в том, чтобы потратить время, освободившееся от детей, на побочные заработки — зарплата музейщика была, прямо скажем, невелика. И заработки для родителей Радди и Трикс, людей творческих и литературно одаренных, нашлись. Алиса, женщина образованная,

начитанная, с отличным вкусом, регулярно писала для разных газет и журналов. Заметим в скобках, что это ей сын обязан строками из чуть ли не самого известного своего стихотворения: «Запад есть Запад, Восток есть Восток», а также своим любимым риторическим вопросом: «Что знают об Англии те, кто знает только Англию?» Джон Локвуд же подвизался бомбейским корреспондентом выходящей в Аллахабаде общеиндийской газеты «Пионер», куда со временем устроится работать и Редьярд; кроме того, будучи человеком многосторонним, он работал по дереву, по металлу, был графиком и иллюстратором (впоследствии — произведений собственного сына), лепил барельефы. В апреле 1875 года они с Алисой переехали в столицу Пенджаба Лахор, где Джон Локвуд получил место куратора Центрального музея индийского искусства и стал вдобавок директором школы прикладного искусства. Когда королева Виктория была провозглашена императрицей Индии, Киплингу-старшему поручили нарисовать флаги для вице-короля, губернаторов и туземных князей, принимавших участие в торжествах, состоявшихся 1 января 1877 года. Место в англо-индийском обществе было завоевано.

В жертву родительской карьере принесен был, собственно, только Радди: малышка Трикс, которую брат снисходительно называл «Дитя», с приемными родителями вполне ладила и даже отваживалась защищать от них брата, отчего брат и сестра не только не разошлись, а сблизились еще больше. И это при том, что «тетушка» делала все возможное, чтобы поссорить брата с сестрой: первого не уставала ругать, вторую — хвалить и ставить мальчику в пример.

Надо сказать, что с дядей Гарри, который, увы, вскоре умер, у Радди сразу же возникла взаимная симпатия; отставной капитан не раз брал с собой мальчика в длительные прогулки, развлекал удивительными морскими историями. Зато отношения с тетушкой Розой и ее десятилетним сыном (с которым Радди вынужден был жить в одной комнате) у шестилетнего Киплинга не сложились. Если же называть вещи своими именами, мать и сын на пару подвергали его постоянным издевательствам (когда Радди выбросил дневник с отметками, по всей видимости, не слишком хорошими, они на пару заставили его ходить в школу с надписью «лгун» на груди), попрекам, насмешкам, а бывало, и побоям. Тут, справедливости ради, вставим, что Радди, капризный, взбалмошный выдумщик, в свою очередь, давал постоянный повод для попреков. То, что вызывало всеобщий восторг в Бомбее, в Саутси воспринималось с откровенной неприязнью. Когда Алиса в конце сыновнего пребывания в

приюте, напуганная рассказами родственников о том, что ее сын совсем приуныл (и это еще мягко сказано — у него, говоря современным языком, началось нервное истощение, появились галлюцинации) и к тому же стал очень плохо видеть, приехала его забрать и поднялась однажды вечером к нему в спальню, мальчик, стоило матери нагнуться его поцеловать, заслонился от нее локтем. Рефлекс более чем понятный: в Доме отчаяния перед сном его куда чаще ожидали затрещины, чем поцелуи.

Свою безрадостную жизнь в Лорн-Лодже Киплинг описал трижды. Сперва, о чем уже говорилось, в рассказе 1888 года «Мэ-э, паршивая овца…»; кого автор называет «паршивой овцой» или «Паршивцем», из вышеизложенного понятно. Потом, двумя годами позже, — в своем первом, не слишком удачном, перегруженном автобиографическими деталями и аллюзиями романе «Свет погас», о котором еще будет сказано. И, наконец, в начале уже не раз упоминавшейся автобиографии. И в «Паршивой овце», и в романе избиениям и унижениям приютских детей, в которых без труда узнаются Радди и Трикс, уделено довольно много места — впрочем, произведения это художественные, и верить им биографы не обязаны. В автобиографии же Киплинг, словно сообразуясь с названием («Немного о себе»), о своих детских мытарствах особенно не распространяется, пишет о них намеренно скупо, как-то даже отстраненно, словно все происходившее в Саутси было не с ним. Эмоции — не то что в «Паршивой овце» — приглушены, а то и вовсе сведены на нет, отчего рисуется картина еще более безотрадная, чем в рассказе и романе. Вот лишь некоторые выдержки из «сердца горестных замет»: «Старый капитан умер, и я очень огорчился…», «Женщина (так, с большой буквы, автор называет ненавистную тетушку) управляла домом со всем пылом протестантизма…», «однажды я видел, как Женщина била девочку-служанку…», «сам я регулярно получал побои…», «я хлебнул немало грубого обращения…», «Женщина и ее сын учинили мне допрос с пристрастием…», «рай для меня заканчивался, я возвращался в Дом отчаяния и два-три дня плакал, просыпаясь по утрам…»

Раем, к несчастью мимолетным, сменявшим «адские» будни в Лорн-Лодже, был Грейндж, куда дети отправлялись на рождественские каникулы, а иногда и на выходные. В описании Грейнджа — в отличие от постылого Лорн-Лоджа, о котором Киплинг пишет словно бы нехотя, — «немного о себе» превращается в «много о себе», да и о других тоже; автор не скупится на краски и положительные эмоции:

«В Грейндже я получал столько любви и внимания, сколько могут пожелать самые жадные, а я был не особенно жаден. Там

были чудесные запахи краски и скипидара, доносившиеся из большой мастерской на втором этаже, где работал мой дядя; было общество моих двоюродных брата и сестры, наклонно растущее тутовое дерево, на которое мы взбирались для совещаний и заговоров. Был конь-качалка в детской, стол, который, водруженный двумя ножками на стулья, представлял собой великолепную горку для катания. Были красочные картины, завершенные и полузавершенные; а в комнатах стулья и шкафы, каких мир еще не видывал[5], так как Уильям Моррис (наш „дядя Топси“) только начинал делать такие вещи. Были постоянные приходы и уходы детей и взрослых, хотевших поиграть с нами, — за исключением пожилого человека по фамилии Браунинг, не проявлявшего должного интереса к боям, бушевавшим при его появлении. Но гораздо лучше всех была наша любимая тетя, читавшая нам вслух „Пирата“ и „Тысячу и одну ночь“ по вечерам, когда мы лежали на больших диванах, жевали ириски и обращались друг к другу: „О, сын“, или „Дочь моего дяди“, или „О, правоверный“».

К написанному Киплингом в автобиографии стоило бы прибавить, что в Грейндже Киплинг не только «получал» любовь и внимание, но и дарил их. Кузина Флоренс вспоминает, что Радди потешал двоюродных сестер и братьев всевозможными проделками и невероятными, придуманными на ходу историями, был олицетворением неистощимого любопытства, энтузиазма и предприимчивости, порой довольно рискованной. Предприимчивость эта нередко оборачивалась ему боком; однажды, вспоминает Флоренс Макдональд, Радди вернулся с Рэддисон-Роуд-Стейшн, где проводник поезда надрал ему за какую-то проделку уши. Успокоился упрямый шалун лишь после того, как еще раз сбегал на станцию «поквитаться» с проводником, которого, по счастью, на месте не оказалось…

Своего «Паршивца» Алиса забрала из Дома отчаяния в марте 1877 года. Меньше года отделяло Радди от поступления в Юнайтед-Сервисез-колледж, военизированную школу-интернат неподалеку от Байфорда, большая часть учеников которой родились за пределами Англии, причем (Киплинг — исключение) в военных семьях. Короткий промежуток, счастливая интерлюдия между детским испытанием (Саутси) и испытанием юношеским (Юнайтед-Сервисез-колледж), в жизни Киплинга заметен мало, биографы не обращают на него особого внимания, а между тем он очень важен. Прожив с матерью и сестрой несколько безмятежных месяцев на лоне природы в Эппинг-Форесте близ Лоутона, Радди, Трикс и Алиса перебираются в Лондон и на месяц с лишним останавливаются в меблированных комнатах на Бромптон-Роуд

напротив знаменитого Музея Южного Кенсингтона, того самого, на строительстве которого подвизался некогда Джон Локвуд. Музей этот сыграл в жизни Киплинга-младшего примерно такую же роль, как Всемирная выставка в Гайд-парке в жизни старшего. Экспонаты музея, куда брат с сестрой ходили каждый день как на работу, развили его художественное сознание, уже пробужденное бомбейской студией отца и Грейнджем, где творили Бёрн-Джонс и Моррис. Гигантский Будда с дверцей в спине, рукописи знаменитых писателей, кареты с позолотой, модели машин, коллекции музыкальных инструментов, драгоценных камней и старинного оружия дали мощный толчок его творческому импульсу.

Литературные горизонты Радди как-то вдруг и резко расширяются. Один из романов Диккенса (какой, Киплинг не упоминает), чья рукопись была выставлена в Кенсингтонском музее, кажется ему, еще не сочинившему ни строчки двенадцатилетнему мальчишке, «небрежно написанным». «Диккенс пропускал много такого, что потом вынужден был втискивать между строк», — суждение, может, и спорное, но для подростка, согласитесь, весьма неординарное. Радди вдруг осознает, что его собственная мать, оказывается, сочиняет стихи, «что-то» пишет и рисует отец, начинает понимать, что книги и картины принадлежат к важнейшим вещам на свете, что «можно взять ручку и изложить на бумаге то, что думаешь, и никто не обвинит тебя в том, что ты выламываешься!». (Тут, положим, он ошибается: обвинят, еще как обвинят!)

В Юнайтед-Сервисез-колледж, этот питомник будущих «строителей империи», где учащихся, вслед за их отцами, готовили защищать отечество, поступил подросток с совсем другими задатками и устремлениями. Подошло к концу и второе — английское — детство Киплинга.

Глава вторая «ШКОЛА, ОПЕРЕДИВШАЯ СВОЕ ВРЕМЯ»

И опять Редьярд попал не туда, куда хотел. Он-то рассчитывал, вслед за своим кузеном Стэнли Болдуином, учиться в престижной закрытой школе Харроу, кузнице, наряду с Итоном, великих мужей Британии. А попал в никому не известную школу «на краю Англии», с весьма туманными перспективами после ее окончания.

Вот как описывает появление юного Киплинга в Юнайтед-Сервисез-колледж его закадычный друг, скептик и язва, ирландец Джордж Бирсфорд, прототип Индюка в еще одной автобиографической книге писателя «Прохвост и компания»[6]. «Серым промозглым январским днем 1878 года в отделение для начинающих впорхнул живой, подвижный, приземистый, не по годам развитой маленький человечек. Вернее сказать, сначала в комнату ворвалась сияющая улыбка, а уж следом за ней новенький. Верхом на улыбке скакали очки. Сочеталась улыбка с очками плохо: в те дни очки считались признаком угрюмой серьезности и преклонного возраста…Если же присмотреться к этому новому ученику, то над улыбкой можно было разглядеть, как это не удивительно, едва заметные усики, пробивавшиеся над верхней губой… Для своих двенадцати лет Киплинг был невысок, даже очень невысок, но зато подтянут и широкоплеч. При этом он был не мускулист и не жилист и пускать в ход кулаки не любил и не умел — да впрочем, из-за очень сильной близорукости и не мог. Он предпочитал не драться, а дружить, а если с кем и ссорился, то не иначе как заручившись надежными союзниками. Он всегда отличался терпением и способностью добиваться своего не кулаками, а дипломатией».

Хотя «сияющая улыбка» (улыбка, очки и усы — основные приметы портрета Киплинга в любом возрасте) ворвалась в комнату раньше низкорослого, живого, подвижного «очкарика», как в школе прозвали новенького, Радди было не до смеха. Это только через десять лет, в одном из первых своих «индийских» рассказов «Отброшенный», Киплинг напишет, что «неблагоразумно воспитывать мальчика по „оранжерейной системе“… если мальчик этот должен самостоятельно вступить в мир и сам заботиться о себе». Это спустя многие годы он лояльно заметит, что колледж «опередил свое время», что он «готовил мужчин, которые делают дело» (всю жизнь Киплинг призывал себя и своих читателей быть настоящим мужчиной и делать

дело). Тогда же, в январе 1878 года, казалось, что история с пансионом в Саутси повторяется. Первое время новенький пишет матери (Алиса вернулась в Индию далеко не сразу, пробыв в Англии в общей сложности около двух лет) слезные письма, жалуется на «жестокую» (brutal) жизнь, чего в бытность свою в Саутси не делал никогда.

И жаловаться было на что. Юнайтед-Сервисез-колледж был основан четырьмя годами ранее бывшими офицерами колониальных войск не от хорошей жизни: денег на престижные закрытые школы у них не хватало, при этом хотелось подготовить детей для гражданской и военной колониальной службы во славу королевы Виктории. Для этой цели к северу от Девона, на заброшенном морском курорте в заливе Байфорд, в городке с забавным названием Уэстворд-Хоу — «Эй, на Запад!» (в память об одноименном, некогда популярном историческом романе Чарльза Кингсли: гибнущая в волнах испанская армада, коварная Елизавета I, испепеляющая любовь испанки и англичанина) куплен был десяток протянувшихся вдоль берега казенных домов, и на месте некогда уютных меблированных комнат выросло длинное, нескладное, смахивающее в лучшем случае на фабрику, а в худшем на тюрьму здание закрытой школы. Если к этому добавить, что обстановка комнат, спальных и классных, была довольно убогой, пища, которой потчевали учеников, — скудной и малосъедобной («наша пища вызвала бы сейчас в Дартмуте мятеж», — писал Киплинг в автобиографии, имея в виду базу британского ВМФ), дисциплина отличалась армейской суровостью, а царившая в школе атмосфера отдавала спартанским аскетизмом, не имевшим ничего общего с обычаями военной академии, то приуныть было отчего.

Киплинг как будто вновь вернулся в Дом отчаяния. В роли тетушки Розы здесь выступал словно сошедший со страниц романа Диккенса школьный капеллан преподобный Джон С. Кэмпбелл, который воспитывал учеников не словом, но делом, то бишь тростью, и про которого соученик Радди напишет впоследствии: «Не припомню, чтобы лицо его не было свирепым, а в руках отсутствовала карающая трость». В роли же десятилетнего Генри Томаса, сына тетушки Розы, измывавшегося над Радди наравне с матерью, выступали многочисленные школьные хулиганы, всегда готовые поступить с вновь прибывшим низкорослым очкариком по неумолимым законам «дедовщины» — обязательного атрибута всякой закрытой школы. Дедовщин в колледже было целых две — учебная и спортивная, и Радди становился жертвой обеих. По закону «учебной дедовщины» он должен был обслуживать старшего по возрасту и

«положению» ученика: готовить ему завтрак, наливать чай, быть у него на побегушках. «Спортивная дедовщина» обязывала подбирать мячи во время игры, убирать территорию и пр. Из-за маленького роста и плохого зрения (единственный очкарик в школе), а также из-за того, что Радди сторонился драк, до «деда» он так и не дослужился…

Были, впрочем, в этом учебном заведении и свои плюсы. Закрытая школа, как уже говорилось, была недорогой, учащиеся пользовались всеми преимуществами здорового морского воздуха, отличной библиотеки и общности биографий, родительских и собственных. Большинство учеников, как и Радди, родились в Индии в семьях колониальных офицеров и чиновников скромного достатка, что не могло их не связывать — во всяком случае, конфликтов на социальной почве среди учащихся не возникало. Главным же плюсом — для Радди Киплинга во всяком случае — был худощавый, бородатый, смуглый человек «с медленной речью», директор колледжа Кормелл Прайс. «Дядя Кром» (Радди знал его по Грейнджу) в свое время учился с Бёрн-Джонсом и Генри Макдональдом в бирмингемской художественной школе, окончил Оксфорд по курсу гражданского права, но юридической практикой заниматься не стал. Забросил и живопись, которой интересовался с детства, увлекся было медициной, однако разочаровался и в ней, после чего отправился в Россию, где несколько лет подвизался гувернером, домашним учителем английского языка в семье графа Орлова-Давыдова, некогда служившего в русском посольстве в Лондоне, почетного члена Академии наук, человека европейски образованного. Из России Прайс вернулся русофилом, либералом и атеистом — сочетание, согласитесь, непривычное. Как бы то ни было, в отличие от абсолютного большинства директоров закрытых викторианских школ, он не только не имел духовного сана, но даже не был убежденным христианином. Капеллан, как мы знаем, в Юнайтед-Сервисез-колледж имел место, а вот часовня отсутствовала, и религиозное воспитание Редьярда Киплинга, таким образом, ограничилось, по существу, библейскими историями в популярном изложении, которые на протяжении шести лет упорно вбивала в него тетушка Роза.

Несостоявшийся медик и прекрасный учитель оказался — особенно для закрытой школы армейского образца — весьма необычным директором. Человек прогрессивных взглядов, к тому же по натуре добрый и мягкий, он был, в отличие от работавших у него в школе преподавателей, принципиальным противником палочной дисциплины. Будь Кормелл Прайс построже, в школе было бы больше порядка, но приструнить драчуна-капеллана и

других распускавших руки учителей дядя Кром был решительно неспособен.

На этот раз уныние Радди продолжалось, по счастью, не слишком долго. В колледж он поступил в январе, а к весне 1878 года свыкся с казарменными порядками, попривык к воспитанию не по «оранжерейной системе», научился сам (а потом всю жизнь учил других) жить, как сказано в «Книге джунглей», «по законам Стаи», — и пребывание в Юнайтед-Сервисез-колледж стало казаться ему и лучше, и веселее. Он подрос, возмужал, перестал быть «пажом» на побегушках у старшеклассников, научился, несмотря на маленький рост и сильную близорукость, давать сдачи. Распускавшего руки капеллана уволили, остальные учителя рукоприкладством грешили куда меньше, к тому же к палочному воспитанию тринадцатилетний подросток относился теперь вполне толерантно; в дальнейшем он будет писать, что такое воспитание прививает корпоративный дух, обуздывает низменные инстинкты, олицетворяет собой торжество Порядка и Дисциплины — высших киплинговских добродетелей.

У Радди появились друзья: уже упоминавшийся ирландец Бирсфорд, которого Радди приохотил в колледже к чтению, а еще Лайонел Данстервилл по прозвищу «Стоки» («Прохвост»). В свое время Прохвосту досталось больше, чем его друзьям, в школу он пришел из бедной семьи и на три года раньше и жертвой дедовщины становился не раз. Теперь же он отыгрывался за нанесенные ему обиды и унижения, сам сделался первым зачинщиком и хулиганом; признанный лидер славной троицы «Данстервилл — Бирсфорд — Киплинг» (в «Прохвосте и компании» это Прохвост, Индюк и Жук), он прослыл неисправимым нарушителем школьных правил и приличий, кумиром школьников и грозой учителей, которые ничего не могли с ним поделать. Сродни Тому Сойеру и Геку Финну, он был столь ловок, неуловим и изобретателен (отсюда и кличка), что ему все сходило с рук. «Главнокомандующий» (как его называет в автобиографии Киплинг) любил, к примеру, во время контрольной положить на колени шпаргалку, привлекая к себе внимание учителя, а когда тот шпаргалку отбирал, то оказывалось, что она пуста. Он мог возглавить шествие учеников на молитву, а потом, перед самым входом в зал, спрятаться за дверь и, когда молебен подходил к концу, как ни в чем не бывало присоединиться к классу в цилиндре и перчатках, с молитвенником в руках…

Колледжем Юнайтед-Сервисез отношения Киплинга с «Прохвостом» Данстервиллом не ограничились. В 1886 году, проработав в Индии уже несколько лет, Киплинг по чистой

случайности обнаружил имя школьного друга в списке служащих в колонии офицеров. Хотя Прохвост к этому времени успел закончить престижную военную школу «Ройял милитари колледж» в Сандхерсте и послужить Вдове (как называли в армии королеву Викторию) на Мальте, в Египте и в Суданской компании, в Индии он был новичком, Киплинг же, напротив — старожилом. Вот почему «Очкарик», словно компенсируя унижения школьных лет, учил друга в письмах уму-разуму — впрочем, в присущей им обоим шутливой форме: «Окажешься в следующий раз в Индии, дай знать — а то я за последствия не отвечаю», или «Что же тебе до сих пор не нацепили медаль на твою мужественную грудь?», или «Никогда не сближайся с афганцем, стреляй в него на расстоянии». Трудно сказать, выполнил ли Прохвост наказ старого друга: Двадцатый Пенджабский полк, в котором он служил, перевели в Амритсар; когда весной 1889 года Киплинг попал в Бирму, он узнал, что «главнокомандующий» храбро воевал там во время Третьей англо-бирманской войны.

Весной 1878 года Джон Локвуд приехал из Индии на Парижскую всемирную выставку и летом повез сына, которому не исполнилось еще и тринадцати, в Париж. Условие у отца было только одно: «Поедешь, если не будешь ко мне приставать». «При той демократии, которая царила в английских закрытых школах, — вспоминал впоследствии Киплинг, — выполнить это условие было несложно». Джон Локвуд добыл Радди бесплатный пропуск на выставку, которая проходила в Тюильри, и предоставил полную свободу передвижений «в этом большом, дружественном городе», давая ему два франка в день (чтобы ни в чем себе не отказывал), а в придачу к франкам — советы, куда пойти: «Ты не ошибешься, если пойдешь…» Эта поездка привила Киплингу неизменную, на всю жизнь любовь к Франции и французам: «В Англию, к себе в школу я вернулся, твердо зная, что по другую сторону канала находится страна, где все иначе, чем у нас, где все восхитительно, где кругом чудеса и все потрясающе вкусно…» Поневоле вспоминается стерновское: «Во Франции это устроено лучше». В школе подобные взгляды на соседнюю страну и извечного соперника, понятное дело, не поощрялись. «Изучение французского языка в английских школах тех лет, — замечает Киплинг в небольшой книжке путевых очерков „Французские сувениры“ (1933), — основывалось на аксиоме: французская литература аморальна, тогда как правильный наклон диакритических знаков и отсутствие ошибок в мужском и женском роде — похвальны». От парижской жизни Ралли получил всё, с утра до ночи бродя по красавцу-городу:

Трокадеро, Нотр-Дам, памятный мальчику по трагической истории Квазимодо и Эсмеральды, книжные развалы на набережной Вольтера. Были забыты на время и унылое здание колледжа в Уэствордж-Хоу, и палочная дисциплина, и требовательность учителей.

Учителя, как, впрочем, и многое в колледже, на поверку оказались (во всяком случае, некоторые) совсем не такими уж плохими. Под стать «дяде Крому» были, по меньшей мере, трое. Во-первых, Герберт Эванс, который в 1880 году основал при школе Общество натуралистов, куда первыми вступила «троица» с Прохвостом во главе, любившая совершать длинные прогулки по морскому берегу. Состоять в Обществе натуралистов было выгодно: можно было ходить, куда захочешь, а можно — спрятаться в утеснике на берегу (это место троица называла «нашей пещерой») и там валяться с книжкой, болтать, греть на спиртовке какао или чай и курить сигары или глиняную трубку в тиши и покое. Помимо Общества натуралистов Эванс учредил и Общество любителей театра; будучи талантливым актером, влюбленным в театр, он поставил в колледже к Рождеству 1881 года «Соперников» Шеридана. Триумвират и здесь проявил инициативу, сыграв в этой пьесе классического английского репертуара ведущие роли; Радди перевоплотился в сэра Энтони Абсолюта. Ставила троица спектакли и без посредства Эванса: огромным успехом пользовались, например, сочиненная Киплингом, признанным школьным литератором номер один, и поставленная всей троицей пантомима-пародия по мотивам «Аладдина и волшебной лампы», а также спектакль «Выпивка» по «Западне» Золя, где сцена белой горячки в исполнении Очкарика неизменно шла на ура.

Во-вторых, Уильям Крофтс, выведенный в «Прохвосте и компании» в образе мистера Кинга. Это он привил юному Киплингу интерес к латинской и английской литературе. Да и к литературе вообще: зло и язвительно, не боясь травмировать впечатлительного и обидчивого подростка, этот вспыльчивый, резкий человек критиковал первые, еще весьма несовершенные литературные опыты юного поэта, научил его уважать слово («Благодаря ему я понял, что словами можно пользоваться, как оружием») и стоически переносить нападки критиков, к которым писатель не только сам всегда относился с похвальным равнодушием, но и настоятельно рекомендовал молодым авторам «особенно не волноваться из-за рецензий». «Если не считать привязанных к столбам мулов, — писал он в автобиографии, — я не видел никого, кто бы, подобно, скажем, критикам из „Манчестер гардиан“, так больно лягался, так и истошно вопил».

С Крофтсом Киплинг сошелся теснее, чем с другими учителями, переписывался с ним, когда жил в Индии, посылал ему все свои индийские стихи, жаловался, бывало, на скучную, однообразную жизнь.

В-третьих, Фрэнк Хаслем, латинист. Хаслем познакомил Радди с Горацием, которого, как впоследствии писал его прославившийся ученик, «я ненавидел два года, забросил на двадцать лет, а потом всю оставшуюся жизнь любил с неизменной страстью». Ненавидеть — ненавидел, но по-латыни, чего нельзя сказать о математике, успевал неплохо. Если верить специалистам, полагающим, что политические оды Горация дают себя знать во многих Стихах зрелого Киплинга, то «виноват» в этом не кто иной, как Фрэнк Хаслем.

Крофтс и Хаслем высмеивали ученические стихи Киплинга, а его прозаические опыты — словно предваряя мнение будущей критики — называли «бульварной журналистикой», не подозревая (как, впрочем, и сам Киплинг), что их ученик уже является автором *опубликованного* поэтического сборника. Дело в том, что по возвращении в Индию Алиса собрала разрозненные стихи сына и в декабре 1881 года издала их за свой счет под названием «Стихи школьника». Поразительным образом, Радди не только не обрадовался, но даже разобиделся: как это мать напечатала его стихи без предупреждения! Стихи эти никогда не переиздавались, как и прочее «школьное творчество» Радди, где он допускал, по его же собственному признанию, «все возможные нарушения рифмы и стихотворного размера». Очкарик вдохновенно сочинял стихи для ежегодного школьного концерта и школьных спектаклей, писал в школьный журнал «Юнайтед-Сервисез-колледж кроникл», который сам же и редактировал. В восьмом, последнем номере (март 1880 года) он опубликовал, к примеру, проникнутое патриотическими чувствами стихотворение в честь королевы Виктории «Ave Imperatrix!» («Да здравствует императрица!»). Патриотические чувства юного автора заслуживают тем большего уважения, что сочинено стихотворение было не где-нибудь, а на уроке французского и записано на обложке французского учебника — знай, мол, наших!

Томас Стернз Элиот оценил эту верноподданническую оду достаточно высоко, хотя она и была подражанием одноименному стихотворению Оскара Уайльда, и счел возможным включить ее в том избранных произведений поэта. Первые же литературные опыты Киплинга относятся еще к 1879 году (автору четырнадцать лет!), когда он, вместе с кузенами и кузинами, сочинял пародии для выпускающегося в Грейндже семейного журнала «Писака».

В колледже Радди много пишет, но еще больше читает, тем

более что слабое зрение не позволяет ему заниматься спортом наравне с остальными учениками. Причем читает не только в «пещере», вместе с друзьями, но и на уроках. Чтобы учитель не отобрал книжку, Радди вырывал из нее несколько страниц, книгу оставлял в комнате, а вырванные страницы брал с собой и читал на уроке. Мол, если отберут, то страницу-другую, а не всю книгу… Расположенный к нему дядя Кром освобождает его от спортивных занятий, разрешает пользоваться, помимо школьной, и собственной библиотекой. Будущий автор «Последнего песнопения» и «Бремени белых» зачитывается английской поэзией — Донном, Суинберном, Браунингом (на двух последних, к слову, он сочинит со временем язвительнейшие пародии). Не гнушается — что для его возраста и тогдашней литературной моды нетипично — американской литературой, читает По, Уитмена, Марка Твена, «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, «Сказки дядюшки Римуса», уже упоминавшегося Брет-Гарта, с которым его — и не без оснований — будут не раз сравнивать лондонские критики.

Литературные увлечения Радди не были для его родителей сюрпризом. Алиса, с присущей ей афористичностью, говорила, что «Радди пишет обеими руками и авторучкой во рту». Эту материнскую метафору Киплинг, к слову сказать, «реализовывал» всю жизнь: все ручки и карандаши в его кабинете были нещадно изгрызаны. Алиса и Джон Локвуд понимали, что сыну «не светят» ни университет — из-за недостатка средств, ни армия — из-за недостатка здоровья, и уже в декабре 1881 года, вскоре после выхода в свет «Стихов школьника», Джон Локвуд пишет приятелю, что намеревается в следующем году отозвать Редьярда в Индию и устроить его на работу в газету — один из владельцев аллахабадского «Пионера» и лахорской «Гражданской и военной газеты» сэр Уильям Раттиган был, по счастью, его хорошим знакомым. «Оксфорд нам не потянуть, — пишет он, — да и Радди изо всех сил стремится к жизни и работе настоящего мужчины». Одно время работой, достойной «настоящего мужчины», юный Киплинг посчитал медицину, непременно хотел выучиться на доктора, однако довольно быстро оставил эту затею. Знакомый его старшей тетки посоветовал сводить юношу в морг, после посещения которого Радди признался сестре: «Ох, Дитя, сказать по правде, меня потом рвало так, что, кажется, я выблевал всю свою бессмертную душу!»

Работа еще только маячила на горизонте, а настоящим мужчиной шестнадцатилетний Киплинг себя уже ощутил — он влюбился. Предметом его увлечения стала приятельница сестры Трикс, жившая вместе с ней в том самом злосчастном Лорн-Лодже. Отправившись в Саутси забрать из пансиона сестру, Радди

— в точности как незадачливый герой его же собственного рассказа «Ресли из департамента иностранных дел» — «с первого взгляда, без всякой видимой причины, вопреки здравому смыслу» влюбился в пятнадцатилетнюю Флоренс Гаррард, «юную деву с прерафаэлитским ликом», чем она, видимо, и завоевала сердце юного почитателя Морриса и Бёрн-Джонса. Мало сказать, влюбился: перед самым своим отъездом в Индию он буквально вымолил у довольно равнодушной «прерафаэлитки» и не слишком одаренной (как в дальнейшем выяснилось) художницы помолвку, которую та спустя два года разорвала, о чем в июле 1884 года известила жениха письмом. На этом, правда, история первой любви Редьярда Киплинга не кончилась, а верней, не совсем кончилась. Влюблен был Редьярд, как видно, очень сильно, ибо спустя два года после одностороннего расторжения помолвки, осенью 1885-го, в письме кузине Маргарет Бёрн-Джонс он просит ее узнать «про некую девицу по имени Фло Гаррард», которая тогда училась в знаменитой лондонской художественной школе «Слейд». «Очень хочу знать, — пишет двоюродной сестре Киплинг, — как она живет, что поделывает… Я бы не обращался к тебе с этой просьбой, но мне ужасно не хватает от нее вестей». Появились «вести» лишь спустя шесть лет. Уже известным писателем он повстречал, причем совершенно случайно, свою суженую — к слову, прототип Мейзи, безответной любви Дика Хелдера из романа «Свет погас», — на лондонской улице; любовь, как пишут в душещипательных романах, «вспыхнула» было вновь, они пару раз встретились и вновь расстались — на этот раз навсегда.

20 сентября 1882 года семнадцатилетний Редьярд Киплинг, без пяти минут профессиональный литератор и жених, поднимается на палубу парохода «Бриндизи», следующего по маршруту Тилбери — Бомбей. Спустя месяц, в конце октября, остановившись на несколько дней в Порт-Саиде, этом, по определению Киплинга, «грозном и нерушимом пограничном пункте между Востоком и Западом», где сражением под Тель-Эль-Кебиром незадолго до этого закончилась победоносная война Британской империи против Египта, он прибыл в Бомбей, откуда на поезде ехал еще трое суток за тысячу миль на северо-запад в Лахор. В Лахоре, как мы уже знаем, директором художественной школы «Майо» и куратором местного музея с 1875 года работал Джон Локвуд, и здесь же находилась основанная десять лет назад «Гражданская и военная газета», идеологический оплот Британской Индии на северо-западе страны.

Поскольку о Британской Индии Киплинг писал много, долго в ней жил и хорошо ее знал, зададимся вопросом: а что такое эта

самая Британская Индия? Какова миссия британцев Киплингов в порабощенной стране, которая стала их домом на много лет и которую они всей семьей так полюбили? Неоднозначная. Двоякая. И разрушительная, и созидательная. Разрушительная, поскольку англичане — вначале, до середины XIX века посредством частной Ост-Индской компании, затем силами государства — осуществляли последовательную и безжалостную колониальную экспансию, умело и цинично используя династические распри, вели войны руками самих индийцев, которых нещадно эксплуатировали и на которых наживали несметные богатства. Созидательная, ибо без Англии в стране еще долго не прекращались бы феодальные междоусобицы, не было бы оплота сегодняшней индийской демократии — системы местного самоуправления, не развивалась бы так быстро промышленность, не выросли бы принадлежащие местному населению мануфактуры, джутовые и хлопчатобумажные фабрики. Англичане, которых в Индии на рубеже веков насчитывалось до четырех миллионов человек, строили в «жемчужине Британской империи» железные дороги, мосты и ирригационные сооружения, закладывали чайные плантации, выпускали газеты, учреждали суды, полицию, открывали университеты и музеи. Джон Локвуд, его музейная, научная, художественная деятельность в Индии — не наглядный ли это пример *созидательной*, а не только *разрушительной* роли Pax Britannica?

А между тем опять, уже в третий раз, планы сына не совпали с планами родителей. Радди хотел бы остаться в Лондоне и сочинять стихи, а родители хотели, чтобы он жил с ними в Лахоре и писал репортажи в местную газету. В том, что такое «работа настоящего мужчины», Джон Локвуд Киплинг и Редьярд Киплинг разошлись. По счастью, ненадолго.

Глава третья «РАДДИ, ЭТО БЫЛО НЕ ТАК УЖ ПЛОХО»

В автобиографии это время Киплинг назовет «семилетней каторгой». «Меня в этой стране (Англии. — А. Л.) считают молодым, — напишет он вначале 1890 года своему другу, поэту и издателю Уильяму Эрнсту Хенли, — но ведь у меня за спиной семь лет Индии, а эти годы не делают человека ни моложе, ни веселее». Ему, конечно, виднее, однако рискнем с ним не согласиться: семь лет, годы с 1882-го по 1889-й, были пусть и не легким, но едва ли не лучшим временем в его жизни. Моложе он не стал точно, веселее — скорее всего, тоже, но, во-первых, он делал дело, к чему всегда стремился. И не одно: ездил по стране, писал очерки в газету, редактировал написанное другими и им самим, набирался жизненного и литературного опыта. Как сказал бы Коля Красоткин, — «наблюдал реализм», который, поскольку реализм этот был индийский и экзотический, спустя несколько лет воспринят был в Англии романтизмом чистой воды, а критиками спустя десятилетия окрещен «неоромантизмом».

А во-вторых, он нашел себя как писатель — работа в англо-индийской прессе дала ему богатый жизненный и не менее богатый литературный материал. И, почти сразу же, обрел своего читателя. Сначала это были всего лишь родители и сестра, соавторы по домашнему журналу. Потом — несколько десятков гражданских лиц и несколько сот английских офицеров — подписчиков лахорской «Гражданской и военной газеты», куда его устроил, сдержав слово, по возвращении из Англии отец. Потом — многочисленные читатели самой в те годы авторитетной в Индии газеты «Пионер», в которую из «Гражданской и военной газеты», «маленькой сестры великого „Пионера“», перешел Киплинг. И, наконец, — лондонский читатель, куда более взыскательный и искушенный.

Рост Киплинга-литератора стремителен и неуклонен. В семнадцать лет он помощник редактора в лахорской газете, в девятнадцать начинает публиковать рассказы и стихотворения, с 1884 года — по случаю, с 1886 года — регулярно, с 1887 года — еженедельно. А с 1889 года двадцатичетырехлетний журналист из колоний становится кумиром лондонской публики. Но мы забегаем вперед…

Как и многие писатели до него и после него (высоко ценивший его Хемингуэй, например), начинал Киплинг с журналистской поденщины. Он увлеченно пишет репортажи о

войнах и эпидемиях, ведет светскую хронику, берет многочисленные интервью и неустанно путешествует по Индии, горя ничуть не меньшим любопытством, чем его любимый герой мангуст Рикки-Тикки-Тави, на семейном гербе которого, как мы помним, начертано было «Беги, Разузнай и Разнюхай».

И Киплинг бегал, разузнавал и разнюхивал. «Мне никогда еще не приходилось встречаться ни с одним журналистом, который бы задавал столько вопросов, да еще таких странных и въедливых», — сказал о нем один американский газетчик. Поначалу семнадцатилетнему юноше в сильных очках, с густыми бакенбардами (которые мать тут же велела сбрить) и непомерными литературными амбициями, который спустя одиннадцать лет наконец-то вернулся под родительский кров, показалось, что он попал в рай. Любимая мать, «кладезь познаний» и «собрат-писатель» отец, с которыми, вспоминает Киплинг в автобиографии, «я не припомню ни малейших трений в нашей совместной жизни». Собственная (и это после Лорн-Лоджа и колледжа!) комната, собственные коляска и грум, собственный, норовистый, как и его хозяин, пони Джо, бультерьер Базз, пара ручных воронов Джек и Джил и даже свой собственный слуга, который — могли юный Радди еще месяц назад вообразить такое?! — виртуозно брил любимого сахиба во сне, чтобы сэкономить его драгоценное время.

Жизнь в кругу семьи была счастьем. Впрочем, допускаю, не меньшее счастье молодой человек испытывал, когда с наступлением жары мать, сестра, а следом за ними и отец уезжали в предгорья Гималаев в курортную Симлу и большой родительский дом, бунгало «Биканир-хаус», оказывался в полном его распоряжении. Пренебрегая условностями английской колонии, Радди заказывал себе «на дом» туземные блюда, спал, спасаясь от нестерпимой духоты, на плоской крыше, листал во время еды, что строго-настрого запрещалось матерью, подшивки «Иллюстрейтед Лондон ньюс», играл, что тоже не приветствовалось, в поло, принимал у себя друзей, а возможно, и подруг. Хотя Радди и пишет в письмах, что оставался верен Фло Гаррард, это не мешало ему несколько раз влюбляться. Одним из его индийских увлечений была дочка полкового капеллана преподобного Дьюка, которая, по словам влюбившегося в нее Радди, похожа была на леди Гамильтон. Увлечен юный Киплинг юной «леди Гамильтон» был, судя по всему, не на шутку — во всяком случае, несколько недель подряд он не ленился ездить по утрам из Лахора в Миан-Мир пять миль в одну сторону на воскресную церковную службу, поскольку иной возможности видеть свою пассию у него не было: Дьюки жизнь вели праведную

и в светских развлечениях лахорского общества участия не принимали. Были увлечения и более мимолетные: хорошенькая и довольно заурядная дочка председателя суда Этель Эдж, мисс Парри Ламберт, Тилли Веннер — всех их Киплинг из конспирации называет в письмах «моя дама», и все они, как сказано в его же рассказе «Отброшенный», «не заслуживали того, чтобы оседлать пони для визита к ним».

Когда же наступали холода, семья вновь собиралась вместе. Подшивку «Иллюстрированных лондонских новостей» было уже не почитать, на крыше не поспать, в поло не поиграть, с экзотических туземных блюд приходилось вновь переходить на надоевшее мясо, зато можно было заняться «коллективным творчеством», выпуском семейного журнала — любимого детища Киплингов, изучать вместе с Трикс английскую поэзию, устраивать семейные шекспировские вечера; игра заключалась в том, чтобы в течение всего вечера говорить исключительно шекспировскими цитатами, не прибегая при этом к стоявшему на полке тому великого Барда. Радди учил сестру, ставшую к тому времени красавицей, «феей», как ее называли многочисленные поклонники, ездить верхом, сестра, в свою очередь, учила его танцевать, приохотила к балам. Однажды (вспоминает Трикс) юный Киплинг попытался поставить свою учительницу на место и заявил ей, что миссис такая-то считает, что танцует он куда лучше сестры. Трикс не растерялась. «Я с ней ни разу не танцевала, — возразила она брату, — спросил бы лучше капитана». — «Твоя взяла», — вынужден был признать посрамленный старший брат.

К Рождеству 1885 года «квартет» — брат с сестрой и мать с отцом, — составил сборник стихов и рассказов, который так и назвали «Квартет» и в который вошли два впоследствии получивших известность рассказа Киплинга-младшего — «Рикша-призрак» и «Необычайная прогулка Морроуби Джукса». Писала семья не только квартетом, но и дуэтом: Радди и Трикс сочиняли пародии на известных поэтов, собрав целый томик под названием «Отзвуки». Когда, спустя много лет, Киплинга стали уговаривать включить около сорока пародий из «Отзвука» в сборник его ранних стихотворений, писатель отказался: ни он, ни Трикс уже не помнили, кому принадлежит какая пародия…

За пределами родительского дома всё было, увы, не столь отрадно. Радди, как и всякий живущий в Индии европеец, страдал от чудовищного климата, к которому невозможно привыкнуть: «Привкус лихорадки во рту и шум в ушах от хинина, раздражительность, доводимая жарой до предела, но умеряемая ради того, чтобы сохранить здравость ума… непереносимые

рассветы с палящей, душной жарой в течение шести месяцев». Дожди несут с собой лихорадку, которой много раз болел и которую много раз со знанием дела описывал Киплинг, жара — дизентерию, брюшной тиф и сердечные приступы. «Смерть постоянно была нашим близким спутником, — пишет Киплинг в книге „Немного о себе“. — Из семидесяти человек белой общины одиннадцать слегли с брюшным тифом, четверо из заболевших умерли, и мы считали, что еще легко отделались…»

Отсутствие книг (домашняя библиотека не в счет), а также театра, выставок, развлечений компенсировалось разве что заседаниями в масонской ложе, куда в 1885 году, в ложу Надежды и Упорства под номером 782 Е. С., Киплинг-младший был принят в качестве секретаря. А еще — вечерними посиделками в Пенджабском клубе для холостяков, где «между друзьями внезапно вспыхивала беспричинная ненависть и быстро, как горящая солома, угасала. Вспоминались и предавались огласке старые обиды; книга жалоб полнилась обвинениями и измышлениями…». Были, впрочем, в клубе и плюсы, не только минусы. Слушая «старые обиды, обвинения и измышления» гражданских чиновников, военных, врачей, адвокатов, учителей, инженеров, миссионеров — всех англо-индийцев, несших с разной степенью успеха «бремя белого человека», Киплинг черпал сюжеты для будущих рассказов. Он вообще умел слушать — об этом говорят многие, его знавшие. Вот, например, что записал скромный работник камеры хранения на вокзале провинциального американского городка Брэттлборо, где Киплинг в свое время проживет четыре года: «Он хотел знать все обо всем и никогда не забывал, что ему говорилось. Сидел, не шелохнувшись, не проронив ни слова, и слушал».

Отдушиной — помимо семьи — была работа. Работа по 10–12 часов в день за несколько сот серебряных рупий в месяц. Сначала в Лахоре, в качестве, как шутил сам Киплинг, «половины редакционного персонала» «Гражданской и военной газеты», единственной в Пенджабе. Потом, с 1887 года, в крупнейшей, самой влиятельной газете Индии — аллахабадском «Пионере», газете, которая «обслуживала» четыре миллиона живущих в Индии британских подданных.

«Половиной редакционного персонала» Киплинг называет себя не только потому, что сотрудников в газете, выходившей шесть раз в неделю на четырнадцати полосах, из которых, правда, семь составляли объявления, было раз-два и обчелся, но и по той причине, что работать подчас приходилось «не по профилю». Не только репортером и редактором, но и корректором: наборщики-туземцы не знали ни слова по-английски, корректоры

пьянствовали. Но были в обеих газетах и высокие профессионалы, мастера своего дела. Добрым словом вспоминает Киплинг своих учителей в многотрудном редакторско-репортерском деле — прежде всего дотошного, усидчивого, очень требовательного, хотя и не слишком одаренного, главного редактора «Гражданской и военной газеты», давнего знакомого Киплингов Стивена Уилера, про которого Джон Локвуд написал в письме приятелю: «Начальник Радди, мистер Уилер, очень вспыльчив и раздражителен, и, стараясь проявлять терпение и сохранять выдержку, мальчик не только станет хорошим редактором, но и в свое время попадет на небеса». Действительно, под началом Уилера у Киплинга было куда больше шансов стать хорошим редактором, чем хорошим поэтом. «Редактору в газете платят за редактирование, а не за сочинение стихов», — поучал своего нерадивого подчиненного Уилер. Многим обязан был Киплинг и заведующему отделом новостей «добросердечному и ангельски терпеливому» индийцу-мусульманину Миан Рух Дину. Тот преподал начинающему репортеру науку «краткописания»: редактирование сводилось в основном к сокращению громоздких, многословных материалов, в том числе и собственных. «Я сам мог, — вспоминает Киплинг спустя несколько десятилетий, — сегодня сдать материал, а завтра в роли заместителя главного редактора (а нередко и главного — Уилер был слаб здоровьем и часто сваливался в лихорадке) разнести его в пух и прах».

Редактирование, впрочем, было далеко не единственной обязанностью «половины редакционного персонала». При Уилере в обязанности Киплинга входили, помимо редактирования и вычитки гранок, написание передовиц, подготовка к печати всех поступавших телеграмм и официальных сообщений, сочинение редакционного комментария к «горячим новостям», мониторинг (как сказали бы теперь) уголовной хроники и новостей спорта. Иными словами, было не до стихов. Стихов и рассказов, наверно, не появилось бы вовсе, если бы не Кей Робинсон.

С Робинсоном, который пришел на смену серьезно заболевшему и уехавшему в Англию Уилеру, Киплингу здорово повезло. С их знакомством связана забавная история. Журналист из авторитетной лондонской «Глоб», молодой человек не намного старше Киплинга, Робинсон в 1884 году был приглашен из Англии в Аллахабад на вполне солидный для его возраста пост заместителя главного редактора «Пионера». В начале 1885 года Робинсон сочинил для своей газеты шутливый латинский стишок и подписал его «К. Р.» — эти инициалы многие приняли за анаграмму известного в Индии журналиста Редьярда Киплинга, хотя тот подписывал свои репортажи, стихи, рассказы как угодно

(«Никсон», «Юсуф», «Исав Путаник», «Е. М.» и, разумеется, «К.» и «Р. К.»), но только не «К. Р.». Молодые журналисты вступили в переписку, обменялись дежурными комплиментами, а затем, в конце года, — шуточными рождественскими стихами: Киплинг сочинил «Рождество в Индии», где сетовал на тяжелую жизнь и скверный климат колонии, Робинсон ответил пародией «Рождество в Англии», и оба стихотворения появились в один и тот же день в «Пионере» под общим заголовком «Рождественское несварение», подписанные, соответственно, «К. Р.» и «Р. К.».

Весной 1887 года Робинсон гостил у Киплингов в Лахоре, и дружба из эпистолярной переросла в реальную. Робинсон, большой ценитель женской красоты, по достоинству оценил Алису и Трикс и сделался в «Биканир-хаусе» своим человеком. В воспоминаниях он, впрочем, находит теплые слова для каждого члена семьи Киплингов. Джон Локвуд: «…редкой, благороднейшей души человек… ярко выраженная творческая личность… отточенный литературный стиль… искрится юмором… лучший собеседник, из мне известных». Алиса Киплинг: «…сохранила обаяние молодости… острый язычок… отличная собеседница». Трикс: «…унаследовала живость и энергию матери… удивительная память… знает всего Шекспира наизусть… отличается изысканной красотой».

Еще годом позже, в августе 1887-го, Кей Робинсон получил повышение — возглавил «Гражданскую и военную газету» с заданием «вдохнуть в нее искру»: прежним главным редактором владельцы газеты остались не слишком довольны. И Робинсон вдохнул в газету требуемую искру при непосредственном участии своего талантливого, хотя и несколько безалаберного зама, который так, к примеру, и не выучился писать передовицы: «Это мне не по уму». «Не по уму» было Киплингу и вычитывать «Голубую книгу» — выпускавшийся несколько раз в год статистический справочник с данными о работе индийской полиции, положении в школах, тюрьмах, на фабриках и т. д.

Для Киплинга разница между Уилером и Робинсоном была принципиальной. Если Уилер к литературным опытам Киплинга относился скептически, считал, что они отвлекают и без того довольно нерадивого работника от «дела», то Робинсон всячески эти опыты поощрял, высоко ценил энергию и многосторонние дарования друга-подчиненного, на его нерадивость смотрел сквозь пальцы и считал, что тому место не в колониальной газетенке, а на Флит-стрит.

В воспоминаниях Робинсона, относившегося к невысокому, усатому, смешливому, вечно протирающему очки уже лысеющему молодому человеку очень тепло, хотя и не без некоторой иронии,

начинающий писатель предстает человеком на редкость трудолюбивым и совершенно безотказным. «Если вам понадобится сотрудник, который будет с удовольствием трудиться за троих, — пишет в одном из писем Робинсон, — то советую присмотреться к этому юному дарованию»[7]. И при этом — нескладным, порывистым, довольно нелепым. «В работе Киплинга, — вспоминает Робинсон, — была одна особенность — он нещадно разбрызгивал вокруг себя чернила. В жаркое время года он приходил в редакцию в белых хлопчатобумажных брюках и тонкой рубашке, к концу же рабочего дня становился похож на пятнистого далматина». Киплинг высоко ценил профессионализм и предприимчивость своего нового главного редактора, Робинсон — наблюдательность, умение общаться с местным населением, доскональное знание Индии своего заместителя. «Киплинг различал множество национальных групп индийского населения, которые для обычного англичанина все без разбору были просто „туземцы“, — пишет Робинсон. — Он подмечал самые занятные детали их поведения, языка, образа мыслей… Покажи ему туземца, и он тотчас же определит, из какого он сословия, какой касты, какой национальной группы, из какой семьи, из каких мест, какова его вера и чем он занимается. С каждым он находил общий язык, разговаривал на его манер, используя привычные для собеседника выражения, так что у того начинали блестеть глаза от удивления и осознанного братства, и он проникался к Киплингу полным доверием…»

Знание местных языков многое дало Киплингу-писателю. Успех его произведений для детей и взрослых во многом объяснялся экзотическими именами героев, взятыми из разных индийских наречий. Например, в любимой всеми истории Маугли Балу на хинди — просто «медведь», Акела — «одиночка», Хатхи — «сильный», бандерлоги — «обезьяний народ». Надо сказать, что красота имен заботила Киплинга куда больше, чем их точность; так, он назвал пантеру Багиру именем, означающим «тигрица», а имя Шер-хан переводится как «царь-лев». Что до самого Маугли, то его мать Ракша («демон») уверяет, что оно якобы означает «лягушонок», но ни в одном индийском наречии такого слова нет — видимо, автор изобрел его сам.

Главными достоинствами Киплинга, по мнению Робинсона, были мужество, решительность и чувство юмора. Однажды подвыпившая компания, пишет Робинсон, решила шутки ради припугнуть Киплинга и заявилась к нему домой среди ночи. Стоило зачинщику прокрасться к хозяину в спальню, как он почувствовал, что в его висок уперся ледяной ствол револьвера; непрошеные гости не замедлили ретироваться. «Он искрился

восхитительным юмором, — писал Робинсон, — благодаря чему каждый момент нашей совместной работы был исполнен безудержного веселья… Когда мы начинали советоваться, как нам получше выполнить ту или иную задачу, это обычно сопровождалось взрывами хохота». Будучи любителем «практических» шуток и розыгрышей, юный Киплинг не раз разыгрывал своего друга и начальника. Робинсон вспоминает, как однажды услышал из комнаты Радди истошный крик: «На помощь! Скорее! Мне в штанину заползла змея!» Когда Робинсон со всех ног бросился другу на помощь, тот извлек из штанов, давясь от смеха… длинный кожаный ремень.

Хотя газетный репортаж Киплинг называет жанром второстепенным, именно в роли «разъездного» корреспондента, а не редактора за письменным столом он проявил себя лучше всего. Лахорская «Гражданская и военная газета» и аллахабадский «Пионер» изо дня в день бросали его, как сказали бы сегодня, в «горячие точки», регулярно печатая его репортажи о скачках и строительстве мостов, о заливавших железнодорожные пути наводнениях (когда ему приходилось проводить по несколько дней кряду под проливным дождем в составе ремонтных бригад) и деревенских празднествах, о вспышках заразных болезней, уносивших жизни тысяч людей, и массовых беспорядках, не менее губительных, чем оспа или холера. Он писал о визитах вице-королей в индийские княжества и об армейских буднях, о борьбе с разбойниками в Хайберском ущелье, о судах над убийцами, бракоразводных процессах, лепрозориях, рудниках и венерологических лечебницах. Приходилось ему и брать интервью у известных людей: однажды Киплингу пришлось, по заданию газеты, беседовать даже со знаменитым факиром, который, дабы на собственном примере доказать истинность индуистской веры, отрезал себе язык, заявив, что тот отрастет за шесть недель…

Вот откуда у Киплинга то «знание жизни», которым он в самом скором времени завоюет и критиков, и читателей — и не только Индии, но и метрополии. Когда читаешь газетные репортажи Киплинга, в глаза бросается не только близкое знакомство с индийскими реалиями, но и недюжинная наблюдательность, и отменное чувство юмора. По его газетным репортажам (см. Приложение I) видно: их автор не только (и не столько) репортер, но — писатель.

* * *

Своей активностью и непредсказуемостью досуг Киплинга-журналиста, подгоняемого, как уже говорилось, неиссякаемым интересом к жизни, мало чем отличался от его служебных командировок. Мучаясь бессонницей (которой он страдал до самой смерти), он бродит по ночам, когда спадает жара, по лахорским распивочным, игорным притонам и курильням опиума. «Опиум совершенно выбил меня из колеи, — делился он много лет спустя своими „наркотическими подвигами“ с литератором и композитором Беверли Николсом. — И я не видел никаких снов, как рассчитывал. Я проснулся от чудовищной головной боли, но, к счастью, знал, что в таких случаях делают, и выпил много, очень много горячего молока. В таком состоянии, какое было у меня, на молоко не жалко было потратить последний доллар: молоко — единственное средство, от которого вновь становишься человеком». Он гуляет в полном одиночестве по узким улочкам старого города возле знаменитой мечети Вазир-хана, по Шалимарским садам, по берегу реки Рави, где находилась могила могольского падишаха Джахангира, или по огромному, живописному мусульманскому кладбищу. Общается с лахорцами на городском рынке — местный люд был ему куда интереснее клубного общества. Заводит в форте Миан Мир знакомства с английскими солдатами и младшими офицерами, а в Симле — с высокопоставленными чиновниками колониальной администрации.

В Симле Киплинг переводил дух от всей этой лихорадочной активности: участвовал (порой вместе с матерью и сестрой) в любительских театральных постановках, ездил на пикники и на балы, гарцевал, точно истинный лондонский денди, в белых перчатках и белом шлеме на гнедом арабском скакуне, ухаживал за местными барышнями. «Весь месяц прошел у меня в пикниках, балах и спектаклях, — с энтузиазмом пишет Киплинг 14 августа 1883 года своей любимой тетке Эдит, младшей из сестер Макдональд, тогда еще не вышедшей замуж. — Я флиртую, представьте, со всеми подряд с энергией мужчины, целый год не видевшего женщин». Тогдашним вице-королем Индии был опытный политик и царедворец, побывавший до Индии в Канаде, Турции, Египте, завзятый путешественник, ученый, острослов, ирландец по происхождению лорд Дафферин. И он, и его энергичная, светская жена, занимавшаяся благотворительностью, ставившая в Симле спектакли (при непосредственном участии Редьярда и Трикс), увлекавшаяся модной тогда мистикой, игравшая в местной церкви на органе и певшая в хоре, довольно скоро выделили семейство Киплингов среди прочих гостей.

Дочь вице-короля брала у Джона Локвуда уроки рисования,

красавицей Трикс одно время увлекся его сын, юный лорд Кпандебой, сам же вице-король не раз запросто захаживал к Киплингу-старшему побеседовать об искусстве и литературе. В «Тендрилз» (так назывался дом Киплингов в Симле) он и познакомился с Киплингом-младшим, который — как, впрочем, и главнокомандующего британской армией в Индии сэра Фредерика Робертса — поразил его наблюдательностью и обширными, не по годам, познаниями. «Этот молодой человек знает так много, — заметил однажды вице-король, — будто у него в мозгу запечатлелись, точно на фотографии, все княжества Индии». «Лорд Дафферин, — записывает в дневнике польщенный комплиментами сыну Джон Локвуд, — который часто бывает на наших уроках рисования, заявил, что он потрясен, как у Радди сочетается язвительность с благородством и изяществом, сколь безупречно у него чувство ритма». Язвительность, надо признать, перевесила благородство и изящество: на окончание правления в Индии лорда Дафферина юный поэт откликнулся довольно ядовитыми стихами «Один вице-король — другому». Досталось и лорду Робертсу: в еще одной сатирической балладе Киплинг весьма недвусмысленно обвинил главнокомандующего в фаворитизме. «Полезным» знакомство с сильными мира сего так и не стало.

Бывало, что не Магомет шел к горе, а гора к Магомету: «В нашу газетную кухню рано или поздно попадал весь причудливый внешний мир, например, капитан, уволенный со службы за беспробудное пьянство, который рассказывал о своем падении с искаженным от волнения лицом… Или человек, по возрасту годившийся мне в отцы, едва не плачущий оттого, что в газете не упомянули о его награде… Со мной искали встречи люди, поднимавшиеся и спускавшиеся по служебной лестнице во всех возможных формах несчастья и успеха».

Случалось, встречи с ним искали совсем другие люди и с совсем другой целью — подкупить популярного репортера, чтобы тот написал не то, что есть, а то, «что надо». Вот как — откровенно, с всегдашним юмором — описывает Киплинг встречу с богатым афганцем, находившимся под домашним арестом и надеявшимся, что благожелательный очерк о нем в «Гражданской и военной газете» даст ему возможность вернуться в Кабул к своим многочисленным женам. За это он готов был дать юному журналисту на выбор 1300 фунтов (сумму по тем временам астрономическую), кашмирскую красавицу или породистого скакуна. «Наконец, афганец пробормотал, что англичане глупцы и не знают цену деньгам, но что „нет сахиба, который бы не понимал, как высоко ценятся женщины и лошади“. После чего он

отправил слугу в заднюю комнату, и, к вящему моему изумлению, оттуда выплыла кашмирская красавица, которая привела бы в восхищение самого Томаса Мура. Она и впрямь была необычайно хороша собой и великолепно одета, но я не мог себе представить, как ее появление воспримут в такой семье, как моя».

Все эти «формы несчастья и успеха» (первое куда чаще, чем второе) Киплинг запечатлел в своих индийских стихах и рассказах. Но сначала — в романе, первом, так, впрочем, и не увидевшем свет. 7 марта 1885 года двадцатилетний писатель отмечает в дневнике, что задумал роман, что начал уже собирать материал и что «книга станет его шедевром». Спустя четыре месяца, в июле того же года, в письме Эдит Макдональд он выскажется куда более определенно. Называться роман будет «Матушка Матьюрин», портрет героини уже набросан: «Худой не назовешь, чувственна, кожа медового цвета, обе руки, и та, что упирается в подбородок, и та, что лежит на правом колене, — в кольцах и браслетах, толстая красно-зеленая юбка до щиколотки, на полных светлых ногах красные или зеленые шлепанцы, какие носят в Индии». Написано уже 237 страниц, книга обещает быть длинной, «по меньшей мере, два тома», герои романа — англо-индийцы, а тема — «невыразимые ужасы евразийской и туземной жизни, каким нет места в газетах». Трикс и Алиса сочли написанное «устрашающим, но сильным» и посоветовали печатать эти «свинцовые мерзости индийской жизни» в Англии. У автора же план был другой: издать роман отдельной книгой или в газете с продолжением в Индии (благо предложения от местных издателей уже поступали) и на полученный гонорар съездить на пару месяцев в Лондон. Однако роман остался недописанным, поездка в Лондон отложилась, шедевра же автору и его читателям предстояло ждать еще без малого десять лет.

Что же до первых стихов, то они, как и рассказы, сначала печатались Киплингом в «Гражданской и военной газете» и назывались не «Департаментские песенки», а «Баллады из бунгало». Первое книжное издание «Департаментских песенок», выпущенное в Лахоре в 1886 году анонимно тиражом 350 экземпляров, распродалось мгновенно и очень быстро стало библиографической редкостью. Успех сборника объяснялся не только (и не столько) стихами как таковыми, сколько весьма оригинальным оформлением. Стихи были изданы (отсюда и их название) в виде офисной («департаментской») папки для бумаг, перевязанной розовой ленточкой. Во втором издании, появившемся в том же году в Калькутте в издательстве Такера и Спинка, выкупившего у Киплинга права за скромные 500 рупий, имя автора уже стояло, в оформлении же не было и намека на

офисную папку для бумаг. Часть тиража была переправлена в Лондон, однако индийские, далекие по теме и содержанию «Песенки» если и вызвали в столице отклик, то иронический. «Это чудной и забавный пример той литературы, какая известна нам под названием „англо-индийская поэзия“», — не без усмешки писал в столичном «Лонгмэнс мэгэзин» литературный обозреватель журнала, критик, поэт, фольклорист Эндрю Лэнг. Автора, однако, подобный снисходительный отзыв нисколько не расстроил: особых надежд он со своими стихами, которые по много раз переписывал («Я сжег вдвое больше, чем напечатал»), как видно, не связывал и часто цитировал слова Рух-Дина, сделавшего ему однажды комплимент: «Вот в этот раз, сэр, ваши стихи удались. То, что надо, — ровно треть полосы!»

Уже в первых стихотворениях Киплинга — и из первого сборника «Департаментские песенки», и тем более из второго «Казарменные баллады» (1892), — явственно проступают новаторские, откровенно демократические черты его поэзии. Это, во-первых, сознательная ориентация на массового читателя, не приобщенного к элитарной, усложненной викторианской поэзии Теннисона, Суинберна, Браунинга, прерафаэлитов, поэзии, от которой Киплинг отошел еще в 1884 году в сборнике сочиненных совместно с сестрой поэтических пародий «Отзвуки». И, во-вторых, стремление к простоте и доступности, чего молодой поэт добивается, сближая поэзию с бытом и с прозой и, соответственно, обогащая ее жанровый репертуар и поэтический словарь, насыщенный не «высоким штилем» и художественными тропами, а жаргонизмами, диалектизмами и просторечиями, которые, казалось бы, противоречат самой сути истинной поэзии. Так, проза и поэзия раннего Киплинга идут словно бы «встречным курсом»: в рассказах автор стремится к поэтизации жизни и языка, в стихах, с их ориентацией на размер и синтаксис сюжетной народной баллады, комической оперы, марша или романса, напротив — к «прозаизации».

Рождением Киплинга-новеллиста можно считать две даты — январь 1888 года, когда в Калькутте вышли «Простые рассказы с гор», и 9 июня 1888 года, когда в лондонском «Субботнем обозрении» появилась положительная рецензия на них, и не кого-ни-будь, а издателя «Обозрения», маститого эссеиста, поэта и критика Уолтера Поллока. Есть и третья дата, которую, впрочем, лучше не вспоминать. Двумя годами раньше, в 1886-м, Киплинг передал в Лондон один из своих ранних, опубликованных в газете рассказов со служившим в Индии полковником Иэном Гамильтоном. Рассказ, как и стихи, попал на стол все тому же Лэнгу. И вот что написал Лэнг, возвращая рассказ: «С

удовольствием дал бы Иэну пятерку, если бы он впредь избавил меня от этого отвратительного вздора, который произвел на меня самое неблагоприятное впечатление». Не пройдет и трех лет, как Лэнг изменит свое отношение к прозе начинающего автора на прямо противоположное — «самое неблагоприятное впечатление» станет самым благоприятным. Еще резче отозвался о первых литературных опытах Киплинга шотландский поэт, критик и издатель Уильям Шарп, более известный под псевдонимом Фиона Маклеод: «Очень бы рекомендовал автору сей газетной публикации немедленно сжечь этот бред. Позволю себе предположить, что автор сего сочинения еще очень молод и что он умрет, сойдя с ума, когда ему не исполнится и тридцати лет». Прорицателем Шарп оказался неважным: кроме возраста сочинителя, он не угадал ничего.

Выпущенных в Калькутте рассказов в общей сложности было сорок, из них тридцать два печатались раньше в газете, а еще восемь увидели свет впервые. Свои рассказы и стихи Киплинг регулярно печатал в «Гражданской и военной газете» с зимы 1886 года, всякий раз, когда требовалось чем-то заполнить газетную полосу — работа в прессе пригождалась и в этом отношении тоже. Самое же первое упоминание о его литературной деятельности встречается еще двумя годами раньше, в письме все той же Эдит Макдональд от 21 ноября 1884 года, где племянник с плохо скрываемым воодушевлением пишет тетке: «Как и вы, сочиняю на досуге рассказ. В нем всего-то шесть страниц, и на него у меня ушло всего-то три месяца, но из мной написанного мне ничего еще так сильно не нравилось — впрочем, особых достоинств в рассказе нет. Теперь, когда мне дают писать для любой газеты, своими рассказами я могу заработать несколько фунтов к жалованью и заодно сделаться более известным в нашем куцем мирке». Тут обращают на себя внимание несколько вещей. Во-первых, начинающий автор — не графоман, пишет он очень медленно, это за собой знает и этим отчасти бравирует («всего-то шесть страниц», «всего-то три месяца»). Во-вторых, он старательно делает вид, что не придает значения своим литературным опытам («особых достоинств в нем нет»), и довольно неловко скрывает свои немалые литературные амбиции рассуждениями о денежной выгоде.

Судьба «Простых рассказов» в точности повторила судьбу «Департаментских песенок» двухлетней давности: индийский тираж разошелся мгновенно, а вот лондонский (тысяча экземпляров) застрял на полках книжных магазинов. То, что рассказы «вышли» из газеты, видно невооруженным глазом. В большинстве своем они одной — «газетной» — длины, от 2000 до

2500 слов, — размер, который отводился на так называемый turn-over, газетную статью, переходящую с первой полосы на следующую. По стилю и содержанию рассказы напоминают gossip column — колонку сплетен, анекдотов, светских новостей и всевозможных курьезов. Как всегда немного кокетничая, Киплинг пишет в посвящении к «Простым рассказам»: «Хотелось бы, чтобы они были достойнее». «Недостойны» рассказы в том смысле, что растут, «не ведая стыда», из всевозможного житейского «сора» — из разговоров, услышанных в Пенджабском клубе, на узкой улочке старого города в Лахоре, на базаре или на великосветском пикнике в Симле. Из анекдотов, рассказанных в курительной заезжим офицером, из светской, военной и уголовной хроники, из газетных материалов, в том числе и киплинговских. В дело у Киплинга-новел-листа, одним словом, шло всё. И у поэта, кстати, — тоже. «Поразительное преображение тривиальнейшего материала!» — восклицал в 1890 году лондонский критик про имевшие грандиозный успех «Казарменные баллады».

В «Пионере» и в приложении к «Пионеру», «Новостях недели», Киплинга, зарекомендовавшего себя автором одаренным и востребованным, уже не ограничивают мизерным, как в Лахоре, объемом в 1200 слов. Индийскому Брет-Гарту («Зачем покупать вещи Брет-Гарта, спросил я, когда я готов запросто поставлять беллетристику на местном материале?») дают теперь от трех до пяти тысяч слов еженедельно — для начинающего писателя немало. Отцу творчество «беллетриста на местном материале» сразу же пришлось по душе. Когда наряду с похвалами за «знание жизни» звучали обвинения в недосказанности, незрелости и верхоглядстве, Джон Локвуд утешал сына: «Радди, это было не так уж плохо».

Сам же автор «Простых рассказов с гор» и других очерков и новелл, вошедших впоследствии в комплект из шести маленьких книжек в мягкой обложке, выпущенных в 1888 году в серии «Индийская железнодорожная библиотека», склонен был, однако, согласиться не с отцом, а со своими критиками. Похвалив себя в автобиографии за работу со словом («… я проводил свои опыты относительно веса, цвета, запаха и символики слова… чтобы при чтении вслух они были благозвучны, а напечатанные радовали глаз…»), он одновременно признавался, что концовка рассказов у него получается плохо, многие рассказы производят впечатление недописанных. Как-то, уже в двадцатые годы, Киплинг поинтересовался у Пэлема Гренвилла Вудхауса, как тот кончает свои рассказы, признавшись, что концовки для него — всегдашняя проблема. «Природа моего метода — не более чем понимать всевозможных людей и давать другим возможность

понять их», — заметил однажды Киплинг. Строго говоря, в этом и заключается метод, а точнее, задача любого писателя, «не более чем» здесь вряд ли уместно. Так какова же все-таки «природа метода» Киплинга-новеллиста? Скажем об этом несколько слов, прежде чем «отправить» Киплинга из Индии в Англию.

«Я беру пустяк-анекдот, базарный рассказ — и делаю из него вещь, от которой сам не могу оторваться». Это сказал не Киплинг про свои индийские рассказы, а Бабель — про рассказы одесские. Между тем «пустяк-анекдот», «базарный рассказ» — и в самом деле важная примета новеллистики Киплинга — и «Простых рассказов с гор», и других последовавших за ним индийских и первых лондонских сборников: «Три солдата», «Черное и белое», «Под деодарами», «Рикша-призрак», «Жизнь дает фору».

Одни истории оригинальны, затейливы, немногословны. Другие, как, скажем, солдатские истории про ирландца Малвени («Три солдата»), порой затянуты, однообразны, скучноваты. Но все, так или иначе, представляют собой «анекдот», историю из жизни. Из одного рассказа читатель узнает, как удалось скрыть самоубийство юного субалтерна, из другого — как подстроили результаты скачек, из третьего — как женщина избавилась от своей соперницы, из четвертого — как директор банка спас от нищенской смерти своего незадачливого ассистента, из пятого — как была наказана индианка за связь с англичанином. И вместе с тем «Простые рассказы» на отдельные истории из жизни не распадаются, воспринимаясь как цельный и довольно нелицеприятный портрет англо-индийской жизни 80-х годов позапрошлого века.

На языке Киплинга такие рассказы «просты», на языке Бабеля — «базарны», на языке же Оскара Уайльда, одним из первых обратившего внимание на «индийского Брет-Гарта», — «вульгарны». «Когда листаешь страницы „Простых рассказов с гор“, — не без свойственной мэтру снисходительности писал о Киплинге эстет Уайльд (обратите внимание: не „читаешь“, а „листаешь“), — кажется, будто… жизнь проходит перед тобой в ослепительных вспышках вульгарности»[8]. И то сказать, что может быть «базарнее», «вульгарнее» сюжета такого, например, рассказа, как «Ложный рассвет», где герой во время ночного пикника из-за песчаной бури (напрашивается аналогия с пушкинской метелью) объясняется в любви не той, кого любит? Но зато каково описание самой песчаной бури! Еще раз вспомним Уэллса: «…вбил нам в голову звенящие и неотступные строки». Уэллс прав: из творивших тогда английских живых классиков на такое едва ли кто был способен. Не потому ли Уайльд предпосылает «вульгарности» словосочетание «ослепительные

вспышки»? Действительно, рассказы просты — в том смысле, что незатейливы, что являются физиологическими очерками из жизни «никчемных, „второстепенных“» (опять же Уайльд) англо-индийцев. Однако, наряду с этим, с первых же строк рассказчик погружает читателя в богатую, «ослепительную» местную экзотику, экзотику слов и нравов, — главную примету неоромантического видения мира и в то же время свидетельство достоверности повествования. Английский читатель, для которого и сам жанр новеллы в викторианский век романа был жанром экзотическим, едва ли понимал, что такое *пагри* на шлеме, что это за законы *саркари*, где находится *Дехра-Дун* или окрестности *Котгарха*, «что тянутся до самой *Нарканды*», какова платежеспособность золотого *мухура*, чем отличается *икка* от обыкновенной повозки, как танцуют *халь-е-хак* и что значит стоять под *мимбаром* или быть посвященным в *Сат-Бхаи*. Не понимал, но от этого рассказчика — знатока местных нравов и языков — ценил, пожалуй, еще больше, проникался его повествованием еще глубже.

Сам же рассказчик всячески — и тоже не по-викториански — устраняется из повествования, изымает из него свой голос, подменяя его многоголосьем своих персонажей. Он не морализирует, давая понять, что лишь пересказывает рассказанное другими, записывает услышанное, что он — прием этот, впрочем, не нов, — не автор, а *публикатор*. «Это не мое сочинение… я только записывал ответы на свои вопросы» («Ворота ста печалей»). «Я всего лишь хор, выступающий в конце с объяснениями… я в счет не иду» («В доме судху»). «Рукопись его попала мне в руки, когда он был еще жив» («Рикша-призрак»), «Единственный мотив, побудивший меня *опубликовать* эту историю…» («Через огонь»). Прибавляет рассказчику вес в глазах читателя и то, что он по-журналистски объективен, ссылается на факты, делает вид — альфа и омега репортерской профессии, — что содержание рассказываемого его самого нисколько не занимает. «Ничего не имеет для меня значения» — эта фраза повествователя проходит рефреном через «Ворота ста печалей» — самого, кстати, первого рассказа из всех напечатанных. «Вот как это случилось; донесение полицейского подтвердит мои слова», — предупреждает он читателя в начале рассказа «Через огонь». Рассказчик делится с читателем опытом, выступает в роли гида, путеводителя по экзотическим местам, нравам и обстоятельствам: «Молитесь всем святым, чтобы никогда вам не довелось увидеть холеру в воинском поезде» («Дочь полка»); «Имейте в виду, в маленьком, скрытом от мира обществе, где нет общественного мнения, все законы смягчаются» («Захолустная

комедия»). Такое скрытое от мира общество без общественного мнения Киплинг в рассказе «Отброшенный» называет «расслабленной страной» и дает читателю ценный совет: в такой стране «самое мудрое — не принимать ничего всерьез».

И вместе с тем, хотя рассказчик вроде бы «в счет не идет», а читателю рекомендуется не принимать ничего всерьез, в *простых* рассказах говорится порой о вещах *непростых* и для автора (не рассказчика, а именно автора) существенных и неоднозначных. Мы привыкли видеть в Киплинге «певца британского империализма», который воспевает «священную миссию цивилизатора», смотря на Восток с позиций пусть и просвещенного, но поработителя, привыкли рассуждать о киплинговском «бремени белого человека», о том, что «высшей расе» надлежит цивилизовать «низшую» ради ее же блага. И забываем про жену пастора в «Лиспет», так напоминающую своим ханжеством, лицемерием, чванством тетушку Розу из злосчастного Лорн-Лоджа. Забываем про героиню этого рассказа, представительницу «низшей расы», выгодно отличающуюся душевной прямотой и жертвенностью («Христианству немало еще надо потрудиться, дабы уничтожить в жителях Востока такие варварские инстинкты, как любовь с первого взгляда») от жены пастора, которая любит пожаловаться на то, что «причуды этих дикарей непостижимы». Забываем слова Киплинга, сказанные им лет через пятнадцать после отъезда из Индии: «Западными методами Азию не цивилизовать. Азии слишком много, и она слишком стара. Ходить в воскресную школу и учиться голосовать она будет лишь в том случае, если вместо бюллетеней для голосования раздать им обнаженные сабли». «Причуды» других рас Киплинг понимал, быть может, лучше любого другого английского писателя, о чем, между прочим, свидетельствует его лучший роман «Ким». Другое дело, что не меньше, чем индийцев, он ценил Закон, Порядок, Долг и Дисциплину, которые в его представлении были в Индии без белого человека невозможны. Ценил власть, однако полагал, что нет ничего хуже, чем власть без ответственности, — этот мотив постоянно присутствует в его рассказах, путевых очерках, интервью. «Власть без ответственности — прерогатива шлюхи с незапамятных времен», — в сердцах заметил он однажды своему знакомому, владельцу «Дейли экспресс» лорду Бивербруку, заявившему Киплингу, что для него главное в жизни — это власть.

В индийских рассказах Киплинг открывает читателю не только Индию и индийцев, но и английскую армию, трудности и невзгоды военной жизни, которых докиплинговская литература, по существу, не касалась. Но и здесь джингоизм, национал-

патриотизм Киплинга, о котором столько написано, не вполне однозначен. Для писателя существует не одна, а две армии. Одна — солдаты и субалтерны в казарме, в увольнительной, на марше, в бою, в любви и в смерти. Они, эти «Томми Аткинсы», покрыты пылью «от шагающих сапог», это «ребята — кипяток с уксусом», «простые, доверчивые сердца», они делают дело, они хоть и мальчишки, «а характера на десять генералов хватит». И вторая — офицерская верхушка: чистоплюи, бездельники, воспитанные «по оранжерейной системе», английские епиходовы вроде лейтенанта Голайти или «офицера и джентльмена» Рейли.

Не уступают офицерам и фигурирующие в рассказах представители колониальной администрации, «штафирки», как бы их назвал один из трех «мушкетеров» ирландец Малвени. Это целая галерея незадачливых, безответственных и бездарных чиновников, миссионеров, авантюристов, проходимцев вроде Юстуса Уповающего («Месть Дангары») или «самого уродливого человека в Азии» верховного комиссара Барр-Сэготта. Или Орильена Макгоггина, который «завез в Индию какую-то диковинную религию, занимавшую его гораздо больше, чем служба» («Преображение Орильена Макгоггина»), Или лорда Бениру Трига, собиравшего в Индии материал для книги «Наши трудности на Востоке» и кричавшего на всех углах о «благотворных последствиях британского владычества» («Без благословения церкви»), О благотворных последствиях британского владычества кричит на всех углах — обратите внимание — карикатурный лорд Триг, а вовсе не Редьярд Киплинг — во всяком случае, в конце 1880-х годов. Кого же в таком случае поднимает на щит молодой писатель? Тех, кого будет поднимать и впредь — людей, делающих дело, будничное дело строителей Империи. «Зодчий стиля и живописец слова», автор мемуара «Это начиналось так», болтун и фанфарон Юстас Кливер противопоставляется (увы, несколько схематично) таким добросовестным и скромным труженикам, как Хитчкок («Строители моста») или полицейский Стрикленд. Любимый герой многих, и не только индийских, произведений писателя, Стрикленд прекрасно изучил и понял Индию, это не только частный сыщик, не раз посрамивший официальных «службистов», но и прирожденный актер, отличающийся страстью к перевоплощению.

Автор «Простых рассказов» еще не достиг мастерства «Книги джунглей», но в чем-то создатель «Маугли» узнаваем уже теперь. Во-первых — одушевлением животного мира, «зоологическими» метафорами и ассоциациями, стремлением и умением через зверей описывать и объяснять людей. Уже упоминавшийся

верховный комиссар Барр-Сэготт из рассказа «Стрелы Амура» улыбался так, что даже лошади шарахались в сторону, сам же походил на серую обезьяну. «Тиф и тот убежит от медведицы, у которой отняли ее детеныша» — это сравнение как нельзя лучше проясняет коллизию рассказа «Захолустная комедия», а про отталкивающего героя другого рассказа сказано еще более красноречиво: «Его голова находилась под прямым углом к телу, как голова кобры, готовящейся к прыжку». И, во-вторых, — мотивом, который мы все помним с детства, из «Маугли». Мотивом человека «не на своем месте», «отбившегося от стаи», с которой он «одной крови». Вот почему у Киплинга плох не индиец, олицетворяющий собой пассивное начало, или англичанин, символизирующий начало активное, идею Прогресса, а тот индиец или англичанин, который находится *не на своем месте*. Человек, по Киплингу, способен себя реализовать, выполнить свою коллективную миссию лишь в том случае, если он находится «в своей стае». Не потому ли бывший бравый солдат все тот же ирландец Малвени так жалко выглядит в цивильном платье? В этом, среди прочего, беда всех этих голайти, ресли, макгоггинов, бениру тригов и юстасов кливеров. В этом же, соответственно, и беда индийцев в Англии — людей, «желающих быть более английскими, чем сами англичане». Попытка же компромисса, о чем свидетельствует один из лучших рассказов раннего Киплинга «Без благословения церкви», а еще нагляднее рассказ «Комиссар округа» из сборника «Жизнь дает фору», — это попытка с негодными средствами, которая в конечном счете оборачивается трагедией. Ведь ни Запад, ни Восток, перефразируя киплинговские строки, с места не сойдут: жить по-восточному на Западе и по-западному на Востоке не получится — не в этом ли смысл этих знаменитых и порой слишком уж прямолинейно воспринимаемых строк?

У всех четырех Киплингов, впрочем, жить на Востоке по-западному до известной степени получалось, и, тем не менее, в конце 1888 года, на седьмом году пребывания в Индии, Редьярд Киплинг почувствовал, что он здесь не на месте и что пора ему возвращаться «в свою стаю». Отметим, в очередной раз опередив события, что, оказавшись в Англии, Киплинг незамедлительно испытал сильнейшую ностальгию по Индии. Ему всю жизнь не сиделось на месте.

Глава четвертая ОТ «ПЕКИНА» ДО «БЕРЛИНА»

Ехать домой решено было малой скоростью и кружным путем: двести фунтов стерлингов, полученных начинающим писателем за «Индийскую железнодорожную библиотеку», с лихвой хватало на кругосветное путешествие в Англию через Бирму, Сингапур, Гонконг, Японию и США. Об этом путешествии можно было бы написать целую книгу, если бы таковая уже не была написана самим Киплингом, назвавшим свой «травелог» «От моря до моря»[9].

Решение ехать в Англию кружным путем Киплинг принял, однако, вовсе не только потому, что по дороге домой ему хотелось побывать в Японии и Америке, побездельничать после многолетней неустанной и тяжелой работы. План этот возник благодаря одному из самых близких ему в Индии людей — жене метеоролога, профессора аллахабадского Мьюир-колледжа Алека Хилла. О Хилле мы знаем лишь, что человек это был спокойный, уравновешенный, неразговорчивый и что он увлекался фотографией. Про его жену Эдмонию Хилл (близкие звали ее «Тед») нам известно куда больше. Когда они с Киплингом познакомились, Тед едва исполнилось тридцать, родом она была из Пенсильвании, у нее было круглое миловидное лицо и густые, до плеч, темные волосы. Познакомились они в 1887 году в доме владельца «Пионера» Джорджа Аллена, когда Киплинг жил в Аллахабаде и выпускал приложение к «Пионеру» «Новости недели». «Мистер Киплинг, — написала Тед на следующий же день после знакомства своей младшей сестре в Америку, — выглядит человеком лет сорока, он начинает лысеть, у него очки с толстыми стеклами, однако на самом деле ему всего двадцать два. Он — сама энергия, это превосходный рассказчик; сидевшие с ним рядом покатывались со смеху…»

В дальнейшем Редьярд подолгу гостил (причем часто в отсутствие Хиллов) в их аллахабадском бунгало «Бельведер», который описал в «Рикки-Тикки-Тави»; когда же уезжал в Лахор или в Симлу, то писал оттуда Тед длинные письма в форме ежедневного дневника, жаловался, что вынужден сидеть в редакции с восьми до шести и не может уйти, пока «не уложит газету спать», доверял приятельнице свои самые интимные чувства, мысли, переживания. Таких писем, как Эдмонии Хилл, Киплинг не писал ни матери, ни Эдит Макдональд, ни кузине Маргарет Бёрн-Джонс, ни даже Трикс, от которой у него никогда

не было секретов. Эдмонии Хилл Киплинг преподнес свои первые опубликованные сочинения в стихах и прозе — изящный, изданный в январе 1889 года в Лахоре томик «Ранних стихов» и изданные «Гражданской и военной газетой» «Простые рассказы с гор» с трогательными посвящениями. «Так бы хотелось посвятить вам что-то более достойное» — значится на титуле первого издания «Простых рассказов».

В своем дневнике Тед вспоминает, как Киплинг работал, когда жил у них в «Бельведере»: «Сидит за письменным столом и что-то быстро пишет. Алек рядом в кресле, возле него я. Испишет страницу своим мелким, стремительным почерком и тут же сбрасывает ее на пол. Алек подбирал страницы, читал их и передавал мне. Жаль только, что мы читали его рассказ быстрее, чем он его писал…» Когда в 1890 году профессор Хилл скоропостижно скончался, общие друзья были уверены, что Киплинг, уже живший в Лондоне, не преминет, выждав подобающий срок, сделать предложение хорошенькой и еще молодой вдове. Но тогда Киплинг, вслед за юными субалтернами и за своим героем капитаном Маффлином, стоявшим во главе Розовых гусар, полагал, что «женатый молодой человек — не человек и не молодой»…

В конце 1888 года Тед заболела менингитом и, когда ей стало немного лучше, решила ехать подлечиться домой в Америку. Так родился план совместного путешествия «от моря до моря». Присутствие Тед Хилл — «мотивация» для Киплинга настолько сильная, что, заручившись заказом Джорджа Аллена писать для «Пионера» путевые заметки (они и составили в дальнейшем книгу «От моря до моря»), молодой человек, не мешкая, едет в феврале 1889 года в Лахор проститься с родителями, покупает вместе с Хиллами билет на «Мадуру», следующую из Калькутты в столицу Бирмы Рангун (ныне Янгон), и через месяц, 9 марта, отплывает в Бирму, не дождавшись даже предстоящей свадьбы любимой сестры с офицером-топографом Джоном Флемингом.

Справедливости ради надо бы сказать, что, отпуская Киплинга в «свободное плавание» (и в прямом, и в переносном смысле), Джордж Аллен расстроился не слишком: из-за всегдашней нерадивости редактора и репортера Киплинга «Новости недели» нередко выходили с опозданием. «Боюсь, дорогой мой, карьеру с помощью пера и бумаги вам не сделать», — напутствовал Аллен начинающего поэта и прозаика, решившего покончить с журналистикой и при этом говорившего, что «журналист останется журналистом до конца своих дней». Кей Робинсон оказался более прозорлив: перед отъездом в Англию он предлагал заключить пари, что не пройдет и года, как

Киплинг станет одним из самых знаменитых писателей Англии.

В Лахор «незнаменитый» пока писатель еще вернется, но это будет в другой жизни и очень ненадолго, поэтому 9 марта 1889 года можно считать днем его расставания с Индией. Индия и Киплинг многим обязаны друг другу. Индия сделала из него писателя, сформировала его жизненную позицию, взгляды — весьма консервативные политические и весьма прогрессивные литературные. Киплинг, со своей стороны, своими стихами и прозой впервые ввел эту далекую, неведомую, таинственную имперскую провинцию, «самый большой брильянт в короне ее величества», в обиход европейской культуры, изобразил Индию во всей ее красоте, мощи, нищете, многовековой мудрости и многовековых же предрассудках. За вычетом нескольких путевых очерков, десятка рассказов и нескольких десятков стихотворений, все творчество Киплинга, по существу, посвящено Индии и накрепко с ней связано. Примечательна в этом смысле карикатура на писателя, помещенная в английской газете в мае 1892 года: из головы Киплинга (мгновенно узнаваемые усы, очки, целеустремленный взгляд) с аккуратно срезанным скальпом высовывается хитро улыбающийся индус в тюрбане и с саблей. И подпись: «С Индией в мозгу».

«С Индией в мозгу» совершал Киплинг и свое первое кругосветное путешествие. И Бирму, и Сингапур, и даже Японию он оценивает исключительно через призму Индии, своего индийского опыта. «Индийские запахи родственны, а вот Бирма пахнет совсем иначе…»; «В клубе „Пегу“ я встретил приятеля-пенджабца и кинулся на его широкую грудь…»; «Я воспрял духом при мысли о том, что Индия… не так уж далеко»; «Улицы в Рангуне похожи на Парковую и Миддлтон в Калькутте»; «Улица являла собой удручающее зрелище. Ей следовало бы кишеть людьми из нашей Индии»; «Я чувствовал, что за моей спиной стоит вся Индия…»; «О, Индия, страна моя!»; «Хочу домой! Хочу вернуться в Индию!» Такие ассоциации, аллюзии, восклицания встречаются буквально на каждой странице путевых очерков странствующего по Юго-Восточной Азии Киплинга. Иронии, скепсиса, юмора в путевых зарисовках сколько угодно: серьезный, неулыбчивый Киплинг — не Киплинг («Леди в халатах будоражат воображение и мешают сосредоточиться на изучении политической жизни в Сингапуре»), но только не в отношении Индии, воспоминание о которой в Рангуне и Сингапуре, и по климату, и по уровню жизни мало чем от Индии отличающихся («Сингапур — та же Калькутта, только еще хуже»), поражают столь не свойственной Киплингу патетикой. Диагноз очевиден: приступ ностальгии, которая, о чем мы уже писали, будет мучить

Киплинга и дома, в Англии. Так и хочется слово «дом» закавычить — ведь до английского дома было еще далеко.

Последние семь лет Киплинг, как мы знаем, работал не покладая рук, жить в свое удовольствие не привык, поэтому досуг «глобтроттера» в пробковом шлеме, необходимость целыми днями без дела слоняться по палубе («Однообразие моря убийственно», — напишет он на пути в Америку), вести светскую беседу в кают-компании, корабельном буфете или в курительной, дремать в каюте или что-то лениво пописывать в толстой тетради в кожаном переплете для человека киплинговской энергии, задора и трудолюбия явились (и являлись впредь) тяжким испытанием. Но ведь Киплинг, возразит читатель, отличался невероятной любознательностью, любил встречаться с новыми людьми, которых, как никто, умел разговорить, подобное путешествие он совершает впервые, и смена впечатлений в любом случае должна была доставить ему немалое удовольствие.

Страны, пейзажи, обычаи, нравы, достопримечательности и правда сменялись с головокружительной быстротой. 9 марта — Калькутта, 14 марта — Рангун, 24 марта — Сингапур, 1 апреля — Гонконг, 15 апреля — Нагасаки, 31 мая — Сан-Франциско. Казалось бы: наблюдай чужую жизнь и нравы, бегай с фотоаппаратом, как его друг профессор Хилл (про миссис Хилл в путевых очерках — ни слова), веди для «Пионера» обещанный путевой дневник и готовься к встрече со славой, которая — Киплинг едва ли в этом сомневался — терпеливо поджидала его в Лондоне. «Когда-нибудь я обязательно напишу что-нибудь стоящее», — вспоминает слова старшего брата Трикс.

Но нет. Травелог не писался: «Пионер», стоило Хиллам и Киплингу выйти в море, безвозвратно исчез, растворился в прошлом, журналистика, да и литература вообще, стала казаться плутовством, а единственными реальными вещами в мире были теперь «кристально чистое море, добела вымытая палуба, мягкие ковры, жгучее солнце, соленый воздух и безмерная, тягучая лень». Если что в дороге и сочинялось, то только стихи. «Мы втроем стояли на корме „Африки“, плывшей в Сингапур, — вспоминает миссис Хилл, — как вдруг он начал что-то бубнить себе под нос, сбрасывая пепел из трубки за борт. Я уже понимала, что у него в мозгу что-то происходит. Потом что-то напел и воскликнул: „Идея! Напишу баллады про Томми Аткинса!“». Точно таким же образом он будет сочинять стихи и впредь: сначала сочиняет стихотворение в уме, затем проговаривает его или напевает и только потом, уже без единой помарки, записывает…

К достопримечательностям, даже такому чуду света, как рангунская пагода Шведагон, глобтроттер Киплинг остался, в

сущности, довольно равнодушен. Он отпускает огромному, сияющему золотом буддийскому храму дежурные комплименты (красочность, великолепие, таинственность), однако рассуждать склонен скорее о том, что отличает его любимых индийцев от китайцев, к которым он расположения не питает; подробно описывает ничем не примечательный английский квартал в Рангуне, или — беседу с приятелем-пенджабцем в рангунском клубе «Пегу», или — дом терпимости в Денвере или Гонконге. Девушка-бирманка, которой влюбчивый Радди увлекся в Моулмейне (позже это навеяло балладу «На дороге в Мандалей»), без труда затмила старинную пагоду, вокруг которой профессор Хилл — предтеча сегодняшних японских туристов — носился со своим «кощунственным» фотоаппаратом и в которую Киплинг так в итоге и не заглянул.

Если не считать славословий в адрес «моего дорогого» Томми Аткинса, «которому я давно отдал свое сердце», мало что доставляет Киплингу-путешественнику истинную радость, «позитива», как сказали бы сегодня, в его путевых очерках немного. Гонконг: грязная дорога, проливной дождь, в магазинах все втридорога, невыразительный пейзаж прячется в дожде и тумане, у местной шлюхи отсутствует половина легкого, зато присутствует постоянный страх заразиться холерой. Нагасаки: пустынная, испачканная углем набережная. Кобе — примитивный японский городишко, «все вокруг серо, как само небо». Осака: только один отель в городе отвечает запросам англичанина. Японский бизнес еще в самом зародыше, да японцам и не стоит связываться с коммерцией, во всяком случае, на европейский лад. Европейское платье и европейская конституция им «явно не по фигуре». В узких японских улочках «не встретишь игры экстравагантных красок, пестрых витрин и сверкающих фонарей». Полиция одета и ведет себя на европейский манер, что не делает ей чести, да и все японцы, «грациозные люди с изысканными манерами», растлены западной цивилизацией, подвержены низкопоклонству к Соединенным Штатам, в придаток которых они со временем превратятся (как в воду глядел!), что притупляет их «природные артистические инстинкты»…

Зато в Сан-Франциско, куда Киплинг и Хиллы прибыли из Йокогамы спустя двадцать дней на американском пароходе с китайским названием «Город Пекин» 31 мая 1889 года, с «артистическими инстинктами» все обстояло в полном порядке. Ими, вне всяких сомнений, обладал некий американец «в нескольких поколениях», который в день рождения королевы Виктории, собрав с десяток англичан в кают-компании «Города Пекина», красноречиво отчитал их за отсутствие национальной

гордости и за скудость британского патриотизма.

Наличествовали артистические инстинкты и у местного газетчика. В лучших традициях знаменитого марктвеновского рассказа «Как у меня брали интервью» (у Киплинга, кстати, его брали впервые, раньше интервью всегда брал он) тот принялся выспрашивать у специального корреспондента «Пионера» о положении дел с журналистикой в Индии, продемонстрировав при этом поразительное — даже для американцев — невежество. Ничуть не меньше, чем описание неведомой ему Индии, поразил местного журналиста ответ Киплинга на вопрос: «Что вы думаете о Сан-Франциско?» — «Для меня это священное место, — ответил Киплинг, больше привыкший задавать вопросы, чем на них отвечать, — ведь здесь творил Брет-Гарт». Газетчик, знавший о великом калифорнийском писателе лишь то, что тот «променял родину» на Британию, был поражен еще больше, когда Киплинг, оправдывая любимого с детства автора (а заодно и самого себя), добавил: «Истинный художник способен описывать родные места, находясь от них за тысячи миль…»

Вообще, в стране, где говорили на одном с Киплингом языке (пускай зачастую и мало понятном), экзотики оказалось куда больше, чем в экзотических Индии или Японии. Экзотики и отрицательных эмоций. В путевых очерках, посвященных Канаде и написанных лет на пятнадцать-двадцать позже, Киплинг проводит мысль о «белой эмиграции» — переселении англичан в Канаду, которая, по мысли писателя, должна была исправить англичанина, научить его работать лучше. Так вот, мысль о переселении англичан в Америку Киплингу пришла бы в голову вряд ли: американские нравы — в 1889 году Киплинг нисколько в этом не сомневался — англичанина не только не исправили бы, но испортили еще больше. «По одну сторону воображаемой линии, — писал в 1906 году, вернувшись из Канады, Киплинг, — находились Безопасность, Закон, Честь, Послушание, а по другую (то есть в Соединенных Штатах. — А. Л.) царила откровенная, грубая дикость».

Иными словами, к встрече с Новым Светом, тем более с Диким Западом (а Калифорния Брет-Гарта 120 лет назад была еще вполне дикой), Киплинг оказался совершенно не готов. Об этой неготовности американские впечатления свидетельствуют со всей очевидностью. «С этими местами не сравнится ничего на свете, — пишет Киплинг в письме сестре. — Безрассудство и опрометчивость правят этим миром, как никаким другим. Одни в одночасье делают сумасшедшие деньги, другие разоряются со стремительностью, от которой голова идет кругом. Все здесь на широкую ногу, даже монеты такой величины, чтобы ее разглядел

любой уважающий себя американец. Но самого сногсшибательного эффекта добиваются здешние репортеры. Если попал к ним в лапы, не обессудь: с этой минуты ты не владеешь больше ни своей душой, ни своими секретами, ни своими планами, ни своими амбициями…»

Сюрпризы в Сан-Франциско, «абсолютно безумном городе», возникали на каждом шагу, не только при встречах с назойливыми газетчиками. На улицах то и дело звучали выстрелы, не меньше половины посетителей салунов были вооружены револьверами, пьяные попадались с самого утра, клерк в отеле «Палас», где Киплинг остановился, вместо того чтобы обслуживать гостя, бесстрастно ковырял в зубах и разговаривал со своими знакомыми, как и полагается свободному человеку в свободной стране. Названия улиц либо писались на фонарях (!), либо отсутствовали вовсе. Почтенные джентльмены в сюртуках и цилиндрах, сидя в холле фешенебельной гостиницы, то и дело поплевывали на мраморный пол. Эти же почтенные джентльмены, собравшись на званый обед в престижном клубе «Богема», произносили бессчетное число пространных, высокопарных речей и по многу раз, поднявшись из-за стола, дружно распевали национальный гимн и славили память павших в гражданской войне… Репортера, общение с которым напоминало разговор с маленьким, дурно воспитанным ребенком, куда больше Брет-Гарта интересовала точная площадь Индии в квадратных милях.

К неприятным сюрпризам можно отнести и отказ издателя воскресного приложения к газете «Сан-Франциско кроникл» напечатать пару рассказов Киплинга, впоследствии вошедших в сборник «Три солдата». (К слову сказать, предлагал юный Киплинг, уже успевший «поиздержаться в дороге», свои рассказы и в другие издания, в частности в солидную филадельфийскую газету «Инквайрер».) «Говорите, этот парень только что из Индии? — процедил издатель приложения, лениво листая присланную рукопись про бравого ирландца Малвени и его друзей. — Отошлите этот рассказ ему обратно и передайте, пусть лучше напишет нам историю про ядовитых змей. В этой стране интерес к рассказам из индийской жизни отсутствует. Да и потом, уровень для нашего издания, пусть не обижается, откровенно любительский». Не пройдет и года, как «любительский уровень» «Трех солдат» окажется более чем востребованным, и в Америке в первую очередь. «Любитель» же, пренебрегая своей всемирной славой, будет по многу раз переписывать свои рукописи и при этом не давать исправить в них ни единой запятой, совсем не по-любительски отстаивать свои авторские права…

Были и сюрпризы приятные. В заведении под обнадеживающей вывеской «Бесплатный ленч» платить надо было только за спиртное, еда же подавалась бесплатно и в любом количестве. Вагончики-фуникулеры доставляли в любой конец города куда быстрее лондонских омнибусов и куда дешевле, всего за каких-нибудь два с половиной пенса. Радовали глаз и поднимали настроение ярко освещенные витрины, на которые провинциал из далекой Индии не мог не засматриваться. Засматривался он, по обыкновению, и на женщин: американки не шли ни в какое сравнение с представительницами прекрасного пола из Индии или Европы. Воображение двадцатичетырехлетнего глобтроттера жительницы Калифорнии поразили своим самообладанием, независимостью, хорошо подвешенным языком, красотой, статностью и роскошными туалетами — последнее, по контрасту с Симлой и Лахором, ничуть, впрочем, не удивительно. А также — завидным легкомыслием. «Певичку в забегаловке Господь наделил фигурой греческой статуи и глазами, в которых выражается все самое лучшее и сладостное на свете, — читаем в „Американских заметках“. — Но, о горе! В ее головке нет ни единой мысли, разве что желание пропустить стакан пива и вникнуть в нехитрые слова песенки, которую она ежевечерне исполняет». Легкомыслие американских девушек, впрочем, имело свои границы. «Их свобода велика, но они ею не злоупотребляют, — заметил Киплинг в одном из своих американских интервью. — Они могут ездить на машинах с молодыми людьми, бросающими на них такие плотоядные взгляды, от которых сердобольная английская мамаша наверняка бы за свою дочь не на шутку перепугалась, однако ни сидящий за рулем, ни сидящая с ним рядом не думают „ни о чем таком“, а просто наслаждаются жизнью».

Наслаждался жизнью и Радди. В Америке присущие ему журналистская любознательность, хватка, энергия, было уснувшие, вновь — возможно, подстегнутые недюжинными американскими хваткой и энергией, — пробуждаются, и Киплинг начинает функционировать. Из бесстрастного путешественника, погрузившегося в «безмерную, тягучую лень», он вновь преображается в репортера лахорской закалки: по собственной инициативе регулярно общается с коллегами журналистами, до хрипоты спорит с ними, чья демократия лучше, британская или американская, дважды дает интервью в «Сан-Франциско экзаминер», где «он нападал на нас, как и Диккенсу не снилось». Действительно, Киплинг, нисколько не стесняясь, говорит, например, в своих интервью такие веши: «Девять молодых американцев из десяти страдают неизлечимым расстройством

мыслительного аппарата». Или такой вот «комплимент»: «Я изучал лица студентов. Одни были старческими и измученными, другие — наивными и пустыми». Особенно часты и резки нападки Киплинга на американских репортеров, которые, по мнению писателя, отличаются тремя особенностями: нахрапистостью, невежеством и откровенным цинизмом. «Один из них сказал мне, — вспоминал потом Киплинг, — „Мы за мораль наших читателей не отвечаем. Мы даем им то, что они хотят“». Киплинг за мораль своих читателей отвечал, к репортерам же, и не только американским, именно тогда, в 1889 году, начал испытывать нескрываемое отвращение.

Свой всегдашний интерес к жизни демонстрирует Киплинг и в Америке: бродит по игорным притонам, салунам и питейным заведениям, становится свидетелем перестрелки игроков в покер в глубоком подземелье, в китайском квартале. Заводит много новых друзей, в том числе и среди местных толстосумов, в общество которых его ввела давняя подруга матери. Вникает в американскую политическую жизнь, пишет об изнанке двухпартийной системы, о коррупции, «салунном» парламенте, проблемах негритянского населения, выборах, американской армии, мормонах, посещает школы и колледжи, сидит на лекциях, одну из которых — «Эсхатология нашего Спасителя» — с юмором описывает. Ну, и, как всегда, влюбляется и, как всегда, безнадежно: за время пребывания в Америке он был влюблен, по собственному подсчету, в восемь американок, и каждая — это не наш иронический комментарий, а его собственные слова, — представлялась ему верхом совершенства, но лишь до тех пор, пока в комнату не входила следующая. Как и полагается англичанину, Киплинг умел и любил над собой посмеяться…

Были увлечения и более долговременные. Подавшись следом за Хиллами, довольно скоро покинувшими Сан-Франциско, на Восточное побережье, в «совершенно другую Америку» (убеждался Киплинг), и побывав по пути (опять кружном) в Портленде, Британской Колумбии, Ванкувере, Монтане, Солт-Лейк-Сити, Чикаго («город, населенный дикарями, которые не говорят ни о чем, кроме денег»), он останавливается в городке Бивер, в доме отца Тед, президента местного колледжа профессора Тейлора, и знакомится с младшей сестрой миссис Хилл Кэролайн Тейлор. Разбитная, хорошенькая, розовощекая девица сразу же вскружила ему голову, а со временем и завоевала его пылкое сердце. Живя в Бивере, он пишет ей любовные послания в стихах, и не на бумаге, а на десертных тарелочках (!), а в своих письмах-дневниках, адресованных миссис Хилл и писавшихся из Буффало, Вашингтона, Бостона, Нью-Йорка, Филадельфии, Киплинг, словно

невзначай, справляется о ее младшей сестре, которой предстоит стать еще одной его постоянной корреспонденткой.

Постоянным — и безответным — корреспондентом Киплинга был, не будем забывать, и аллахабадский «Пионер», подписчики которого с нетерпением ждали его репортажей. С американскими путевыми очерками читателям «Пионера» повезло гораздо больше, чем с бирманскими и даже японскими. Некоторые американские зарисовки можно смело отнести к лучшим образцам киплинговской прозы. Главы из книги «От моря до моря», где рассказывается о том, с каким удовольствием, упорством и напряжением ловил автор (кстати, большой любитель рыбной ловли) лосося в реке Клакамакс, а также о посещении похоронного бюро в Омахе, не только живо, динамично и остроумно написаны, но еще и предвосхищают англо-американскую классику XX века — «Старика и море» Хемингуэя и «Незабвенную» Ивлина Во, соответственно. В книге «От моря до моря» есть главы на любой вкус. Красочное описание чикагской бойни — хрестоматийный пример натуралистической зарисовки, празднование 4 июля — сатирической. «Через точно рассчитанные интервалы времени конгрегация спела „Страна моя“ на мотив „Боже, храни королеву“ (в этом случае прихожане не встали) и „Звездное знамя“ (прихожане встали)…»

Тут надо сказать, что даже самая злая антиамериканская инвектива, а таких в книге путевых очерков немало, сочетается у Киплинга с искренней любовью, а отчасти и жалостью (писателю казалось, что за лихорадочной деятельностью американцев скрывается безмерная, неосознанная скука) к этой стране, о чем писатель, боясь, что его неправильно истолкуют, оговаривается особо. Следуя той логике, что право на критику имеет лишь тот, кто любит, он замечает: «Я люблю этот народ, а если уж есть повод для уничтожающей критики в его адрес, то лучше я возьму ее на себя. Не знаю почему, но я подарил им свое сердце…» Американской литературе Киплинг «подарил свое сердце» давно, еще в детстве (Брет-Гарт, Марк Твен, Эмерсон, Уитмен), и вот теперь к американской прозе и поэзии добавились «самоуверенные, необузданные, легкомысленные» американцы, к литературе отношение не имеющие. В них Киплинг не разочаровался и в дальнейшем, хотя, как мы увидим, все основания для разочарований у него будут.

«Любовь-ненависть» к Америке Киплинг пронесет через всю жизнь. «Американцы мне нравятся ужасно, — заметил он в одном интервью, — однако в своих письмах в „Пионер“ я чертыхался от души. Боюсь, американцы не вполне понимают, какие неудобства испытывает цивилизованный человек, впервые путешествующий

по их стране… Здесь я повстречал совершенно бесподобных людей. Американцы мне ближе, чем англичане. Своей откровенностью и прямотой они напоминают мне наших англо-индийцев. Когда им хочется высказаться, они говорят то, что думают».

Странствия Киплинга по Америке кончаются Нью-Йорком (с которого у большинства путешественников они обычно начинаются); травелог же «От моря до моря» кончается интервью с кумиром Киплинга — Марком Твеном, про которого начинающий писатель говорил, что «научился восхищаться Сэмюелом Клеменсом, находясь от него на расстоянии четырнадцати тысяч миль», и поиски которого описаны так смешно, с такой выдумкой, словно соавтором этой последней главы был сам Марк Твен.

На этой встрече стоит остановиться поподробнее, тем более что Киплинг любил о ней вспоминать; рассказал он о беседе с живым классиком спустя годы и издателю и биографу Марка Твена, его дальнему родственнику Сирилу Клеменсу. «Меня провели в большую, темную комнату, с громадным стулом у письменного стола, и передо мной вырос человек с большими светящимися глазами, седыми волосами и темными усами. Большая, сильная рука стиснула мою, и самый медленный, спокойный, уверенный на свете голос произнес: „Вы, стало быть, считаете себя моим должником и приехали из Индии, чтобы мне об этом сообщить. Вот было бы здорово, если бы все так же щедро платили по векселям, как вы!“… Я предполагал увидеть пожилого человека, но вскоре понял, что ошибался: глаза у него были совсем еще молодыми, а седые волосы — тривиальной случайностью».

Киплинг хозяину дома понравился, и разговор затянулся. «Он показался мне человеком весьма примечательным, — вспоминал потом Марк Твен. — Во время нашей беседы мы обсудили все области знаний. Он знает все, что только можно знать; я — все остальное».

Насчет «всех областей знаний» Марк Твен погорячился; в основном говорили о трех вещах: об авторском праве, о судьбе героев Твена и об автобиографическом жанре.

О соблюдении прав авторов, теме и тогда весьма актуальной, разговор зашел, вероятно, потому, что в Америке конца позапрошлого — начала прошлого века авторские права нарушались самым беспардонным образом, о чем не только умудренный Марк Твен, но и начинающий Киплинг знали не понаслышке. «Помню одного прохвоста издателя, — поделился с Киплингом Твен. — Он брал мои рассказы — не воровал, а просто

брал — и составлял из них сборник. Если, к примеру, у меня был очерк о зубоврачевании или о стихосложении, этот издатель вносил в него свои поправки, что-то сокращал, что-то добавлял, мог заказать другому автору дописать мой очерк или, наоборот, сократить его, а потом выпускал книгу под названием: „Марк Твен. О зубоврачевании“».

Не мог Киплинг не задать мэтру вопрос и о судьбе своего любимого героя Тома Сойера — женит ли его автор на дочке судьи Тэтчера, как сложится его судьба, когда он вырастет. «Еще не решил, — ответил Марк Твен. — У меня есть две прямо противоположные идеи. Том либо сделает карьеру и будет заседать в Конгрессе, либо кончит свою жизнь на виселице».

Зашла речь и об автобиографическом жанре, в связи с чем Твен, как и в случае с Томом Сойером, высказал две «прямо противоположные идеи». Сначала автор «Принца и нищего» заявил, что в настоящей автобиографии автор при всем желании не может рассказать о себе всю правду. «Однажды я поставил эксперимент, — сообщил гостю Твен. — Уговорил своего друга, человека кристальной честности, написать свою биографию. Когда биография была написана, я, хорошо своего друга знавший, не обнаружил в ней ни единого правдивого слова. Не верю, чтобы человек был способен написать о себе всю правду». На вопрос Киплинга, собирается ли он сам написать автобиографию, Марк Твен прошелся по комнате, раскурил трубку, выпустил густой клуб дыма и заявил: «Если когда-нибудь мне и придется писать автобиографию, то напишу я ее так, как пишут все остальные, — с искренним желанием изобразить себя лучше, чем я есть на самом деле. И, разумеется, потерплю неудачу: читатель поверит мне ничуть не больше, чем всем остальным». В то же время, рассуждая о правде в литературе, Марк Твен, вопреки только что сказанному, заметил, что автобиография — это единственный литературный жанр, в котором писатель, порой не по собственной воле, обнаруживает себя в истинном свете. Классик не мог и помыслить, что, спустя без малого полвека, его молодой собеседник эту теорию опровергнет на практике. Он напишет автобиографию, где сделает все возможное, чтобы не «обнаружить себя в истинном свете»: читатель «Немного о себе» немногое и вынесет из этой немногословной автобиографии об ее авторе.

Вот и о путешествии в Англию через Японию и США в автобиографии Киплинга нет ни единой строчки, как будто путешествия этого не было вовсе. А между тем, начавшись в марте 1889 года, в сентябре оно приближалось к завершению; одновременно с путешествием подходили к концу и деньги, на Восточном побережье их было уже в обрез. В Нью-Йорке, куда

Киплинг прибыл в начале сентября и откуда он должен был спустя месяц отплыть в Лондон, его поджидали две новости — одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость состояла в том, что американский издатель выпустил «Простые рассказы с гор». Плохая — что издание это было пиратским. Была и еще одна хорошая, даже очень хорошая новость: целый ворох положительных рецензий на книгу в авторитетной лондонской и нью-йоркской периодике. Общий смысл напечатанного в «Сент-Джеймсез газетт» и в «Вэнити фэйр», в «Субботнем обозрении» и в «Уорлд» сводился к тому, что англо-индийские рассказы Киплинга — новое слово в литературе на английском языке и теперь есть надежда, что на литературном небосклоне появится звезда первой величины.

Бочка меда редко обходится без ложки дегтя. Американский приятель Джона Локвуда порекомендовал Киплинга-младшего крупному нью-йоркскому издателю Генри Харперу, и 10 сентября Радди отправился в существующее и поныне издательство «Харпер бразерс», предвкушая комплименты, к которым он начал было постепенно привыкать. Вместо похвал, однако, ему было сказано коротко и внятно: «Учтите, молодой человек, в этом издательстве печатают литературу». Киплинг умел держать удар, его научил этому еще Уильям Крофтс, и нисколько не расстроился оттого, что его творчество не сочли литературой. Он, по обыкновению, отчитался в письме сестрам Тейлор, сколь нелюбезный прием был ему оказан. После чего, проведя последние две недели за разговорами о литературе в обществе милейшего дядюшки Генри Макдональда, 5 октября 1889 года, спустя без малого семь месяцев после начала своего первого кругосветного путешествия и семь лет после отъезда из Англии в Индию, поднялся на палубу отплывающего в Лондон парохода. Вместе с ним на палубу поднялись и сестры Тейлор, а также их двоюродный брат; миссис Хилл в сопровождении сестры возвращалась к мужу в Индию через Лондон. Тихий океан Редьярд Киплинг пересек на «Городе Пекине», Атлантический предстояло пересечь на «Городе Берлине». Ни в Пекине, ни в Берлине заядлый путешественник Киплинг так никогда и не побывает.

Глава пятая «БЫТИЕ: 45, 9 — 13»

Название этой главы воспроизводит предельно краткую телеграмму, которую отбил отцу из Лондона Редьярд Киплинг.

Раскрываем сорок пятую главу Бытия и читаем: «Идите скорее к отцу моему и скажите ему… Бог поставил меня господином над всем Египтом… скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте…» Библейская аллюзия очевидна: литературный Лондон завоеван.

Радоваться было чему. Восторги критики неуемны: «Наконец-то литература!», «Эврика! Гений», «Комета, вспыхнувшая в небе!» И писал это не кто-ни-будь, а тот самый Эндрю Лэнг, который всего пару лет назад так снисходительно отозвался о «Департаментских песенках», а «Простые рассказы» и вовсе назвал «отвратительным вздором».

«Пионер» тем временем продолжал к себе притягивать. По приезде, прожив некоторое время у Бёрн-Джонсов на Норт-Энд-Роуд и съездив на несколько дней в Париж (инициация провинциала), Киплинг снимает двухкомнатную квартирку с окнами на Темзу и на мюзик-холл Гатти, на четвертом этаже доходного дома Эмбанкмент-Чэмберс на Вильерс-стрит, в двух шагах от лондонского офиса «Пионера», куда он, впрочем, писать перестал. С Индией теперь, кроме родителей, его связывают разве что сестры Тейлор, уплывшие в Калькутту 25 октября, и постоянная, нескончаемая ностальгия. Слава славой, похвалы критиков похвалами, а в туманной столице, которую, будучи в Индии, все четверо Киплингов неизменно называли home — «домом», он чувствовал себя на редкость одиноким, к тому же в долговременность своего литературного успеха ему не верилось. Трикс, побывавшая у него в Эмбанкмент-Чэмберс, писала, что свалившийся на голову успех его скорее смущал, чем радовал, он не мог его объяснить.

Итак, на первых порах Радди был одинок, растерян и вдобавок довольно сильно нуждался. В первые месяцы пребывания в Лондоне приходилось считать каждое пенни. Квартира на Вильерс-стрит находилась над сосисочной Гарриса, и Киплинг прикинул, что если утром съесть сосисок на два пенни, то можно будет дотянуть до вечера. Ужин обходился автору «Простых рассказов» еще в два пенни, столько же стоили полунции мало-мальски сносного табака. Самым же «большим», непозволительным расходом был входной билет в «Лицеум» Генри Ирвинга — любимый театр Киплинга, или четырехпенсовый билет в мюзик-холл напротив с кружкой пива в

придачу. Не этим ли четырем пенсам обязаны мы многими «мюзик-холльными» стихами Киплинга, которые напрямую вышли из песенок, исполнявшихся со сцены переполненного зала Гатти, из общения с завсегдатаями заведения? Впрочем, вопрос, пусть и риторический, здесь едва ли уместен: сам Киплинг отвечает на него утвердительно в автобиографии, вспоминая, что на первые стихотворения из сборника «Казарменные баллады» его вдохновили истории буфетчицы в Гатти, «глубоко и философски познавшей все разновидности зла». Помимо буфетчицы, «университетами» начинающего писателя были и представители лондонского дна, которые летними ночами собирались на мосту Ватерлоо, почти что под окнами его квартиры. Писатель Артур Кимболл вспоминает, что Киплинг придвигал диван к окну, вооружался карандашом и бумагой и слушал, как переругиваются, философствуют и обмениваются анекдотами лондонские Бароны и Сатины.

Но одиночество переносится хуже голода. В своей съемной квартирке, сидя целыми днями за огромным письменным столом, на столешнице которого Киплинг вырезал кривым индийским кинжалом «Часто я уставал за тобой», он ощущал себя как на необитаемом острове, о чем не раз жаловался в письмах родителям и миссис Хилл. Лондон был для него «унылой, серой пустыней».

«Остров» меж тем был вполне обитаем и никому, кроме индийского гостя, пустыню не напоминал. У Эндрю Лэнга, про которого Киплинг писал, что он «далек от жизни, как облако, и отзывчив более всего, когда кажется, что вы его нисколько не интересуете», слово не разошлось с делом. Не прошло и нескольких дней пребывания Киплинга в столице, как Лэнг сделал для юного дарования две чрезвычайно важные вещи. Во-первых, уговорил Сэмпсона Лоу, издателя, для которого он рецензировал поступающие рукописи, приобрести права на шесть томиков «Индийской железнодорожной библиотеки», что и было сделано: в начале 1890 года первый том, «Три солдата», солидным и сегодня тиражом семь тысяч экземпляров был выпущен на английский книжный рынок. И, во-вторых, отвел Киплинга в клуб «Сэвил», самый в то время известный литературный клуб в Лондоне.

В «Сэвиле», где Киплинг вскоре сделался завсегдатаем и куда спустя год был принят, удалось завязать весьма полезные знакомства. Быстрый ум, отменное чувство юмора, талант устного рассказчика, незаурядное умение слушать (а значит, и расположить к себе) собеседника, независимость характера, суждений и образа мыслей не могли не нравиться. Пригодились и

индийские связи. Главный редактор столичного журнала «Макмилланс мэгэзин» Моубрей Моррис в бытность свою в Индии был художественным редактором в «Пионере». Главному же редактору литературной вечерней газеты «Сент-Джеймсез газетт» Сидни Лоу Киплинга представил не кто иной, как его бывший начальник, тот самый Стивен Уилер, который одно время, до Кея Робинсона, руководил, пусть и не слишком удачно, лахорской «Гражданской и военной газетой». Уилер, как мы помним, был в свое время Киплингом не слишком доволен, полагал, что занятия литературой отвлекают редактора и репортера от дела; теперь же он расхвалил бывшего подчиненного до небес и дал Лоу прочесть «Трех солдат». «Солдаты» пришлись Лоу по душе, он всем рассказывал, что на литературном горизонте появился новый Диккенс, и попросил Уилера познакомить его с Киплингом. «Однажды утром, — вспоминал впоследствии Сидни Лоу, — ко мне в кабинет ворвался (однокашник Радди Джордж Бирсфорд писал „впорхнул“) низкорослый темноволосый молодой человек в котелке и в потертом твидовом пиджаке. У молодого человека был зычный голос, широкая улыбка, а из-под очков сверкали самые живые глаза, которые мне приходилось видеть». В ресторане на Флит-стрит, куда Лоу пригласил молодого человека, тот принялся с чисто мальчишеским энтузиазмом рассказывать про Индию и про «громадье» разнообразных литературных планов, чем привлек внимание не только собеседника, но и сидевших за соседними столами: посетители ресторана (вспоминал впоследствии Лоу) отложили ножи и вилки, прервали разговоры и стали слушать. В тот же день Киплинг получил предложение постоянно работать в газете и/или сочинять для нее очерки и рассказы, первый из которых — «Комета сезона» — увидел свет в «Сент-Джеймсез газетт» 21 ноября 1889 года.

Начало было положено. Тогда же, в ноябре, в «Макмилланс мэгэзин», под уже известным нам псевдонимом «Юсуф», Киплинг печатает «Балладу о милосердии короля», а в декабрьском номере — прославившую его «Балладу о Востоке и Западе», за которой последовали столь же теперь классические «Денни Дивер» и «Мандалей». В самом скором времени их станут распевать в мюзик-холлах и на концертах. Киплинга стали не только печатать в столице, и в «Макмилланс мэгэзин», и в «Сент-Джеймсез газетт», но и заметили. И не кто-нибудь, а сам поэт-лауреат Альфред Теннисон, фигура первой величины в викторианской литературной иерархии. «Он из них единственный с божественным огнем», — высказался о Киплинге восьмидесятилетний классик, не склонный делать комплименты авторам, тем более молодым.

Молодой же автор тем временем демонстрирует перепады настроения. В письмах в Индию сестрам Тейлор, особенно младшей, в которую Киплинг влюбился не на шутку, называл «сердце мое» и на которой, судя по всему, подумывал в то время жениться, он жалуется, как и родителям, на одиночество, на нехватку настоящих друзей, женского общества, на отсутствие человека, которому можно было бы излить душу. Не изливать же, в самом деле, душу кузену Амброзу Пойнтеру, сыну модного тогда художника Эдварда Пойнтера и тети Эгги Макдональд! Этот бездарный поэт-графоман сам регулярно изливал Киплингу душу, просиживая на Вильерс-стрит до глубокой ночи. Или новому приятелю, автору «Жизни Китса» Сидни Колвину, «с тонкими, как спички, пальцами и сухой прыщавой кожей»; по меткому выражению Киплинга, Колвин «страдал от всех без исключения нервно-истерических болезней XIX века». В письмах и дневниках того времени Киплинг не щадит никого, в том числе и живых (еще) классиков, например почтенного автора «Эгоиста» Джорджа Мередита. «Представьте себе, — писал он приятелю в Индию, — старого, высохшего человечка, который глух на одно ухо и сыплет нескончаемыми афоризмами. Ни время, ни рай, ни ад, ни священное пятичасовое чаепитие не способны остановить этот поток… Дабы привлечь к себе внимание, старичок раскачивается на пятках, словно шанхайский петух, и, если вы его не слушаете, надувается, как капризный ребенок». Тоскливые, язвительные письма Киплинга в Индию можно, правда, объяснить и иначе: не ностальгией, не одиночеством, а попросту позой влюбленного с разбитым сердцем.

Тем более что с лондонскими кузенами и кузинами, а также с новыми приятелями — а их вскоре у общительного провинциала набралось довольно много — он был, как правило, весел, отзывчив, остроумен, увлекательно рассказывал всевозможные истории, в том числе и «на индийском материале», делился планами — словом, радовался жизни и купался в лучах славы. В писательской среде Киплинг казался баловнем судьбы: его везде печатают, он обласкан рецензентами, его фотографии и карикатуры (маленький, коренастый усатый очкарик с тяжелым, выдающимся вперед подбородком), а также пародии на него мелькают в газетах и журналах. При этом многие, в том числе авторитетный критик, искусный пародист и карикатурист Макс Бирбом, считают его белой вороной, провинциальным выскочкой, киплинговский мир экзотики и героики всерьез не воспринимают. Работу на постоянной или гонорарной основе ему в это время предлагали лучшие столичные периодические издания: кроме «Макмилланс мэгэзин» и «Сент-Джеймсез газетт» — «Спектейтор»,

«Лонгменз», юмористический «Панч» и даже не сбросившая его со счетов лахорская «Гражданская и военная газета». Дружбы с ним ищут известные писатели тех лет, например, автор «Копей царя Соломона» Райдер Хаггард, и это при том, что Киплинг потешает членов «Сэвила» пресмешной пародией «Правдивый Джеймс», двойной мишенью которой становятся его любимый Брет-Гарт и Хаггард: аллюзии на только что увидевший свет роман Хаггарда «Клеопатра» недвусмысленны и всем бросаются в глаза.

Помимо Хаггарда, «бессмертного автора, которого Киплинг уже успел прикончить» (Генри Джеймс, из письма Р. Л. Стивенсону от 21 марта 1890 года), Киплинг сходится в эти годы со всей «королевской ратью» английской литературы. Это Артур Конан Дойл, Томас Гарди и Генри Джеймс — авторы, в представлении не нуждающиеся. Это поэт, критик, лексикограф, издатель, друг и соавтор Стивенсона Уильям Эрнест Хенли. Это литературовед, апологет викторианства Эдвард Джордж Сейнтсбери. Это романист, популист, создатель Авторского общества, радетель авторского права и редактор известного в девяностые годы журнала «Автор» сэр Уолтер Безант. И еще один сэр — критик и лектор, скандинавист, автор книг об Ибсене, Донне, Суинберне Эдмунд Уильям Госс. Ближайшими же друзьями Киплинга — и на всю жизнь — становятся принявший в нем такое большое участие «чуждый притворства» Лэнг, весельчак, остроумец, душа общества Хаггард, а также писавший под псевдонимом «Энсти» Томас Энсти Гатри, автор «Медного кувшина», перелицованного по-русски в «Старика Хоттабыча».

Все эти знаменитости в 1890 году, во-первых, единодушно рекомендовали Киплинга для вступления в «Сэвил», а во-вторых, в том же году инициировали статью о нем в «Таймс»; статья, да еще передовица, появилась 25 марта и, по существу, легализовала Киплинга в роли восходящей звезды английской литературы. Анонимный автор (Хенли? Безант? Госс?) дает индийским стихам и рассказам Киплинга самую высокую оценку, называет его литературным первооткрывателем Индии, создателем первого правдивого образа британского солдата — Томми Аткинса. В статье говорится, что в прежние времена Индия давала Англии великое множество воинов и администраторов, а вот писателя — впервые. Автор сравнивает Киплинга с самим Мопассаном за умение всего на нескольких страницах набросать законченные, убедительные портреты героев. При этом — как это бывает, когда умудренный опытом критик пишет о молодом, еще только подающем надежды литераторе, — автор статьи оговаривается, что как стилист Киплинг, безусловно, Мопассану уступает и еще неизвестно, выдержит ли он «гонку на длинную дистанцию», не

израсходует ли до времени творческий порыв. «Остается надеяться, — прозорливо замечает в конце статьи в „Таймс“ не пожелавший назваться автор, — что Киплинг не испишется. Современные журналы и их преисполненные энтузиазма издатели — коварная западня на пути яркого, умного и разностороннего сочинителя, который сознает, что он сумел полюбиться читательской публике».

Кто был автором передовицы в ведущей британской газете, не столь существенно; им мог стать любой из выше перечисленных литераторов, ведь каждый из них сыграл в жизни и в литературной судьбе Киплинга свою особую роль.

С Генри Райдером Хаггардом Киплинга связывали пожизненная дружба и прочный, многолетний творческий союз. Своим романом «Лилия Нада» Хаггард вдохновил Киплинга на сочинение первой «Книги джунглей». «Помнишь, как в твоем романе волки прыгают к ногам сидящего на скале мертвеца? — писал в 1895 году другу Киплинг. — При чтении этого эпизода у меня и возникла идея „Книги джунглей“». На первую встречу с Хаггардом в его доме на Рэдклифф-сквер Киплинг опоздал; в тот вечер он чудом остался жив. Его кеб столкнулся на Пиккадилли с грузовым фургоном, и в гости к автору «Копий царя Соломона» Киплинг явился с кровоподтеком на виске. Киплинг не терпел присутствия в его кабинете посторонних людей — Хаггард же пользовался привилегией не только сидеть в комнате Киплинга, когда тот работал, но и писать одновременно с ним. Писатели делились творческими идеями, вынашивали общие планы (которым, впрочем, не суждено было осуществиться), вели философские беседы. «Он один из немногих оставшихся в живых людей, к которым я испытываю живейшую симпатию, остальных уже нет… — писал Хаггард про Киплинга весной 1918 года. — О чем мы говорили? О многом — в основном о человеческих судьбах… Однажды я заметил, что наш мир — один из кругов ада. Он ответил, что ни минуты в этом не сомневается. В нашем мире, пояснил он, есть все, что свойственно аду: сомнение, страх, боль, борьба, скорбь, необоримые искушения, физические и нравственные страдания и, наконец, худшее, что только человек может придумать для человека — смертная казнь!.. Я возразил, что он, по крайней мере, знаменит, что его все знают как „великого мистера Киплинга“ и что для многих его существование является немалым утешением. Он отмахнулся: „Кому все это нужно? Слава ничего не стоит. К тому же в том, что мы пишем, нашей заслуги нет. За нас это делает кто-то другой, мы же не более чем телефонные провода“». «С литературной братией я отношений не поддерживаю, — признавался Хаггарду

Киплинг. — Да ведь я к ним и отношения не имею. Как, впрочем, и ты». Киплинг не кривил душой — лишь первые годы он охотно вращался в литературном сообществе. И все же для некоторых представителей «литературной братии» он исключение делал — в первую очередь для Генри Джеймса и Уильяма Эрнеста Хенли.

Генри Джеймс, тонкий стилист, родившийся в Нью-Йорке, но в 1876 году перебравшийся в любезную ему Англию, тепло относился к автору «Кима» и, хотя книги его иногда поругивал, называл «законченным гением», «самым безусловным гением… из мне известных», «юным чудовищем», «восходящей звездой», «автором замечательных англо-индийских рассказов, на удивление точно описывающих жизнь казармы». Вместе с тем в прозе Киплинга Джеймсу, по всей вероятности, не хватало свойственных ему самому психологизма и стилистических изысков; ему претил откровенный «журнализм», «репортажность» произведений друга. «Как автора баллад, — писал Джеймс о Киплинге, — его ждет великое будущее. Но мое мнение о нем как о прозаике сильно пошатнулось — он… почти ничего не пишет о сложности души, или о женской психологии, или вообще о каких-либо оттенках и полутонах, в изображении которых и состоит мастерство писателя…» Говорил же Бабель, что солдатская проза Киплинга «точна, как военное донесение или банковский чек». Тут не до полутонов.

Хенли, вслед за Лэнгом, «открыл» Киплинга, и не только Киплинга — он был первооткрывателем таких знаменитых теперь имен, как автор «Питера Пена» Джеймс Барри, Уильям Батлер Йейтс, Герберт Уэллс и Джозеф Конрад; он знал, и знал хорошо, всех лучших английских писателей от Уайльда и Стивенсона до начинающего музыкального критика Бернарда Шоу. Хенли первым прочел первые стихи из «Казарменных баллад», пришел в восторг (существует легенда, будто, прочитав «Денни Дивера», Хенли вскочил, принялся приплясывать и колотить по столу кулаком, после чего отправил автору телеграмму из четырех слов: «Да благословит Вас Бог»), попросил «добавки» и, начиная с февраля 1890 года, баллады Киплинга стали еженедельно появляться в его элитарном литературном еженедельнике «Скотс обсервер», основанном в 1889 году и в дальнейшем переименованном в «Нэшнл обсервер». Юный Киплинг высоко ставил Хенли — и как критика, и как тонкого, въедливого редактора, и как доброго и великодушного человека. «Мне посчастливилось, — писал он в одном из писем, — увидеть в нем человека доброго, щедрого, несравненного редактора, обладавшего уникальным даром выкликать из своего огромного стада лучших…» А также, не в последнюю очередь, — как

заядлого консерватора, ненавидевшего Гладстона и весь «разношерстный сброд либералов». Когда Киплинг отозвался негодующими стихами «Оправданы!» на оправдательный приговор членам Ирландской земельной лиги, совершившим серию политических убийств, это стихотворение не решилась напечатать даже «Таймс», газета, которую трудно было обвинить в либерализме. Хенли же опубликовал его в своем «Обсервере», когда поэтическая сатира на либералов уже валялась в мусорной корзине, куда разозленный автор выбросил ее за ненадобностью…

Эдмунд Госс также отнесся к автору «Маугли» с большой симпатией, вскоре после приезда Киплинга в Лондон он познакомил его с молодым американским литератором Уолкоттом Бейлстиром, в Англии более известным, чем в Америке — знакомство, во многом определившее дальнейшую жизнь автора «Книги джунглей». «Но это, — как имел обыкновение писать Киплинг в открытых концовках своих рассказов, — уже совсем другая история»…

Уолтер Безант, «человек с большой седеющей бородой, в поблескивающих очках», как и Хенли, опекал молодого автора, был с ним добр и отзывчив, делился «мудростью относительно этого непознаваемого мира». Это Безант порекомендовал ему литературно-правовое агентство Э. П. Уотта, которое на протяжении многих лет споро и ответственно вело книжные дела Киплинга, отстаивало его авторские права; благодаря Уотту-старшему финансовое положение писателя, поначалу столь шаткое, стало быстро выправляться. Вслед за достопамятным Уильямом Крофтсом из «Юнайтед-Сервисез» Безант советовал Киплингу не реагировать на критические выпады, держаться подальше от писательских распрей, дрязг и интриг, «не соваться во всю эту собачью грызню». И Киплинг хорошо усвоил этот урок? никогда никого не просил давать отзывы на свои книги, никогда, несмотря на уговоры Энсти, Хаггарда и Лэнга, не входил ни в какие литературные кружки и движения и никогда не критиковал книги своих собратьев по перу. Вообще, старался от «собачьей грызни» держаться в стороне.

Тут самое, пожалуй, место ненадолго отвлечься от нашей истории и сказать несколько слов о взаимоотношениях Киплинга и «критического цеха» в целом. Когда читаешь жизнеописание писателя, то, как правило, встречаешь слова, ставшие уже своеобразным трюизмом: отношения имярека с критикой были непростыми. У Киплинга же, против обыкновения, отношений с критикой не было вовсе — ни простых, ни сложных. Критика для него, можно сказать, не существовала; во всяком случае, писатель

никак и никогда на нее, следуя советам Крофтса и Безанта, не реагировал. Киплинг — общее место почти во всех биографиях — любил детей, ненавидел репортеров («они меня используют»), критиков же попросту игнорировал. Что же до отношения критиков к Киплингу, то они, эти отношения, начиная с «Простых рассказов с гор» и первых стихотворений, меняются, в сущности, очень несущественно. Пишущие об авторе «Кима» и «Книг джунглей» в девяностые годы XIX — первые десятилетия XX века хвалят его за одно и то же, да и «болевые точки», как мы уже отчасти заметили, нащупывают примерно те же. Не потому ли, что путь Киплинга в литературе, как и его стойкие консервативно-джингоистские воззрения, был, говоря словами Блока, «в основном своем устремлении как стрела прямой, как стрела действенный»?

Если задаться целью составить «собирательный образ» Киплинга-прозаика и поэта на основании мнений о нем его авторитетных современников, начиная с лондонских рецензий конца 80-х — начала 90-х годов позапрошлого века, то мы увидим, что пишущие об авторе «Маугли» — будь то открывший Киплинга-прозаика Эндрю Лэнг или открывший Киплинга-поэта Уильям Эрнст Хенли, Стивенсон или Генри Джеймс, Джеймс Барри или Оскар Уайльд, Эдмунд Госс или Честертон, Джордж Мур, Герберт Уэллс или Томас Стернз Элиот, — не слишком противоречат друг другу. Образ того, что Уэллс в книге «Новый Макиавелли» (1911) назвал «киплингизмом» («В университете определяющее влияние на меня оказал не социализм, а киплингизм»), «собирается» довольно цельный. Вот он.

Киплинг — прирожденный новеллист, он — «бегун на короткие дистанции», при этом писатель одинаково уверенно чувствует себя в описании ситуаций и эпизодов как юмористических, так и патетических. Его малая проза отличается оригинальностью, непосредственностью, острой наблюдательностью, грубоватостью и вместе с тем изяществом, представляя собой сочетание, казалось бы, несочетаемого — реализма и романтизма, цинизма и сопереживания, тягой — в духе Брет-Гарта — к описанию экзотических сюжетов, нравов, быта, психологии и ландшафтов мало известной читателю Британской Индии и столь же мало известного «племени» англо-индийцев. В отличие от традиционной сюжетной прозы, малая проза Киплинга пишется «как придется» (Конан Дойл), в описаниях нет-нет да блеснет вдруг неожиданный, яркий, смелый образ, при этом оборваться рассказ может в любом месте. Не даются писателю большая проза («Ким» — исключение) и концовки рассказов; многие из них завершаются фразой, которую

мы уже не раз приводили. Заключительная авторская реплика «Но это уже другая история» стала мишенью многочисленных пародий, она свидетельствует о неумении (или нежелании) автора поставить точки над «i».

Язык Киплинга-прозаика (да и поэта, по существу, тоже) — смесь, как писал Хенли, «всех сленгов на свете», диалектная речь удается ему, как, пожалуй, никакому другому английскому писателю; в стихии просторечного диалога он чувствует себя как рыба в воде, знает эту свою сильную сторону и иногда излишне диалогом увлекается. Киплинг талантлив, многообещающ (впервые после Диккенса), плодовит, разнообразен. При этом — неровен, порой небрежен, слишком спешит («должен предохранять зажженный им костер обеими руками» — Стивенсон), не способен писать сердцем («в нем нет ни единой капли сердечной крови» — Стивенсон), слабоват в композиции, в нюансировке. «Его проза, — писал Джеймс, — это сплошные трубы и кастаньеты, ни единого завывания скрипки или соловьиной трели». «Он слишком громко колотит по клавишам во время концерта в какой-нибудь забегаловке», — вторит Джеймсу Госс. Он отменно знает местные обычаи, но не знает жизни (Джеймс Барри). Как никакому другому английскому писателю конца века, Киплингу «повезло с опытом» (Хенли), семилетняя репортерская работа в Индии снабдила его бесценным жизненным материалом, научила писать метко, без прикрас, «по делу», превратила «в нашего главного авторитета по пошлости» (Уайльд).

Журналистике — единодушное мнение критики — Киплинг обязан всеми своими достоинствами и недостатками. И плюсы, и минусы его прозы суть плюсы и минусы газетного репортажа. Плюсы — знание местной жизни, композиционное богатство, содержательность, динамизм, хлесткость, выверенность стиля. Минусы — поспешность, издержки вкуса (увлечение просторечным диалогом, например), стилистические сбои, на что обращают внимание и Стивенсон, и Уайльд, и Джеймс, да и другие критики рангом пониже.

Закончим этот экскурс парадоксом, который, впрочем, в литературе парадоксом является далеко не всегда. Когда Киплинг в девяностые годы со всеми бросающимися в глаза грехами молодости ворвался в литературу, критики писали о нем много и увлеченно: больше хвалили, чем ругали, советовали, как всегда советуют молодым, «учиться властвовать собой». Когда же спустя два-три десятилетия грехи молодости были преодолены и каждое слово и в прозе и в поэзии мастера стояло, как рекомендовал еще Свифт, «на своем месте», когда литературное искусство Киплинга

— в отличие от его стойких ретроградных политических пристрастий — ни у кого сомнений не вызывало, вот тогда критика потеряла к живому классику интерес, переключилась на других кумиров. «Появление его новой книги, — писал в 1919 году в своем журнале „Атенеум“ Элиот, — не вызвало даже зыби на гладкой поверхности наших интеллигентских пересудов (our conversational intelligentia). Киплинг не превратился в анафему. О нем попросту перестали говорить». Повторимся: критика для Киплинга не существовала никогда, но теперь не существовал для критики и Киплинг.

Единственными двумя критиками, для кого Киплинг делал исключение, чьим мнением по-настоящему дорожил, были родители. Джон Локвуд, как правило, был первым, всегда благожелательным, но и вдумчивым его читателем — иначе он не преуспел бы как иллюстратор книг сына. Объясняя свое стремление открыть англичанам мир за пределами Англии, раздвинуть границы канонической литературы, Киплинг, о чем уже вскользь говорилось, любил ссылаться на слова Алисы: «Те, кто знает только Англию, Англии не знают»; эти материнские слова звучат рефреном и в знаменитом стихотворении Киплинга «Английский стяг».

Сам же Киплинг в начале девяностых куда лучше знал не-Англию, чем Англию, — его, создателя нового литературного пространства экзотики и героики, постоянно, с легкой руки Джеймса Барри, обвиняли в незнании жизни. Недоброжелатели считали его «англичанином без родины», Честертон (его, впрочем, недоброжелателем Киплинга не назовешь) писал о нем: «Он знает Англию точно так же, как какой-нибудь образованный английский джентльмен знает Венецию. В Англии он бывал огромное число раз, подолгу гостил в ней, но это не его дом, не его родина». Ему вторит и сам Киплинг, заметивший однажды в письме Хаггарду: «Я медленно открываю для себя Англию, самую замечательную заграницу, в которой мне довелось побывать».

Что ж, лондонскую жизнь он и в самом деле знал плохо, да и отзывался о ней — во всяком случае, поначалу — не слишком лестно. Не слишком привлекала его и возможность вращаться в писательских кругах. «Люди с чернильной лихорадкой нравились мне всегда. Они неотразимы — но лишь до тех пор, пока их лихорадит. Происходит это, увы, крайне редко!» К издателям Киплинг относится сносно, считает их «большей частью хорошими ребятами», не верит — тем более что его собственный опыт этому противоречит — историям о том, как издатели губят молодые таланты, а вот журналистов считает «опасными». Они, уверен Киплинг, могут быть вполне приемлемыми и даже

достойными членами общества, но «оказываются совершенно беспринципными, стоит только им взяться за перо». Когда Киплингу напоминали, что он и сам журналист, он, пародируя самого себя, отвечал: «Ну, это совсем другая история…»

Одиночество, ностальгия, плавание против литературного течения (эстетизм конца века входил в моду и плохо сочетался с грубыми солдатскими стихами и рассказами Киплинга; представим себе, как бы Бальмонт и Северянин реагировали на Маяковского), несмотря на несомненный и всё увеличивающийся успех, портили настроение, вызывали разлитие желчи. Недовольство жизнью, о котором свидетельствует и приехавшая в Лондон вместе с мужем Трикс (ныне миссис Флеминг), нашедшая любимого брата знаменитым, материально обеспеченным и при этом дурно настроенным, проявлялось решительно во всем. Хотя бы в том, как часто Киплинг в первые два года своего пребывания в Англии употребляет в дневниках, записных книжках, письмах слово «гнусный» (vile). Гнусны и Лондон, и обед в трактире в Олбани, куда он отправился вместе с редактором «Субботнего обозрения» Поллоком («Серые комнаты, гнусный обед, гнетущее молчание, Поллок дремлет, грязные вилки»). И светское общество в составе леди Уэнтворт, лорда Пемброка и лорда Гроснора, которые, «загнав меня в угол, расточали мне комплименты, я же про себя думал: „Не будь я модным автором, вы бы меня и на порог не пустили“». И даже «длинноволосые литераторы из „Сэвила“, которые клянутся, что разговоры моих „Трех солдат“ выдуманы от начала и до конца». «Из пяти миллионов лондонцев, — с горечью писал в это время Эдмонии Хилл Киплинг, — за исключением умирающих от голода, нет, пожалуй, ни единого человека, кто был бы более несчастен, жалок и никудышен, чем набирающий обороты юный сочинитель по имени Радди».

Постоянные жалобы на жизнь (уж не поза ли?) не помешали, однако, «набирающему обороты юному сочинителю по имени Радди» в 1890 году написать большую часть «Казарменных баллад» и полдюжины рассказов. А также в рекордные сроки, за неделю, существенно переработать уже написанный роман и выпустить его сначала в Америке, где его популярность росла еще быстрее, чем в Англии, а потом и в Лондоне. Американская, более короткая версия романа со счастливым концом появляется в американском издательстве Джеймса Ловелла 27 ноября 1890 года, в январе 1891-го она же перепечатывается в англо-американском ежемесячном журнале «Липпинтокс мансли мэгэзин», издатель которого, Липпинток, открыл читателям такие произведения мировой классики, как «Знак четырех» Конан Дойла

и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. А спустя всего два месяца в издательстве Макмиллана, в Лондоне, выходит первая, изначально задуманная — каноническая — редакция романа уже не со счастливым, а с трагическим концом.

«Свет погас» — не первый, как мы помним, роман Киплинга, была ведь и не законченная и так и не увидевшая свет «Матушка Матьюрин». Не первый и, прямо скажем, не слишком удачный. Часто бывает, что писатель, подобно матери, которая нередко больше любит детей нездоровых и неблагополучных, упрямо превозносит свои откровенно слабые вещи. Киплинг, однако, оценил «Свет погас» вполне трезво, счел, что ему не удалось «выстроить повествование» (действительно не удалось) и что книга напоминает «искаженную версию „Манон Леско“» (если и напоминает, то очень отдаленно). Писатель и сам чувствовал, что большие формы ему не даются: «Для меня всегда будет тайной, каким образом любой нормальный человек может, если он пишет длинный роман, разделить его на начало, середину и конец. Разница между романом и рассказом ничуть не меньше, чем между океанским лайнером с полутора тысячами пассажиров на борту… и утлой лодчонкой…» Однако неудача книги объясняется не неспособностью Киплинга пересесть из «утлой лодчонки» короткого рассказа в «океанский лайнер» романа, а совсем другим — банальностью замысла и обремененностью романа автобиографическими мотивами.

Мало того что герой книги, художник-баталист Дик Хелдар, — личность столь же незаурядная, сколь и надуманная; гибель в финале этого неподвластного обывательской морали, способного превозмочь любые невзгоды творца является, по модели ницшеанского сверхчеловека, торжеством воли героя-одиночки; говоря словами Киплинга: «И только Воля говорит: „Иди!“» Мало того что герой списан с автора, является его идеальным alter ego — рассуждая о жизни, политике, любви или искусстве, он говорит исключительно авторским голосом. Ко всему прочему, Хелдар, за вычетом того, что он художник, а не писатель, «заимствует» у Киплинга не только его взгляды, но и его биографию.

Воспитательница в приюте миссис Дженнетт, которая допекает юного героя, внушает ему отвращение, предается «усердному чтению Библии»[10] и должна, по мысли опекунов, «заменить сиротке родную мать», похожа как две капли воды на ненавистную тетушку Розу из Лорн-Лоджа. Сходным образом, Мейзи, юная и малоодаренная художница, в которую влюблен Хелдар, совмещает в себе черты возлюбленной Киплинга Фло Гаррард и сестры Трикс. Что же касается собственно

автобиографических мотивов, то в романе они встречаются буквально на каждом шагу. От сурового обращения воспитательницы, которое взращивает в герое волю, дает силы переносить одиночество, до неожиданной встречи с Мейзи в Лондоне, так напоминающей нечаянную встречу Киплинга с Фло спустя годы после расторжения помолвки. От слепоты героя, которая заставляет нас вспомнить о временной потере зрения маленьким Радди в Саутси и является довольно ходульным символом заката творческого дара художника — безразлично, живописца или литератора, — до ура-патриотических текстов военных борзописцев: «Кровопролитная битва, в которой наше оружие стяжало себе бессмертную славу». От завоевания Хелдаром Лондона (во фразе «Ты стал модным, все без ума от твоих рисунков» «рисунки» легко подменяются «балладами» и «рассказами») до сосисок с картофельным пюре, которыми герою романа, как и Киплингу, приходилось перебиваться на первых порах. Устами Хелдара Киплинг дает отповедь «эстетствующим» критикам, сочиняет нечто вроде своего, довольно, в сущности, примитивного эстетического кредо. Изображать, учит Хелдар, следует то, что автору знакомо, и пусть «невежественные юнцы, кастраты, которые сроду не бывали в Алжире, скажут, что, во-первых, это плохое подражание Природе, а во-вторых, оно не имеет ничего общего с Искусством». Картина жизни не должна быть «лакированной, как мебель». Надо бороться с искушением деньгами, не разменивать себя по мелочам. В Искусстве, утверждает Хелдар-Киплинг, главное — жизнь, необходимо жертвовать собой, не щадить себя, не испытывать удовлетворенности от своей работы. Следует выйти из мастерской, этой бесплодной пустыни, где «нет ничего, кроме холстов и скучных наставлений», и где Мейзи рисует нескончаемые женские головки, чтобы от произведения искусства «исходил запах табака и крови»…

В романе, хотя написан он, как почти всё у Киплинга, мастеровито, почти нет «запаха табака и крови», зато сколько угодно «скучных наставлений», пустого резонерства и банальных метафор вроде «впередсмотрящий теряет остроту зрения». Впередсмотрящий Киплинг, следует это признать, утратил остроту зрения, присущую ему в индийских рассказах. После романа «Свет погас» многим — скорее всего, и самому Киплингу, который редко заблуждался на свой счет, — показалось, что свет и в самом деле погас, что прав был автор передовицы в «Таймс», опасавшийся, что писатель может не выдержать гонку на длинную дистанцию, что у него короткое дыхание новеллиста, к большим формам непригодное. Критика разругала роман в пух и

прах и была права. Именно тогда Барри обвинил автора в незнании жизни, Бирбом, никогда не принадлежавший к поклонникам Киплинга, отозвался на театральную постановку по роману такими словами: «Возникает резонный вопрос: не следует ли поставить имя Редьярда Киплинга в кавычки? Не скрывается ли за ним какая-нибудь суфражистка?» Да и читатель романа был не в восторге, ведь он не любил тогда, не любит и теперь «плохого конца». А «Свет погас» кончается хуже некуда: любовь героя безответна, он обречен на одиночество и слепоту и, в довершение всех своих невзгод, гибнет от шальной пули. «Такой финал в Америке не пойдет, — сказал Киплингу тот самый американец, с которым Эдмунд Госс познакомил его по приезде в Лондон. — Если хотите успеха у американского читателя, конец должен быть благополучный».

И несговорчивый, независимый Киплинг на этот раз своего американского знакомого послушался: в «американской», наскоро переработанной версии романа свет не погас, герой не ослеп и не только не погиб, но и счастливо женился. Позитивная версия романа «Свет погас» увидела свет (невольная игра слов) с незапланированным хеппи-эндом и снискала у американской читающей публики большой успех. Кто же был американский знакомый, который так хорошо разбирался в читательских и издательских вкусах и обладал таким влиянием на восходящую звезду английской литературы?

Глава шестая КАМЕНЬ ЦЕНОЙ В МИЛЛИОН РУПИЙ

В книге «Немного о себе» об американском журналисте, литераторе, издателе Уолкотте Бейлстире нет ни единого слова. А между тем человек этот, да и вся его семья, как уже говорилось, сыграли в жизни Редьярда Киплинга весьма заметную роль.

Внук преуспевающего юриста по вопросам недвижимости, выходца из семьи бежавших из Франции на Мартинику гугенотов Жозефа Балестье (ставшего в Америке Бейлстиром) и американской аристократки (если подобное сочетание возможно) из Коннектикута Кэролайн Старр Уолкотт, старший сын Анны Смит, дочери судьи Пешина Смита — Уолкотт Бейлстир с самого детства был гордостью матери и живым примером для двух своих сестер, толковой, энергичной, похожей на бабку Кэролайн и красавицы Джозефин, а также младшего брата Битти, избалованного и распущенного красавца и повесы. Любили и восхищались Уолкоттом не только дома, в родовом поместье Балестье «Бичвуд» («Буковый лес») возле городка Брэттлборо в Вермонте, но и в Корнелле, закончив который, Уолкотт сочинил и опубликовал два романа и перебрался в Лондон, где занялся литературой и авторским правом — он представлял интересы американского издателя Джеймса Лоуэлла, публиковавшего дешевые репринты популярных авторов. Уолкотт был человеком не только одаренным, но и, в отличие от младшего брата, предпочитавшего книгам бутылку виски, красивых девушек, лошадей и собак, трудолюбивым, энергичным и исключительно упорным — для него не было ничего невозможного. Не прошло и месяца после открытия офиса в Динс-Ярде, в двух шагах от Вестминстерского аббатства, а ему уже удалось приобрести права на переиздание таких маститых авторов, как Генри Джеймс, называвший его «драгоценным Бейлстиром», и Хамфри Уорд, чей давно забытый душещипательный роман из жизни духовенства «Роберт Элсмир» в начале 1890-х годов пользовался немалым спросом.

Когда Бейлстир впервые услышал о Киплинге, он якобы поинтересовался: «Редьярд Киплинг? Это мужчина или женщина? Как его настоящее имя?» Восходящее литературное светило заинтересовало американца до такой степени, что, рассказывают, однажды вечером Уолкотт явился к нему на Вильерс-стрит познакомиться, не застал дома и преспокойно прождал его до полуночи. Молодые люди сошлись очень быстро, и это при том,

что Киплинг, при всей своей общительности, с людьми сходился Плохо и, как правило, держался от общества, тем более литературного, в стороне, к писателям — повторимся — относился настороженно, не без скепсиса. «Когда я познакомился с литературными кругами и их продукцией, — напишет он в автобиографии, — меня поразила скудость умственного багажа некоторых сочинителей…»

За полтора года дружбы Киплинг и обаятельный, сообразительный, необычайно практичный и напористый Бейлстир сблизились настолько, что Киплинг к мнению Бейлстира по вопросам авторского права прислушивался больше, чем к своему «личному» агенту Уотту, чем нередко выводил последнего из себя. Прислушивался Киплинг к советам друга и когда речь шла о литературе: история с счастливым финалом романа «Свет погас» говорит сама за себя. Киплинг, впрочем, был не одинок: обаяние Уолкотта Бейлстира было столь велико, что под него подпадали такие разные и непростые в общении знаменитости, как Генри Джеймс, Джеймс Уистлер, Артур Во — завсегдатаи воскресных журфиксов в доме Эдмунда Госса, где Бейлстир был своим человеком.

Разделить лондонский успех Уолкотта прибыли в 1890 году из Вермонта все Бейлстиры: мать Анна Смит с дочерьми и младшим сыном. Пока непутевый Битти отдавал должное столичным увеселениям, правильная и целеустремленная Кэролайн взялась привести в порядок холостяцкий быт старшего брата и своего кумира — и в съемной лондонской квартире, и в коттедже на острове Уайт, где тот проводил свободное время (нередко, кстати, в обществе Киплинга), и в Динс-Ярде, где она, скорее всего, с Киплингом впервые и повстречалась. Как протекал их роман (и протекал ли), неизвестно; когда Кэрри и Радди приняли решение пожениться, были ли они обручены, мы также не знаем: автобиография по обыкновению молчит, многочисленные английские и американские биографии Киплинга, где скрупулезно описан каждый день, если не час, из жизни классика, молчат тоже. Известно только, как отреагировали на это знакомство родители Киплинга. Проницательная Алиса сразу же догадалась о матримониальных планах сына и низкорослой, полнотелой американочки, которая была старше его на три года, что тоже, как известно, невесту в глазах будущей свекрови не украшает. «*Эта* женщина, — провидела Алиса, — женит на себе *нашего* Радди». Читатель, надо думать, обратил внимание на сочетание указательного местоимения «эта» и притяжательного «нашего»; своим прогнозом Алиса вряд ли осталась довольна. А вот благодушный Джон

Локвуд, ни о чем, как и все мужчины, не догадываясь и подметив лишь основательность Кэролайн, сострил: «Кэрри Бейлстир в прошлой жизни была добропорядочным, хотя и избалованным, мужчиной».

До женитьбы, впрочем, было еще далеко — целых два года. В 1890–1891 годах Киплингу было не до брака. Наверняка еще свежи были в памяти отношения с Фло Гаррард, перипетии их последней встречи. Продолжалась оживленная переписка с другой Кэролайн — Тейлор, да и творческая активность в эти годы была у писателя как никогда велика. «Казарменные баллады», число которых неуклонно растет, печатаются одновременно в «Скотс обсервер» у Хенли и в «Сент-Джеймсез газетт», а в апреле 1891 года в издательстве «Мэтьюэн» выходят отдельным сборником, который пользуется таким сногсшибательным успехом, что в 1892 году баллады переиздаются три раза, а за последующие тридцать лет — еще пятьдесят. Продолжают писаться и печататься рассказы — и из оставшейся в прошлом индийской и из нынешней английской жизни. Ко всему прочему, Киплинг опять пишет роман — уже третий по счету. На этот раз, правда, не один, а с соавтором. И соавтор этот — Уолкотт Бейлстир.

Первое упоминание о романе мы встречаем в письме Бейлстира своему приятелю, известному американскому прозаику Уильяму Дину Хоуэллсу от 12 июля 1890 года: «Последнее время я вижу Киплинга еще чаще: мы с ним вместе пишем роман. Действие будет происходить частично на Диком Западе (У. Б.), а частично в Индии (Р. К.)». Роли соавторов, следовательно, уже распределены: Бейлстир «отвечает» за Америку, Киплинг — за Индию. Спустя полгода, 18 февраля 1891-го, Бейлстир с прежним энтузиазмом «докладывает» тому же Хоуэллсу: «Мы с Киплингом с головой погрузились в роман и написали уже больше двух третей… Совместная работа оказалась легче, чем мы предполагали… Дело спорится. Генри Джеймс прочел первую часть и остался от атмосферы Дикого Запада в восторге». Спустя еще полгода американский журналист, приятель Киплинга Уилл Кэбот в вермонтской газете «Вермонт Феникс» знакомит читателей с «творческой лабораторией» соавторов. По его сведениям, Бейлстир сидит за машинкой и «безостановочно колотит по клавишам», Киплинг же меряет шагами комнату; «каждый что-то придумывает, предлагает или критикует написанное». Когда журналист писал эти строки, роман еще не был дописан, а тандем уже распался. В августе Киплинг мерил шагами не комнату, а палубу, и не в Лондоне, а в Южном полушарии — и, тем не менее, было очевидно по уже

печатавшимся в журналах главах, что творческое сотрудничество состоялось. А вот состоялся ли роман?

Название, как и общий замысел, принадлежало Бейлстиру. Называться роман должен был не слишком внятно: «Наулаха. Роман о Востоке и Западе». Поясним: наулахой на хинди называется драгоценный камень ценой в 900 тысяч рупий (наулах — девять лакхов, один лакх — 100 тысяч рупий). По замыслу соавторов, американский инженер Николас Тарвин (американский аналог Дика Хелдара) отправляется из Америки в Индию на поиски драгоценного камня, дабы этим деянием завоевать расположение любимой женщины Кейт Шерифф, во многом списанной с художницы Мейзи из романа «Свет погас». Американские сцены, как уже говорилось, писал Бейлстир, индийские — Киплинг; пока герой, рискуя жизнью, разыскивает драгоценный камень ценой в миллион рупий, героиня мучительно решает, что для нее важнее — призвание миссионера или же брак с любимым человеком. Роман (как и «Свет погас» в американской «позитивной» редакции) кончился свадьбой, неискушенный читатель вздохнул с облегчением, мытарства героев, слава богу, подошли к концу.

При публикации романа по вине то ли издателей, то ли самого Киплинга (как уверяли издатели) в название вкралась ошибка, и книга стала называться «Наулака» (Naulahka). Вдобавок искушенные читатели не скрывали своего разочарования — для них было очевидно, что проект, осуществленный Бейлстиром и Киплингом, не творческий, а коммерческий, как, добавим от себя, и вся деятельность литератора и журналиста Бейлстира, на поводу у которого пошел Киплинг. «Он (Киплинг. — А. Л.) потрясает меня своей скороспелостью — и всевозможными дарованиями. Но отпугивает плодовитостью и спешкой», — замечает как раз в это время Роберт Луис Стивенсон в письме Генри Джеймсу. «Ступайте на Восток, мистер Киплинг, — вторит Стивенсону в американском журнале „Сенчури мэгэзин“ Эдмунд Госс. — Ступайте обратно на Восток. Исчезните! Возвращайтесь через десять лет с еще одной богатой добычей из страны чудес».

И Киплинг исчезает — тем более что к недомоганию литературному (скороспелость, плодовитость, спешка) прибавились недуги физические: из Индии писатель вывез, как выяснилось, не только местную экзотику — «богатую добычу», — но и малярию с дизентерией, приступы которых на первых порах постоянно преследуют его в Лондоне — еще одна причина его скверного настроения.

Если в 1890 году Киплинг трудится в поте лица и никуда из Англии не отлучается, если не считать короткой поездки в Париж

— и опять на Парижскую выставку (к впечатлениям десятилетней давности добавились Эйфелева башня и café au lait в больших чашках), то в следующем году он совершает целых три путешествия подряд. Сначала — в Италию, где писатель целый месяц нежится на вилле в Сорренто, куда его пригласил старый знакомый его отца лорд Дафферин — в прошлом, как мы помним, вице-король Индии, а ныне посол ее величества на Апеннинах. Потом — в Америку, вместе с дядей, методистским священником Фредом Макдональдом, отправившимся в Нью-Йорк навестить заболевшего брата Генри. Поездка эта была короткой и во всех отношениях неудачной. Начать с того, что Генри, которого дядя с племянником поехали проведать, не дождавшись их, умер. Вдобавок, Киплинг — должно быть, впервые — понял, что такое оборотная сторона славы, которая добралась до Америки раньше его. Автора путевых очерков, которые первоначально печатались в «Пионере», а потом пиратски перепечатывались в американских газетах, многие в Штатах за резкие высказывания против их страны невзлюбили, и репортеры, естественно, устроили на обидчика настоящую охоту. Не помог даже псевдоним «Дж. Макдональд», под которым предусмотрительно скрывался путешественник с запоминающейся внешностью: очки, усы, тяжелый подбородок, лысина. Киплинговских карикатур и фотографий в английской и американской прессе набралось за этот год столько, что спрятаться от нью-йоркских журналистов не представлялось возможным. Киплинг распустил было слухи, что занемог, и срочно отбыл в Италию, о чем 13 июня 1891 года сообщили газеты, однако ушлых репортеров провести не удалось: писатель был найден в нью-йоркском отеле, разоблачен, и интервью с ним в качестве опровержения было напечатано спустя неделю в охочей до сенсаций «Нью-Йорк геральд». По версии же Фреда Макдональда, все было несколько иначе. Поначалу репортеры приняли его за Киплинга, потом, сообразив, что перед ними не фиктивный, а настоящий Макдональд, стали выяснять, где можно найти Редьярда Киплинга, писателя. Дядя сообщил им, что племянник в Нью-Йорке, но серьезно болен, после чего последовала журналистская месть: на следующее утро газеты написали, что «мистер Киплинг прибыл в Нью-Йорк, но оказался совершенной развалиной — и физически, и умственно».

И, наконец, в августе того же года писатель после тяжелого гриппа отправляется в Южное полушарие — поправить здоровье, набраться сил, и физических и моральных, и скрыться хоть на время от назойливых корреспондентов. В его планы входит побывать в Южной Африке, Австралии,‘Новой Зеландии, заехать, если получится, на Самоа к Стивенсону (не получилось ни тогда,

ни в дальнейшем) и вернуться домой через Индию, погостив в Лахоре у родителей, которые в скором времени собирались и сами вернуться в Англию. В автобиографии всё это полугодовое путешествие заняло всего четыре страницы, у нас оно, пожалуй, займет еще меньше.

Вот его хронология.

Август — Киплинг отплывает из Лондона в Кейптаун на пароходе «Мавр», по пути останавливается на Мадейре. Сентябрь — Киплинг в Кейптауне; 25 сентября отплывает на «Дориде» в Австралию и Новую Зеландию. 13 октября — прибывает в Хобарт на Тасманию, откуда, спустя пять дней, отплывает в Новую Зеландию, в Веллингтон; 18 октября прибывает в Веллингтон, откуда через два дня перебирается на север в Окленд; 30 октября садится на корабль в Окленде и плывет на юг по маршруту: Веллингтон, Крайстчерч, Данидин, Блафф. Начало ноября — отплывает из Блаффа в Австралию, в Мельбурн, откуда, прожив в тогдашней столице не более двух дней, едет на поезде в Сидней, где проводит и того меньше — всего сутки. Начало декабря — на пароходе «Валетта», вместо того чтобы, в соответствии с первоначальными планами, плыть на Самоа, отплывает из Аделаиды, где его чествуют в местном литературном клубе «Йорик», на Цейлон. Из Коломбо переплывает в Калькутту и оттуда на поезде через южную и центральную Индию четверо суток едет в Лахор, куда приезжает за неделю до Рождества. За два дня до Рождества, однако, внезапно выезжает поездом из Лахора в Бомбей, откуда за две недели (сначала пароходом до Триеста, а оттуда поездом через всю Европу и опять пароходом) добирается до Англии.

А вот впечатления.

Кейптаун — сонный, неопрятный, провинциальный, но вполне уютный городок с голландскими домами и коровами, которые беспрепятственно бродят по центральным улицам. При этом Кейптаун, как выражаются американцы, вполне livable — удобен для жизни, и взят Киплингом на заметку; в этом южноафриканском городе писатель проживет не одну зиму, выезжая, как он выражался, «из мирной Англии в еще более мирный Кейптаун».

Австралия — огромные небеса, горячий ветер из пустыни, страна суровая, ее жители вечно раздражены, отчего она кажется еще более суровой; австралийцы считают себя «новыми», «юными» и свято верят, что со временем добьются замечательных успехов. При этом очень, по мнению Киплинга, напоминают американцев. «Мельбурн производит впечатление американского города, — заметил писатель в беседе с репортером местной

газеты „Эпоха“. — Второсортного американского города. Америка чувствуется здесь во всем, но Америка не настоящая. Со временем, — „утешает“ австралийцев Киплинг, — у вас появится свой собственный колорит». И еще один «камень в огород» австралийцев: «В Австралии, — цитата из того же интервью, — слишком много политики для страны с несформировавшимся характером». А между тем страна «с несформировавшимся характером» принимала Киплинга на ура: в Мельбурне, в клубе «Острэл сэлон», был дан в его честь прием, за ним по пятам ходили репортеры и восторженные почитатели. «Я недавно тяжело болела, — призналась ему одна из поклонниц его таланта, — и выздоровела только благодаря вашим книгам». Книги юного англо-индийского дарования, впрочем, нравились далеко не всем: в Австралии «за непристойность» (?!) были запрещены «Простые рассказы с гор».

Зато Новая Зеландия Киплингу приглянулась: люди дружелюбные, девушки красивые, везде оказывается сердечный прием, холодное и бурное только море; лошади — дикие, с густыми, длинными гривами. Окленд — тих, миловиден, залит солнечным светом, на Южном острове — шотландцы, овцы и шквальные ветры. По пути из Блаффа в Мельбурн море не просто бурное, а свирепое, «Талун», на котором плывет из Новой Зеландии в Австралию Киплинг, попадает в чудовищный шторм, шквальный ветер валит с ног, не дает выйти на палубу.

Главное эстетическое впечатление — этнографический музей в Веллингтоне, на Лэмтонской набережной, куда Киплинга отвели, памятуя, кем служит его отец. Отвели и не ошиблись, заезжая знаменитость не скрывала своего восторга: «Среди мертвых костей и древних камней я чувствую себя как дома!»

Главное журналистское впечатление — интервью Киплинга в «Веллингтон таймс», которое писатель — он уже тогда не слишком жаловал репортеров и потому потребовал, чтобы ему дали прочесть гранки, — попросту не узнал. Главный редактор газеты Роберт Логнан: «Ну, что скажете?» Киплинг: «Это черт знает что, нет ни начала, ни конца, я это интервью снимаю». Логнан: «Вы опоздали, дорогой мой. Снять его мы уже не можем». Киплинг: «Прекрасно, в таком случае вам придется написать, что интервьюируемый это интервью в глаза не видал». Первый — и далеко не последний — конфликт с «чернильными душами», как называл Киплинг репортеров.

Знакомства и встречи. Премьер-министр Капской колонии Сесил Родс, империалист из империалистов, чем Киплингу очень импонирует. Говорит мало и довольно невнятно, при этом чувствуется, что человек он сильный, а Киплинг таких любил

всегда. Капитан Бейли с британской военно-морской базы в южноафриканском Саймонстауне — отважен, весел, сметлив. Как и все киплинговские Томми Аткинсы, Бейли из породы «кипяток с уксусом». Дочь миссионера, автор нашумевшего романа «История африканской фермы» южноафриканская писательница и по совместительству суфражистка Оливия Шрайнер. Престарелый сэр Джордж Грей, в прошлом мэр Кейптауна, служил империи верой и правдой в Австралии, Африке, Новой Зеландии, на своем веку нанюхался пороху. Добропорядочный генерал Бут из Армии спасения; с ним Киплинг сошелся особенно близко, они вместе плыли из Австралии на Цейлон. И, наконец, наш старый знакомый Фрэнк Хаслем, латинист из колледжа Юнайтед-Сервисез, который в свое время зло высмеивал Радди за ошибки в спряжениях и склонениях, а теперь преподавал в новозеландской смешанной школе, и девочки, когда он попрекал их за незнание стихов Горация или Вергилия, молча делали ему глазки.

Ко всему вышеизложенному можно было бы добавить четыре вещи, три не слишком существенные и одну крайне важную.

Во-первых, в Австралии Киплингу предложили по старой памяти освещать для одной из местных газет «Мельбурнский кубок» — самые престижные после Аскота в мире скачки, посулили за «освещение» очень приличный гонорар, однако писатель наотрез отказался. И не в отместку за то, что в Австралии запретили «Простые рассказы». Отказ означал: с журналистикой покончено.

Во-вторых, в Лахоре «родная» «Гражданская и военная газета» поместила его фотографию — дескать, это у нас, а не где-нибудь, начинал знаменитый писатель. Спустя много лет к фотографии прибавится еще и барельеф возле того стола, за которым юный Радди, разбрызгивая чернила и проклиная незадавшуюся жизнь, корпел над газетными гранками.

В-третьих, владельцы «Пионера» вызвали Киплинга под самое Рождество в Аллахабад для переговоров. Предмет переговоров неизвестен, но понятен: бывший репортер прославился, и его стихи, рассказы, очерки, вне зависимости от их содержания, могли служить отличной рекламой для провинциальной газеты.

И, наконец, четвертое, самое главное. В конце ноября Киплинг не побывал, как первоначально собирался, у Стивенсона на Самоа, не остался с родителями на Рождество, не поехал на встречу с владельцами «Пионера» — и всё по одной и той же причине. Причина эта — дурные вести, пришедшие от Кэролайн Бейлстир: в Дрездене во время переговоров со своим новым партнером, издателем Уильямом Хайнеманном, 5 декабря скоропостижно умирает от тифа ее брат, закадычный друг и

соавтор Киплинга Уолкотт Бейлстир.

Глава седьмая «И ВДВОЕМ ПО ТРОПЕ, НАВСТРЕЧУ СУДЬБЕ…»

Киплингу не до Стивенсона, не до Аллахабада и даже не до рождественских праздников в обществе родителей и сестры с мужем — он торопится в Англию. Но вовсе не на похороны друга, на которые поспеть он не мог при всем желании: хоронили Уолкотта 13 декабря в Дрездене, куда съехались все Бейлстиры и близкие друзья покойного (Генри Джеймс среди прочих), Киплинг же узнал о его смерти самое раннее спустя неделю. Он торопится не на похороны Уолкотта, а на собственную свадьбу с его сестрой, свадьбу, про которую не знала ни одна живая душа. Киплинг возвращается в Лондон 10 января 1892 года, а уже на 18 января назначено его бракосочетание с Кэролайн Бейлстир.

Сказать, что бракосочетание Редьярда Киплинга и Кэролайн (по-семейному Кэрри) Бейлстир, происходившее в церкви Всех душ на Лэнгем-плейс, собрало мало народу, значит не сказать ничего. Приглашения и без того были разосланы только самым близким родственникам и друзьям, но почти все они, как назло, слегли с гриппом, эпидемия которого охватила в ту зиму, несмотря на холод, весь Лондон. Гриппом болели и Бёрн-Джонсы, и Пойнтеры, и миссис Бейлстир с младшей дочерью Джозефин. В результате в церкви, не считая молодоженов, собралось лишь шесть гостей: Амбо Пойнтер, исполнявший — как все, что он делал, с повышенным энтузиазмом — роль шафера, Генри Джеймс, Эдмунд Госс с женой и сыном и Уильям Хайнеманн.

Редьярд и Кэрри перещеголяли Алису и Джона Локвуда. Те, если читатель еще не забыл, более четверти века назад вместо свадебного обеда отправились на пароход, отплывавший в Бомбей. Редьярд же и Кэролайн, к разочарованию кузена Пойнтера, сразу после венчания расстались прямо в дверях церкви, поскольку невесте надо было ухаживать за больной матерью, и встретились лишь спустя два дня в отеле «Браун» на праздничном обеде.

И то сказать, брачный союз англо-индийца Киплинга и американки Кэролайн Бейлстир казался многим странным и недолговечным. «Это союз, у которого едва ли есть будущее», — писал Генри Джеймс брату Уильяму в Америку вскоре после свадьбы. В любовь между супругами верил мало кто; думали, что Киплинг попросту счел себя обязанным после смерти друга позаботиться о его сестре — как если бы женитьба была проявлением заботы, а не чем-то б*о*льшим. Однако Генри Джеймс

и иже с ним ошибались — у брачного союза мистера и миссис Редьярд Киплинг было будущее, причем, как выяснилось, почти полувековое. Киплинг, видимо, почувствовал, что у Кэрри есть одно существенное преимущество перед куда более привлекательными представительницами прекрасного пола вроде Фло Гаррард или Кэролайн Тейлор. Эта не слишком красивая и обаятельная женщина «с грустью в глазах» (как подметил Джером К. Джером) сумеет встать между ним и жизнью, уберечь его от невзгод и неурядиц. От многочисленных невзгод, выпавших на долю Киплинга, предохранить, как мы вскоре убедимся, не могла бы даже самая заботливая и любящая жена, но Кэрри, женщина с характером, при этом неглупая и не злая, и в самом деле стояла между мужем и жизнью. Она занималась его делами (Киплинг говорил, что у него два агента по правам — Кэрри и Уотт), вела счета, получала и просматривала почту, «фильтровала», насколько это было возможно, его посетителей — одним словом, берегла, порой даже излишне ретиво, его покой и время. «Своей репутацией затворника, — писала вторая дочь Киплингов Элси, — отец обязан матери, ее власти над ним, желанию скрыть его от мира, что давало ему возможность регулярно и плодотворно трудиться».

Итак, перед четой Киплингов открывалось вполне лучезарное будущее, в которое муж вложил славу и деньги, к тому времени уже немалые, а жена — надежность, ответственность, недюжинную практическую сметку. Что же до настоящего, то уже спустя две недели после свадьбы молодожены на пароходе «Тевтонец» отбыли в свое первое совместное кругосветное путешествие, сначала в Америку, а оттуда в Японию. По пути Кэролайн завершала дела покойного брата с издателями Хайнеманном в Европе и Ловеллом в Нью-Йорке, Киплинг же срочно дописывал так до сих пор и не законченный «американо-индийский вестерн» «Наулаху».

* * *

Американское четырехлетие Киплингов чем-то напоминает шахматную доску с черно-белыми квадратами, вписываясь в формулу равновесия, баланса хорошего и плохого, добра и зла, радостей и невзгод. Формулу, действие которой за полтора столетия до Киплинга так наглядно продемонстрировал его соотечественник Даниель Дефо, а вернее, его герой Робинзон Крузо. Даже те, кто не перечитывал «Робинзона» с детства, наверняка не забыли, как герой, очутившись на необитаемом

острове, чтобы доказать самому себе, что дела обстоят не так уж плохо, противопоставил обрушившимся на него несчастьям сопутствовавшую ему удачу. «С полным беспристрастием я, словно должник и кредитор, записывал все претерпеваемые мною горести, а рядом — всё, что случилось со мной отрадного»[11]. Подобные психотерапевтические опыты Редьярд Киплинг на себе не ставил, не «раскладывал» с ним происходящее на плюсы и минусы ни в своем дневнике, ни в дневнике жены, куда порой, обычно в конце года, кое-что записывал. Это за него сделаем мы, воспользовавшись классическим просветительским релятивизмом Дефо-Робинзона. Помните? «Зло: я отшельник, изгнанный из общества людей. Добро: но я не умер с голоду и не погиб…»

Киплинг, хоть и не без посредства замкнутой Кэрри, сам изгнал себя на эти четыре года «из общества людей», поселившись в глухих местах американского Севера, в Вермонте (вермонтский отшельник — вроде нашего Солженицына), откуда была родом его жена, и временами чувствовал себя одиноко («Трудно преувеличить однообразие и тоску жизни на ферме», — напишет он спустя почти сорок лет в автобиографии), тем более что соседи относились к чужаку из ненавистной (тогда) Англии настороженно, чтобы не сказать враждебно: мало сказать чужак, да еще деньги гребет лопатой, держится стороной, да еще в жены взял девицу из кичливых французов Балестье. Это — «зло». Но тут же, по соседству, было ведь и «добро». Уединение позволило Киплингу создать в Вермонте такие шедевры, как две «Книги джунглей», о которых речь впереди; как замечательные баллады: «Мэри Глостер» («Я начал не с просьб и жалоб. Я смело взялся за труд. / Я хватался за случай, и это — удачей теперь зовут…»[12]), «Потерянный легион», «Праздник у вдовы», «Гимн перед битвой» — за эту балладу, между прочим, американское издательство «Скрибнерс» заплатило ему 500 долларов, гонорар невиданный по тем временам. В эти же годы были написаны прекрасные стихи из сборника «Семь морей» («За цыганской звездой», например), отличные рассказы — взять хотя бы «Строители моста» из сборника «Работа дня», детские сказки, тогда же задуман и частично написан лучший роман Киплинга «Ким». Кроме того, жизнь анахоретом разнообразилась приездом гостей. В Вермонте у Киплингов гостили Кей Робинсон и Конан Дойл; творец Шерлока Холмса приехал в Штаты читать лекции и учил Киплинга, к вящему изумлению местных жителей, играть в гольф; пару раз навещал сына в американской глуши и вернувшийся из Индии Джон Локвуд, который, словно предвосхищая «Книги джунглей» Киплинга-младшего, в 1891 году выпустил весьма своеобразную антологию индийских легенд, забавных историй,

этнографических зарисовок, перемежаемых цитатами из стихов сына, под названием «Зверь и человек в Индии». Не сидели на месте и сами Киплинги. Дважды за четыре года переплывали они Атлантический океан, чтобы навестить родителей Редьярда, вышедших после тридцатилетних трудов праведных на пенсию и перебравшихся из Индии «домой», в английский городок Тисбьюри в графстве Уилтшир. Бывали по издательским делам в Нью-Йорке, в 1894 году отдыхали на Бермудах, а в июле того же года посетили Уэствард-Хоу, где Киплинг от имени учеников первого призыва выступил с речью на торжественном собрании, посвященном уходу на покой бессменного директора Юнайтед-Сервисез-колледж Кормелла Прайса…

За время пребывания в Америке слава Киплинга, а с ней и гонорары неуклонно растут — жителям Брэттлборо было чему позавидовать, но в первые месяцы свадебного путешествия писатель теряет большую часть заработанных денег, причем происходит это с какой-то анекдотической легкостью и быстротой. Из Соединенных Штатов, где молодые пробыли совсем недолго, они отправились, как и было задумано, в Йокогаму повидать Японию «во время цветения пионов и глициний». Из Японии путь их лежал еще дальше, на Самоа, однако в одно отнюдь не прекрасное дождливое японское утро писатель отправляется в местное отделение своего банка взять весьма скромную часть своих средств на карманные расходы, и между ним и управляющим происходит следующий ничем, казалось бы, не примечательный обмен репликами.

Управляющий: «Почему не берете больше?»

Киплинг: «Не люблю иметь при себе много денег — слишком легко их трачу. А впрочем, может, зайду во второй половине дня».

И зашел, да только за эти несколько часов банк — об этом гласило объявление на запертой двери — приостановил платежи, о чем писатель, отправившийся за надежно размещенными капиталами человеком вполне обеспеченным, а вернувшийся в отель неимущим, срывающимся голосом сообщил жене, которая ждала через три месяца ребенка. Согласитесь, чем не рассказ О. Генри?

Поскольку в нью-йоркском банке у четы Киплингов оставалось всего сто долларов, пришлось, в очередной раз отложив визит к Стивенсону, прервать кругосветное путешествие и, выпросив в конторе Кука, той самой, что и сегодня к вашим услугам, «если вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир», деньги на обратный билет в Ванкувер, возвращаться на пароходе «Китайская императрица» в Канаду. В дороге же, чтобы хоть что-то заработать, — читать вслух пассажирам свои баллады,

а потом через заснеженную Канаду перебираться поездом в не менее заснеженный Вермонт. Однако уже спустя месяц, словно в душещипательном романе со счастливым финалом, приходят совершенно незапланированные деньги от верного Уотта — продались, и выгодно, права на «Департаментские песенки» и «Простые рассказы с гор». «Зло: Я потерял почти все свои сбережения, — записал бы на месте Киплинга рассудительный Робинзон. — Добро: Но большая их часть со временем ко мне вернулась».

29 декабря 1892 года, за два дня до рождения матери и один — отца, у Киплингов родился первый ребенок — дочка, которую в честь тетки назовут на французский манер Джозефин. Несомненное «добро». Но спустя всего несколько лет умненькая, не по годам развитая красотка Джозефин, девочка с пепельными волосами и огромными синими глазами, доставлявшая огромную радость отцу и матери, отцу особенно, скоропостижно умрет от тяжелого воспаления легких, от которого чуть было не погибнет ее отец, о чем речь впереди.

В 1895 году «зло» приключилось с Кэрри: она неосторожно открыла заслонку печки и сильно опалила себе лицо. Встревоженный домашний врач и друг дома Конланд велел Киплингам срочно и надолго покинуть суровый Вермонт и ехать в теплые края. Из «зла», однако, родилось «добро» и тут. В результате Киплинги провели полтора месяца в Вашингтоне, встречались с интересными и значимыми людьми вроде профессора Лэнгли из Смитсоновского института, Джона Хея из Государственного департамента и будущего президента США Теодора Рузвельта, которого Киплинг всегда приводил в пример как человека, у которого власть и ответственность — единое целое. Киплинг, впрочем, дописывал в это время вторую «Книгу джунглей» и с куда большим удовольствием проводил время в местном зоопарке, чем в столичных светских и литературных салонах и на приемах, в том числе и в Белом доме, над обитателями которого как истинный британский патриот он не преминул зло и остроумно посмеяться.

В эти четыре года Киплингов окружает бесчисленное число мошенников, пьяниц (брат Кэролайн Битти Бейлстир отлично, как мы вскоре увидим, совмещал первое со вторым), проходимцев всех мастей, в том числе и подвизающихся на издательской ниве. В автобиографии Киплинг напишет, что американские пираты заработали на его сочинениях никак не меньше половины той суммы, какую удалось заработать ему самому. К примеру, издательство «Харпер бразерс», то самое, что пятью годами раньше так невежливо указало юному литератору его место,

напечатало несколько рассказов Киплинга («Человек, который был богом», «Воплощение Кришны Малвени» и др.) не только без разрешения автора, но еще и под другими названиями. И в то же время именно в Америке в эти годы писатель встречается со многими блестящими, высоко порядочными, одаренными и преданными людьми. Это и его домашний врач Конланд, с которым они вместе (второй и последний в творческой жизни писателя тандем) напишут «Отважных капитанов». Это и молодой, столь же талантливый, сколь и предприимчивый издатель Фрэнк Даблдей — его издательский бизнес здравствует и поныне. Это и журналист, издатель и предприниматель Сэм Макклур, которому Киплинг поручает вести свои издательские дела в Америке; это Макклур напечатал в своем журнале «Макклур мэгэзин» воспоминания о Киплинге его индийского друга и начальника Кея Робинсона, гостившего у Киплингов в «Наулахе» летом 1895 года. Это его старый — еще по Грейнджу — друг, бостонский профессор Чарльз Элиот Нортон, с которым Киплинг часто видится, дружит семьями, переписывается, к советам которого прислушивается. Это и чета Кэботов, Уилл и Мэри, друзья покойного Уолкотта Бейлстира; с Мэри Кэбот Киплинга связывает особенно тесная дружба, он посвящал ее, как в свое время Эдмонию Хилл, в свои творческие планы и секреты и однажды, в ее присутствии, блеснул недюжинным талантом импровизатора, срифмовав экспромтом семьдесят строк кряду. Это, наконец, Теодор Рузвельт, приверженец жесткого политического курса, который всегда импонировал Киплингу, — полная противоположность «размазне» Кливленду, как однажды отозвался писатель о тогдашнем президенте США.

Еще одна черно-белая полоса в американской жизни Киплинга заслуживает отдельного рассказа, отдельного и более обстоятельного.

Поначалу — а начало продлилось без малого четыре года — все шло лучше некуда. Безмятежное настроение молодых супругов не нарушил даже уже описанный досадный инцидент в Йокогаме, когда Киплинг взял в банке десять фунтов на карманные расходы, а потерял две тысячи. Всё склонялось к тому, что писатель с семьей обретет свой дом в снежном Вермонте: тридцать градусов мороза и снег по колено вместо индийской испепеляющей жары, малярии и песчаных бурь. В тесном соприкосновении с двумя поколениями клана Бейлстиров, в стране с детства любимых Брет-Гарта, Марка Твена и Эмерсона, назойливых и беспардонных репортеров и беззастенчивых издательских пиратов. Однако американцем Киплинг так и не стал. Почему?

17 февраля 1892 года, после короткого пребывания в Нью-Йорке с его «несмолкаемым грохотом, душными гостиничными номерами и сверхэнергичными жителями» Редьярд и Кэрри садятся в поезд и едут в вотчину Бейлстиров, вермонтский городок Брэттлборо, где на станции их встречает приехавший за ними в санях шурин Битти — жизнерадостный, гостеприимный, дружелюбный. Из Брэттлборо путь молодых лежит в «Буковый лес» — родовую усадьбу Бейлстиров, где, в двух милях от города, доживает свой век престарелая мать Кэрри, Джозефин и Битти миссис Анна Смит Бейлстир. Из «Букового леса» Киплинги перебираются в «Кленовый лес» — поместье самого Битти, где их уже ждут Мэй, обворожительная молодая жена младшего Бейлстира, и их двухлетняя дочка Марджори. В нескольких милях от «Кленового леса» сходятся границы сразу трех штатов — Нью-Хэмпшира, Вермонта и Массачусетса. Еще ближе находится живописная, воспетая еще Эмерсоном гора Монаднок, у подножия которой Киплинги решают строиться — земля принадлежит Битти, но тот в порыве дружеских и родственных чувств готов подарить молодым участок в десять акров. Кэрри, однако, слишком хорошо знает своего младшего брата и от такого «царского» подарка наотрез отказывается: они, конечно, возьмут у Битти землю, но в аренду, самого же Битти нанимают одновременно подрядчиком и приказчиком.

Поначалу все довольны, никто не чувствует, что уже «наметился, — как писал в „Даре“ Владимир Набоков, — путь беды». Битти не может не радоваться заключенной со старшей сестрой сделке, ибо деньги ему нужны позарез: он должен кормить семью, да и себя не забывать, он ведь, как говорится, не враг бутылки, и в карманах у него всегда пусто. Рады, в свою очередь, и Киплинги: место им по душе, пока же идет строительство, они отправляются в путешествие по Америке — примерно тем же маршрутом, только в обратном направлении, каким Киплинг следовал три года назад вместе с Хиллами: Чикаго — Сент-Пол — Виннипег — Скалистые горы — Ванкувер. По дороге писатель совмещает приятное с полезным: любуется достопримечательностями и живописными видами, которыми так богата Америка, и описывает увиденное в путевых очерках, каковые с немалой для себя выгодой печатает в нью-йоркской и лондонской периодике, в том числе и в «Таймс», а также — по старой памяти — в лахорской «Гражданской и военной газете».

А тут еще — очередная удача. В Монреаль, куда заехали путешественники, приходит телеграмма от миссис Бейлстир: в двух шагах от «Букового леса» некий Блисс (говорящая фамилия: bliss — рай, блаженство) сдает за сущие гроши (десять долларов в

месяц) дом, где Киплинги смогут пожить, пока строится дом их собственный. Ферма, на которой Киплинги проводят целый год, оправдывает свое название: Редьярду отлично работается, здесь рождается Джозефин. А тем временем завершается строительство «Наулахи», как назвали Киплинги в память о Уолкотте и их с Киплингом совместном детище новое свое жилище. В отличие от одноименной книги, эта «Наулаха» во всех отношениях безупречна: дом стоит, на чем особенно настаивал Киплинг, особняком, «в трех милях от всего живого» и в то же время «в шаговой доступности», как теперь принято выражаться, от «Кленового леса», где Киплингам по-прежнему всегда рады; из окон открывается волшебный вид на склоны Монаднока, веранда заставлена горшками с цветами, к дороге спускается живописный сад, окруженный высоким забором, — это чтобы прохожим не повадно было нарушать «приватность» хозяев. Расположение же комнат таково, что вход в кабинет писателя возможен только через просторную гостиную, откуда Кэрри, ангел-хранитель «Наулахи» и своего супруга, внимательно следит, чтобы Киплингу не мешали творить непрошеные посетители, каковых с каждым годом становится все больше: американская слава Киплинга несоизмерима с английской.

Одним из таких непрошеных посетителей оказалась совсем еще молодая женщина, которая однажды зимой забрела в Брэттлборо в снежную бурю, была впущена в «Наулаху», отогрета, накормлена, после чего заявила, что едет из Нью-Йорка с целью взять интервью у великого писателя. Когда в интервью ей было вежливо, но непреклонно отказано его женой, юная журналистка по возвращении в Нью-Йорк, позабыв о гостеприимстве, оказанном ей в доме Киплингов, жестоко, по-репортерски отомстила: на следующий день интервью, и предлинное, в нью-йоркской газете появилось. Оно было выдумано от начала до конца, и Киплинг оказался выставлен в нем в самом неблагоприятном свете… И не в последний раз.

В целом, однако, жилось и работалось в «Наулахе» Киплингу замечательно — быть может, как никогда раньше. «Чем я здесь только не занимаюсь, — пишет он осенью 1893 года Хенли. — Чищу конюшню и канализацию, чиню мебель, работаю по дому. Это меня забавляет и отвлекает от слов, от того, как их складывать». Особое удовольствие доставляет ему их с Кэрри обособленная жизнь, то, что на теперешнем языке называют приватностью. То одиночество, которым он так тяготился в Лондоне в 1890–1891 годах, да и на первых порах в Брэттлборо, теперь не может не радовать. «У меня есть время, свет и покой — три вещи, которыми так трудно обзавестись в Лондоне», —

говорится в письме Киплинга Уильяму Хайнеманну. «Работается легко, как никогда. Хочется писать и писать» — а это из письма профессору Нортону, датированного февралем 1895 года. «Независимо от того, начнется война или сохранится мир, этим безумием прерывается моя насыщенная, полноценная жизнь в этих местах, и это для меня самое грустное», — пишет Киплинг тому же Нортону годом позже в разгар нешуточного англо-американского конфликта, когда летом 1895 года США выступили на стороне Венесуэлы в ее пограничном споре с Британской Гвианой.

Битти тоже живет насыщенной, полноценной жизнью, отлично совмещая обязанности подрядчика и друга: нанимает рабочих, пригоняет волов и лошадей, косит сено, занимается дренажем, словом, ничего не скажешь, работает на совесть. И одновременно устраивает у себя чудесные вечеринки, где всегда сытно и пьяно, где танцуют до полуночи и где играет привезенный из города скрипач. А нанятая Киплингами няня ухаживает сразу за двумя детьми — за младшей Джозефин и старшей Марджори… Семейная идиллия! А где же обещанный «путь беды»? — вправе поинтересоваться читатель. Беда подступает.

Начать с того, что Бейлстиры и Киплинги очень уж разные. Киплинги — в быту типичные британцы: переодеваются к ужину, сдержанны, молчаливы, не водят дружбу с кем попало. Битти Бейлстир — типичный американец: душа общества, забулдыга, болтун, выпивоха, скандалист. Киплинги сходятся лишь с некоторыми, избранными членами местной общины, вроде доктора Конланда, Битти дружит со всеми подряд. «Рад», как называет Киплинга Битти, не пьет и прекрасно обеспечен, Битти, напротив, очень даже любит выпить, при этом беден, в долгах как в шелках.

Во-вторых, Кэрри, женщина практичная, но не слишком проницательная, с самого начала повела себя неосмотрительно: держалась с братом свысока, как с нанятым подрядчиком (каковым он, собственно, и был), вызывала его к себе «на ковер» два-три раза в неделю, требовала скрупулезного отчета за каждый потраченный цент, дотошно проверяла все его расчеты, исходя из «презумпции виновности»: пьет — значит, ворует. Легкомысленный и покладистый, да еще постоянно нуждающийся в деньгах Битти по этому поводу особенно не переживал, зато Мэй за мужа обижалась, и обида эта копилась.

Ну а в-третьих, по мере того как строительство подходило к концу, иссякали и средства, которые регулярно извлекал из «Наулахи» подрядчик Битти. В довершение всего, вернувшись

осенью 1894 года из Англии, Киплинги наняли, в придачу к повару, двум няням и служанке, еще и кучера, некоего Мэтью Ховарда, и этот невысокий, смазливый кокни, обрюхативший добрую половину местных девиц, начинает исполнять в «Наулахе» обязанности приказчика, ранее возложенные на Битти. Он отбирает у Битти хлеб, Битти, лишившись заработка, начинает жить в долг, пьет все больше и больше и, естественно, ожесточается; отношения его с сестрой и шурином, особенно с сестрой, прежде безоблачные, портятся на глазах, причем в первую очередь портятся, как это всегда и бывает, отношения между женами: Кэрри, сестра старшая, положительная и обеспеченная, одалживает брату, бездельнику и скандалисту, деньги, платит по его векселям и тем самым его унижает.

С лета 1895 года отношения между родственниками-друзьями-соседями мало напоминают недавнюю идиллию и вскоре окончательно заходят в тупик. Кэрри с братом и его женой больше не разговаривает, в случае же крайней необходимости обменивается записками. В Брэттлборо «общественное мнение», нетрудно догадаться, на стороне «униженных и оскорбленных». «Общий глас» таков: покладистого, благородного «своего парня» терроризируют неблагодарная богатейка сестра и ее муж, спесивый британец, который и в церковь не ходит, и держится особняком, и в разговоры не вступает, а ведь Битти, между прочим, три года на них вкалывал.

И тут «богатейка сестра» совершает очередную ошибку. Когда в марте 1896 года, спустя месяц после рождения у Киплингов второй дочери Элси, Битти объявляет себя банкротом, Кэрри — известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями, — предлагает Битти и Мэй, что если брат покинет «Кленовый лес» и пойдет работать, то она готова на первых порах помогать его семье материально и даже взять на воспитание их дочь. Подобной благотворительности жена Битти простить Кэрри никак не могла — подумать только: взять на воспитание ребенка при живых-то родителях! — и сделала все, чтобы настроить мужа против Киплингов. Развязка наступила спустя два месяца.

Шестого мая Киплинг едет на велосипеде мимо «Букового леса». На склоне холма он падает, поднимает велосипед, и тут его настигает несущийся на лошади, по обыкновению во весь опор, Битти. Он очень зол: на днях доброхоты рассказали ему, как Киплинг, зайдя в местную забегаловку, объяснял полковнику Гудхью, что Битти «сам себе враг». «Последний год, — пожаловался будто бы полковнику Киплинг, — я вынужден был его содержать. Носился с ним, как с младенцем». Это «носился с ним, как с младенцем» переполнило чашу терпения младшего

Бейлстира.

— Эй ты! — кричит он, угрожающе размахивая хлыстом и слезая с лошади. — Слышишь, мозгляк? Мне с тобой поговорить надо.

— Если вам есть, что мне сказать, можете сказать это моему адвокату, — невозмутимо отозвался Редьярд.

Тут Битти, разразившись проклятиями, принялся обвинять Киплинга в том, что тот распространяет про него сплетни, всячески его унижает, и потребовал извинений. Извинений не последовало.

— Если в течение недели, — пригрозил Битти, — ты не откажешься от лжи, которую обо мне распространяешь, я тебе, черт побери, мозги вышибу!

— Вы хотите сказать, что если я не извинюсь, то вы меня убьете? — уточнил Киплинг.

— Богом клянусь, именно так я и поступлю, — проревел Битти.

— В таком случае, — столь же невозмутимо продолжал Киплинг, — за последствия вам придется винить только самого себя.

— Ты еще смеешь мне угрожать, ублюдок! — гаркнул Битти и умчался прочь.

Но то был не конец, а только начало семейной «разборки». Вслед за женой, пообещавшей присмотреть за Марджори, непростительную ошибку совершает и Киплинг. Вместо того чтобы замять скандал, выгодный банкроту Битти, но никак не известному писателю, которому огласка нужна меньше всего и за которым и без того гонялись репортеры, охочие до частной жизни знаменитости, Киплинг едет в Брэттлборо и обращается в полицию. На первом же дознании он сообщает стражам порядка, что Битти хотел его убить, называл лжецом, трусом и обманщиком. Через три дня Битти арестовывают и предъявляют ему обвинение: он угрожал убийством и использовал при этом неподобающие выражения.

За одной глупостью следует другая. Мучаясь угрызениями совести из-за того, что он, богатый и знаменитый человек, посадил за решетку своего бедного, никому не известного шурина, Киплинг на первом же слушание предлагает судье, что возьмет подсудимого под залог. Битти, демонстрируя всем присутствующим столь несвойственные ему достоинство и независимость, от залога отказывается, а когда его отпускают под честное слово из-под стражи до следующего заседания, первым, делом бежит на телеграф и дает интервью газетчикам. На следующий же день полсотни журналистов из центральных газет

устремляются в безвестный Брэттлборо, чуя поживу. 12 мая 1896 года на повторном судебном заседании в городской ратуше, в присутствии, кажется, всего города, истец Киплинг, вынужденный отвечать на самые неудобные и унизительные вопросы, в одночасье расстается со своей столь лелеемой приватностью.

«Вы испугались?» — «Да, испугался, я решил, что Битти меня убьет, если окончательно выйдет из себя» (Смех в зале.) «Вы пытались бежать? На каком, собственно, основании вы предполагали, что Битти вооружен? Вы готовы отказаться от своих обвинений? Битти расплатился со своими долгами? Правда ли, что, живя в Америке, вы заработали немалые деньги?» На последние три вопроса, к нескрываемому удовольствию ответчика и зала, Киплинг вынужден был ответить утвердительно. Когда же он заявил, что для того и поселился в Америке, чтобы, выполняя обещание, данное им покойному Уолкотту Бейлстиру, оказывать помощь его младшему брату, по залу пробежал недоверчивый шепоток, Битти же разразился громким смехом.

Судья. Стало быть, забота о мистере Бейлстире была вашим основным занятием?

Киплинг. Да нет, я за это время кое-что написал…

Адвокат обвиняемого. Вернемся к вашей с ним встрече на дороге. Вы считаете, что он был в бешенстве?

Киплинг. Да, посинел от бешенства.

Судья. Посинел, говорите? Не покраснел? Не побелел?

Киплинг. Да, именно посинел.

Судья (стучит молотком, чтобы унять смех в зале). Если вы сочли, что мистер Бейлстир обезумел от ярости, почему было не вызвать врача и не настоять на осмотре вашего шурина?

Киплинг. В этом случае я бы и сам потерял рассудок.

Судья. Вы, со своей стороны, способствовали тому, чтобы ссора разгорелась. Почему вы не попытались уладить конфликт?

Киплинг. Моей жизни угрожали впервые. Я понятия не имел, как следует в таких случаях действовать.

Судья. И вы даже не допускаете мысли, что сами были неправы?

Киплинг (повышает голос). Никому не удастся заставить меня взять свои слова назад! Даже под угрозой смерти!

В результате судья пригрозил Битти, что если тот и впредь будет нарушать общественный порядок, с него будут взысканы 400 долларов, и шурин Киплинга, пусть формально он дело и проиграл, покинул зал ратуши героем, а посрамленная знаменитость вынуждена была спустя три с половиной месяца, 29 августа 1896 года, расстаться с Брэттлборо и Соединенными Штатами. Расстаться под «улюлюкающие» заголовки

американских газет: «ПОСЛЕ ДНЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ ПИСАТЕЛЬ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ЕМУ ОСТОЧЕРТЕЛА ВСЯ ЭТА ИСТОРИЯ» («Нью-Йорк геральд»), «КИПЛИНГ СОБИРАЕТСЯ ПОКИНУТЬ АМЕРИКУ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ» («Нью-Йорк таймс»).

Он-то думал, что его подвигнет на отъезд политический разлад между его страной и США, нарастающие антибританские настроения, а подвигнул, вопреки ожиданиям, разлад семейный. «Я рассчитываю вернуться, — обронил Киплинг репортерам, поднимаясь 2 сентября на палубу отплывающего в Англию парохода. — Когда буду к этому готов. Когда это произойдет — понятия не имею». Готов к возвращению в Вермонт он так и не будет.

Не готов к возвращению шурина в Вермонт и Битти. «Пока я жив, этому не бывать, — заявил он своему приятелю, американскому журналисту Вэну Де Уотеру, свидетелю семейного скандала. — Клянусь Богом, я не дам ему сюда вернуться. Если бы это произошло, мне пришлось бы уехать самому. Да он и не вернется! Струхнул. Дача показаний ему тяжело далась. Знай он, что ему придется снова идти в суд, он бы до смерти перепугался». Монолог этот, правда, произнесен был спустя сорок лет после размолвки, незадолго до смерти Киплинга.

«Есть лишь два места в мире, где я хотел бы жить, — с грустью сказал писатель пришедшей в „Наулаху“ перед его отъездом Мэри Кэбот. — Это Бомбей и Брэттлборо. И не могу жить ни там, ни здесь». Однако ностальгические чувства к Брэттлборо преследовали писателя недолго. «„Наулаха“, — приходит к выводу в автобиографии писатель, — какой бы прекрасной она ни была, представляет собой только *жилище*, но не *дом* наших мечтаний». «Домом наших мечтаний», безусловно, были и Грейндж, и родительское бунгало в Лахоре. Могла бы стать им и «Наулаха». Могла — но не стала.

На вокзале в Брэттлборо 29 августа 1896 года Киплинга, Кэрри и двух дочерей, Джозефин и Элси, провожал только один человек — друг и соавтор писателя доктор Конланд. Да и тот, если верить наиболее авторитетному биографу Киплинга Чарльзу Каррингтону, ушел, не дождавшись отправления поезда и даже не попрощавшись.

Глава восьмая МАЛЬЧИК-ВОЛК И ПАЙ-МАЛЬЧИК

Тем не менее до размолвки с Бейлстирами Киплингу, как мы убедились, жилось в Америке совсем неплохо. И писалось тоже. Иначе не было бы «Книги джунглей» — киплинговского бестселлера номер один. Не напиши Киплинг ничего, кроме двух «Книг джунглей» — и он бы прославился ничуть не меньше. Спросите любого: «Герой Киплинга?» Никто не ответит вам: «Дик Хелдар» или «Гарвей Чейн». Очень мало кто, разве что очень уж начитанные, скажет: «Ким»; все как один ответят: «Маугли». И добавят: «А еще Акела, Шерхан, Балу, Багира, Каа…»

Может, «Маугли» и был задуман в Англии или еще раньше в Индии, но материализовался он в Америке.

Первый рассказ о мальчике-волке «Братья Маугли» из первой «Книги джунглей», навеянной романом Хаггарда «Лилия Нада» и написанной по просьбе американской детской писательницы, редактора одного из первых журналов для детей, автора «Серебряных коньков» Мэри Элизабет Мейп-Додж, был создан на «райской» ферме Блисса в ноябре 1892 года. Спустя год автор прочитал его своим первым, еще совсем юным слушателям — дочери Джозефин и племяннице Марджори. Любитель детей, писатель развлекал дочь и племянницу историями о животных — китах, носорогах, черепахах, кошке (гулявшей, как мы знаем, сама по себе), любопытном слоненке. Со временем вся эта веселая, эксцентричная компания перекочует в другую детскую книжку Киплинга «Сказки просто так» (или «Просто сказки» — «Just So Stories»); ее писатель завершит только в 1902 году в Южной Африке и выпустит в свет со своими собственными иллюстрациями…

Последний рассказ «Весна идет» из второй «Книги джунглей» появился лишь спустя два с половиной года, в марте 1895-го. Первая «Книга джунглей» состояла из семи рассказов и семи стихотворений, вторая — из восьми рассказов и восьми стихотворений. Печатались обе книги в Англии и США почти одновременно, хотя и с существенными разночтениями, в том числе и в названиях имен животных. Все 15 рассказов из обеих книг прошли через периодическую печать, публиковались в американских и английских журналах «Сент-Николас», «Нэшнл ревью», «Пэлл-Мэлл мэгэзин», в газетах «Тудей», «Пэлл-Мэлл баджет», «Пэлл-Мэлл газетт», в ньо-йоркской «Уорлд». Обе «Книги джунглей» сюжетной цельностью не отличаются, да и не

задумывались таковыми: помимо рассказов о мальчике-волке, в него вошли и рассказы без участия Маугли: «Рикки-Тикки-Тави», «Чудо Пуран Бхагата», «Белый котик» — в последнем рассказе речь вообще идет не об индийских джунглях, а о Русском Севере.

Историю о мальчике-волке «сказкой просто так» не назовешь. Да и сказка эта не совсем обычная, скорее, нечто среднее между сказкой, басней и притчей, ведь за животными угадываются люди, а за их действиями — иносказание. И детской книжкой не назовешь тоже. «Рассказы про Маугли предстояло читать детям, прежде чем станет ясно, что они предназначены для взрослых», — очень точно написал в автобиографии Киплинг.

Диапазон представлений о «Маугли» простирается от истории, навеянной легендами, и не только индийскими, о детях, вскормленных животными, до притчи о естественном человеке, живущем в гармонии с Природой и являющемся царем всего сущего, высшим продуктом эволюции, — не потому ли звери не выдерживают взгляда Маугли, боятся «Красного цветка»?

От сатиры в духе Свифта на британских интеллектуалов, этих прекраснодушных бандерлогов, которые пользуются «ворованными словами» (камень в писательский огород) и которым «пожелать лишь стоит, и все готово», на шакалов-лизоблюдов вроде Табаки, для которого «объеденная косточка уже целый мир»[13], до философского иносказания, где Маугли, точно Степной Волк Германа Гессе, ощущает себя человеком-волком, состоит из двух противоположных и враждебных начал. В джунглях это человек, «самое слабое, самое беспомощное существо», среди людей — хищный и коварный зверь.

Одновременно с этим истории о мальчике-волке, чьего взгляда не выдерживают куда более сильные, ловкие, умудренные опытом звери, продолжают и развивают любимую мысль Киплинга, о которой — в приложении к человеческому, а не животному сообществу — уже шла речь. Выживает не сильнейший (Шерхан), а тот, кто мужествен и непреклонен. И тот, кто является частью Стаи: «Вкупе со Стаей всесилен и он». Чтобы завоевать место в Стае чужаку — будь то вскормленный волком человеческий детеныш или «сын полка» ирландский мальчик Ким, — необходимо овладеть кодексом чести Стаи, объединяющим всех, «кто свято хранит джунглей закон». Этот кодекс чести прост, но трудно достижим — быть стойким, верным долгу и выполнять непреложные правила: сначала ударить, а уж потом говорить, охотиться ради пищи, а не ради забавы. Этому и учат «Лягушонка» его «духовные» наставники пантера Багира и медведь Балу, а нас, своих читателей, — Редьярд Киплинг; по Киплингу, и человеку было бы не зазорно жить по законам,

которым неукоснительно следуют обитатели джунглей.

При желании можно прочесть истории о Маугли, оставившем после себя, как говорил Киплинг, «целый зоопарк» таких же, как человеческий детеныш, но скроенных на живую нитку, Тарзанов, примелькавшихся, похожих друг на друга героев фильмов, мультфильмов и приключенческих книг, и в русле цивилизаторской миссии белого человека — еще одной излюбленной идеи Киплинга. Тогда Маугли — это белый человек, который несет в джунгли (то бишь в Индию) плоды цивилизации — огонь например. И при этом не гнушается брать все лучшее, что есть у зверей, олицетворяющих собой исконное население Индии — «Свободный народ, которому нет дела до приказаний, исходящих не от Свободного народа». Как и в рассказах из индийской жизни, Киплинг дает в этом случае понять, что «цивилизующий» бывает зачастую менее свободен, чем «цивилизуемый».

Но ведь историю человеческого детеныша все мы читали еще в то благословенное время, когда понятия не имели о том, что такое притча, иносказание, олицетворение, плоды цивилизации, о том даже, кто такой Киплинг, в чем состоит «бремя белого человека» и какой смысл вкладывал писатель в формулу «победит сильнейший». Прочти мы «Книги джунглей» первый раз в сорок лет, мы, может статься, и усмотрели бы родство Табаки и бандерлогов с лондонскими критиками и интеллектуальными «пикейными жилетами». Но когда тебе читают Киплинга в пять лет или ты сам — в семь, внимание обращаешь на совсем другое. Запоминаются увлекательный сюжет и «могущество средств» (если воспользоваться определением обожавшего Киплинга Куприна): богатый, чеканный, поэтичный язык, где каждое слово на своем месте, и меткие, яркие, живо схваченные портреты зверей. У волчицы-матери, когда она защищает свое потомство от Шерхана, глаза — как «две зеленые луны в темную ночь». В изображении зверей основной прием — контрастность. Багира, к примеру, «хитра, как Табаки, смела, как дикий буйвол, храбра, как раненый слон», голос же у нее «сладок, как дикий мед, струящийся с дерева». Балу — сонливый, степенный, старый медведь с нежным голосом, но с тяжелой лапой. Питон Каа — тоже стар, глуховат, часами любуется собой, лежа на солнцепеке и «завивая свое тридцатифутовое тело в причудливые изгибы и узлы», но этот сибарит и ленивец, как и Балу, в бою страшен: «Представьте себе копье, таран и молот, весящий пудов тридцать, управляемый холодным, спокойным рассудком». Крокодил Джакому мычит, как бык, стерегущая сокровища старая кобра пожелтела от старости и темноты, как слоновая кость. До сих пор

пробегают мурашки по телу, когда вспоминаешь вкрадчиво сказанное ею Человеческому детенышу: «Много лет тому назад люди пришли сюда и хотели унести сокровища, но я поговорила с ними впотьмах, и они затихли». Киплинг, как мало кто из писателей, умел разглядеть в звере человека, а в человеке зверя.

Высокое литературное мастерство автора дает себя знать во всех эпизодах из жизни Маугли, да и в других историях, вошедших в «Книги джунглей». Литературное мастерство плюс отменное знание предмета, плюс проникновение в подростковую психологию, в пламенное мальчишеское сердце, для которого великодушие, долг, вера, достоинство — еще не пустые слова, не назойливая обязанность. Таковы слагаемые успеха книги, еще при жизни Киплинга вошедшей в золотой фонд английской литературы, вставшей в один ряд с «Робинзоном Крузо», «Гулливером», «Алисой в стране чудес».

* * *

Не откажешь в мастерстве и «Отважным капитанам». В мастерстве и в столь же глубоком проникновении в подростковую психологию — правда, читателя, а не героев. Запоминается повесть и откровенной тенденциозностью, ничуть не меньшей, чем в романе «Свет погас». Впрочем, в отличие от романа, тенденциозность эта простительна: писались «Отважные капитаны» для подростков, а какая подростковая повесть лишена тенденциозности? Ни в коей мере не являясь большой литературой, «Отважные капитаны», тем не менее — крепко сбитый бестселлер: Киплинг обладал превосходным чутьем на читательский спрос, не зря же он считался самым «зарабатываемым» автором в англоязычном мире. Бестселлер, предназначенный для мальчиков и их родителей, о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Тяжко трудиться, выполнять свой долг, соответствовать жестким требованиям жизни, как всегда у Киплинга — хорошо. Болтаться без дела, хвастать, молоть языком, жить в свое удовольствие, быть пай-мальчиком — плохо.

История о том, как «спасительная» волна смывает с палубы океанского лайнера сына железнодорожного магната, «весь облик которого выражает смесь неуверенности, бравады и дешевого щегольства»[14], и превращает его из «несчастного подростка, которому за всю жизнь не довелось услышать прямого приказания», в отважного моряка рыболовной шхуны, работающего сутки напролет в поте лица за десять с половиной долларов в месяц, — проста и поучительна. Так же проста, как

печально знаменитая надпись при входе в печально знаменитый концлагерь: «Работа делает свободным». Мотив освобождения, возмужания и душевной закалки избалованного отпрыска мультимиллионера Гарвея Чейна, которого «таскают из отеля в отель чуть ли не с самого младенчества» и который, согласно грибоедовской формуле, «упал больно, встал здорово», не нов и банален и оттого — в Америке, во всяком случае, — сразу же завоевал огромную популярность.

Объяснить популярность «Отважных капитанов» можно, пожалуй, еще и тем, что Киплинг словно бы бросает вызов тогдашней массовой литературе. «Отважные капитаны» — книга успеха, вывернутая наизнанку: обычно ведь герой, наподобие Оливера Твиста и тысяч ему подобных, из бедняка и парии превращается в качестве награды за добродетель в баловня судьбы, в «Отважных же капитанах» все ровным счетом наоборот. Оказавшись волею судеб — и автора — среди моряков, занимающихся вручную рыбным промыслом на утлой шхуне с грустно-ироническим названием «Мы у цели», Гарвей Чейн из богатого оболтуса и недоросля превращается в крепкого, молодого, но неимущего рыбака, «держится с достоинством, смотрит на собеседника ровным, открытым и смелым взглядом».

Авторов, впрочем, как уже говорилось, было двое. Соавтор Киплинга, «мой лучший друг в Новой Англии» доктор Конланд, в молодости и сам ходил на такой же, как «Мы у цели», рыболовной шхуне вдоль северного побережья Атлантики, не раз бывал, преследуя богатые косяки, на описываемой в повести Ньюфаундлендской банке. У Киплинга и Конланда, как в свое время и у Киплинга с Уолкоттом Бейлстиром, было четкое разделение труда: Киплинг писал, и писал очень быстро («Книга писалась сама», — вспоминал впоследствии он), Конланд же «давал подробности». Рассказывал Киплингу об американском рыболовном флоте — впрочем, тридцатилетней давности. Возил с собой в бостонскую гавань и в рыбацкую столицу Глостер, штат Массачусетс, посмотреть, как живут моряки, как ловится рыба, как пользоваться компасом, другими навигационными приборами. Показывал, как на уходящей из-под ног палубе разделывают треску. Объяснял, что означают такие неведомые Киплингу слова, как перемет, тали, лоции, погубь, топсель, пиллерс — одним словом, насыщал сюжет столь необходимой фактурой, тем более что, по мнению ряда критиков, детали в ряде произведений Киплинга, особенно же в рассказах из американской жизни — слабое место.

Но только не в «Отважных капитанах». Прочитавшие эту повесть могли подумать, что ее автор полжизни провел на

рыболовных судах. Вообще, к морю, кораблям, морской жизни у Киплинга всегда был повышенный интерес. Памятуя слова Роберта Саути о том, что когда сухопутный житель пишет на морские темы, он должен «ступать с осторожностью кошки, крадущейся по кладовой», писатель тщательно изучал устройство не только рыболовного судна, но и военного корабля и, по воспоминаниям адмирала Джорджа Балларда, целыми часами простаивал на капитанском мостике или в машинном отделении. Когда же в его рассказы из морской жизни все же вкрадывались ошибки, он говорил Балларду, что благодарен небесам, что его рецензенты никогда не служили на флоте.

С помощью Конланда Киплинг справился с повестью за несколько недель и, прежде чем опубликовать ее отдельной книгой (1897), отдал ее своему другу издателю Макклуру в его журнал «Макклур мэгэзин», где «Отважные капитаны» (название Киплинг почерпнул из своей же баллады «Мэри Эмбри») несколько месяцев печатались отдельными главами с продолжением.

Повесть продолжала выходить на страницах американского журнала, когда самого писателя в Америке уже не было. Но прежде чем перенестись с Киплингом в Англию, отправимся, уже без него, в Россию, в которой Киплинг, объездивший, и не один раз, весь свет, никогда не бывал, но в которой его «за глаза» любили и почитали. Любили, быть может, даже больше, чем на родине, или в Штатах, где популярность его была и остается чрезвычайно велика, или во Франции, где Киплинг — и человек, и писатель — всегда был «персоной грата».

Если в Англии, особенно в 1890-е годы, Киплингу отдавали должное за «силу наблюдения» (как выразился один рецензент), за поэзию журнализма, что после «Простых рассказов с гор» перестало восприниматься как оксюморон, а позднее, в двадцатые годы, когда Киплинг стал «общенациональным наставником», за «поэзию дидактики», — то в России его полюбили — если воспользоваться формулой Нобелевского комитета — за «мужественность стиля». «Киплинг, — вспоминал в конце тридцатых годов Константин Симонов, довольно много его переводивший, — нравился нам своим мужественным стилем… мужским началом, мужским и солдатским»[15].

Слова «мужской», «мужественный» Симонов повторил трижды — и не случайно. Под мужское, солдатское обаяние «железного Редьярда» попали многие. И Гумилев, которого не раз называли «русским Киплингом», хотя истоки его творчества были совсем другими, эстетско-символистскими. И Куприн, писавший, что Киплинг — «самый яркий представитель той Англии, которая

железными руками опоясала весь земной шар и давит его во имя своей славы, богатства и могущества»[16]. И Бунин; он, кстати, ставил Киплинга куда выше Куприна, с которым автора «Кима» любили сравнивать. «Киплинг возвышается в своих вещах до подлинной гениальности, — замечает Бунин с несвойственным ему пафосом. — Он был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнивать!»[17] И очень многие советские поэты и прозаики.

Парадокс, но «барда империализма» приняла и оценила не только юная поросль советской литературы, но и высшие, неукоснительные авторитеты — Горький и Луначарский, признававшие за «единым в своем роде» талант большой и своеобразный. А впрочем, такой ли уж это парадокс? Ведь, если вдуматься, между идеологией Советов и философией Киплинга было, по существу, немало общего. Разве не призывал Киплинг к забвению своего дела ради общего? Разве не славил героику жертвенности, пусть и несколько иначе, чем Николай Островский? Разве не ратовал, пусть и на свой лад, за «коллективное сознание»? Не потому ли Киплинг был столь близок и понятен homo sovieticus 20—30-х годов?

Как бы то ни было, вернувшемуся в тридцатые годы из эмиграции на родину маститому критику и литературоведу Дмитрию Святополк-Мирскому подобное увлечение «поэтом империалистически лояльного обывателя», которое испытывают к Киплингу «представители страны, максимально враждебной его идеологии»[18], показалось странным. «В Англии, — пишет Мирский, — Киплинг — поэт… империалистически лояльного обывателя, не читающего других современных стихов… У нас его высоко ценят многие из лучших наших поэтов, и переводы из Киплинга почти так же характерны для некоторой части советской поэзии, как переводы из Гейне и Беранже для 60-х годов» (XIX века. — А. Л.).

В горячем порыве новоявленного советского патриотизма вернувшийся в СССР Мирский конечно же погорячился, утверждая, что английский «лояльный обыватель» не читает «других современных поэтов». Но то, что поэт (да и прозаик) Киплинг чрезвычайно, как никакой другой автор, импонировал британскому «лояльному обывателю» и не оставил после себя в Англии литературного наследника — факты безусловные. А в далекой, неведомой России, в которой он никогда не бывал и к революции в которой отзывался, по понятным причинам, без особого энтузиазма, — оставил. Школу Киплинга в той или иной мере прошли и И. Бабель, и Э. Багрицкий, и А. Грин, и Н. Тихонов, и Ю. Олеша, и уже упоминавшийся К. Симонов.

Прав Мирский и относительно киплинговских переводов. По-русски стихи Киплинга становятся известны — хотя первые переводы далеко не всегда адекватны — еще с середины 90-х годов позапрошлого века, как раз когда Киплинг, находясь в зените славы и в расстроенных чувствах, возвращался после суда в Брэттлборо в Англию.

«Книги джунглей» и «Ким» появляются в русских переводах по тем временам также довольно быстро, во всяком случае быстрее, чем на других европейских языках. «Первая книга джунглей» — в 1905 году, «Вторая книга джунглей» и «Ким» тремя годами позже, то есть меньше чем через десять лет после выхода в свет оригинала.

Брались переводить Киплинга известные русские и советские писатели и переводчики: К. Чуковский («Сказки просто так»), К. Симонов, Е. Полонская («Баллада о Востоке и Западе», «Мандалей»), И. Грингольц («Денни Дивер», «Томми», «Фуззи-Вуззи», «Марш „Хищных птиц“»). Одна из первых переводчиц Киплинга Ада Оношкович-Яцына еще в начале двадцатых годов создала весьма удачные русские версии «Томлинсона», «Пыли», «Мэри Глостер», «Потерянного легиона». Удачные переводы поэзии и прозы Киплинга и на счету наших современников В. Хин-киса («Свет погас»), В. Топорова, М. Яснова, Е. Витковского, Г. Кружкова.

Однако подлинными шедеврами стали конечно же переводы киплинговского «If» М. Лозинского и С. Маршака. Строки «Заповеди» (Лозинский изменил название оригинала) «Владей собой среди толпы смятенной» уже не воспринимаются как перевод — не это ли высшая похвала переводчику! Для многих поколений любителей поэзии в нашей стране «Заповедь» — такая же русская поэзия, как «Не сравнивай: живущий не сравним», как «В глубокий час души и ночи, не числящийся на часах», как «…с порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества». Много ли наберется в мировой поэзии таких органично вошедших в чужой язык, поистине «космополитичных» стихов? Между прочим, расходятся английские и русские вкусы и здесь. Англичане, для которых, в отличие от русских, поэт никогда не был «больше, чем поэт», склонны выделять, скорее, «Балладу о Востоке и Западе», «Мэри Глостер», «Мандалей», «Денни Дивер» — стихи более мелодичные, менее возвышенные, более приземленные, чем «Заповедь». В английских школах, впрочем, «проходят» именно «Заповедь».

Сегодняшний русский Киплинг — писатель по преимуществу детский, но по-прежнему необычайно, как сказали бы теперь, «востребованный». По-прежнему нарасхват и «Маугли», и «Сказки

просто так», и «Пак с Пукова холма». Впрочем, мы вновь забегаем вперед: «Сказки просто так» в 1896 году, по возвращении Киплинга в Англию, еще только рассказывались дочерям, да и то не все, и еще не записывались — во всяком случае целиком…

Глава девятая «МЫ НАЗЫВАЕМ ДОМОМ АНГЛИЮ, ГДЕ НЕ ЖИВЕМ»

«Мы называем домом Англию, где не живем…» Так написал однажды Киплинг, а в разговоре с американским театральным критиком Брандером Мэттьюзом однажды — это было еще в 1891 году — обмолвился: «Я не англичанин; я — житель колоний». Действительно, до 1902 года Киплинг жил в Англии лишь наездами, останавливался то в съемных домах, то в отелях, то у родителей или друзей и «дома своих мечтаний» не имел. С августа 1896 года до осени 1899-го, с первого возвращения из Америки до второго, у Киплинга было в Англии два дома. Два — и ни одного. Ни тот ни другой ему не нравился. В первом он прожил совсем недолго, во втором целых пять лет, однако полноценным домом он для него так и не стал. И в том, и в другом, тем не менее, были написаны такие известные и широко цитируемые стихи, как «Бремя белого человека» и «Последнее песнопение», рассказы, сказки. Собственного жилища писатель за это время так и не приобрел, однако Англия за эти четыре бездомных года, из которых год он отсутствовал, стала для него, наконец, домом.

Дом в деревушке Мейденком близ Торки снят был неудачно. Стоял он на скале, в двухстах ярдах над морем и так и назывался «Дом на скале» (Rock House). В дождь и шторм (штормило в осенние месяцы едва ли не каждый день) Киплинги чувствовали себя неуютно, неприкаянно, ощущение было такое, будто живут они на маяке. Дети, особенно старшая Джозефин, просились домой, в «Наулаху», где из окна вместо бурного, свинцового моря и сетки непрекращающегося дождя за лугом и сосновым лесом поблескивала река Коннектикут, а за ней высился голубой купол Монаднока, воспетого Эмерсоном, чья фотография украшала письменный стол в кабинете Киплинга. Кэрри и дети с радостью уехали бы обратно в Америку, но Киплинг был непреклонен. Верно, в Вермонте, этом киплинговском Болдине, ему жилось и писалось как никогда раньше, и такого плодотворного периода у него уже не будет, но после всего, что произошло, «американская тема» оказалась закрыта, на нее был наложен запрет. Даже письма, когда они приходили из Америки, Киплинг читает теперь только в том случае, если они от доктора Конланда, Мэри Кэбот или Нортонов.

В «Доме на скале» ему не пишется, но день, тем не менее, заполнен до отказа. Киплинг не слезает с велосипеда, ездит за

несколько миль на старый музейный фрегат «Британия», где общается с курсантами. Вместе с «патером» (так, на латинский манер, Киплинг называет отца) составляет для американского издательства «Скрибнерс» первое свое собрание сочинений; Джон Локвуд взялся его иллюстрировать. Вместе с Амбо Пойнтером и его младшим братом, школьником Хью, охотится на кроликов. И, как всегда, принимает гостей — родителей, Кромвелла Прайса и ненадолго приехавшего из Америки Фрэнка Даблдея. Объединившись с Сэмом Макклуром, Даблдей намеревается открыть издательство, где отныне будут печататься все произведения Киплинга, прозаические и поэтические — эту идею он и приехал обговорить в «Доме на скале».

В ноябре выходит поэтический сборник Киплинга «Семь морей». Успех — тем более для сборника стихов — сногсшибательный: еще до выхода книги только по одной подписке разошелся тираж в 22 тысячи экземпляров. Какой поэт сегодня может рассчитывать на подобное признание!

О Торки меж тем Киплинг отзывается с неизменной и злой иронией — ему претят затхлая атмосфера городка (а ведь Брэттлборо был, в сущности, ничем не лучше), толстокожесть его жителей, их пожизненное увлечение «собой, своим обедом и женой». «Торки — из тех мест на земле, — напишет он в октябре 1896 года Нортону, — которые я бы мечтал перевернуть вверх дном, ради чего готов вихрем пронестись по нему в чем мать родила, в одних очках… По сравнению со здешними тучными старыми дамами, что ездят, надев респираторы, в пышных ландо, Вседержитель — легкомысленный шутник, пустой и бестолковый затейник».

Зима — весна 1897 года

Киплинг постепенно «расписывается». В «Доме на скале» он работает над рассказами из своей школьной жизни; впоследствии они войдут в сборник «Прохвост и компания», пока же готов лишь один рассказ «Рабы лампы» — о проделках Лайонела Данстервилла, грозы учителей и учеников колледжа. В «Доме на скале» гостит в это время давняя приятельница Киплинга, его кузина Флоренс Макдональд, и Киплинг — это в его обыкновении — проверяет на ней, насколько удачен тот или иной только что сочиненный пассаж. Флоренс впоследствии рассказывала, что кузен звал ее к себе в кабинет, присаживался к письменному столу, как он любил, подложив под себя одну ногу и покачивая другой, некоторое время в ее присутствии, не отрываясь, писал, а затем, отложив перо, заливался громким, заразительным смехом. После чего зачитывал вслух написанное, пока смех не разбирал и

сестру. «Ну-ка, Флоренс, рассказывай, — обычно говорил он, — что эти негодяи (имелись в виду Прохвост, Индюк и Жук) выкинут на этот раз». Флоренс втайне от всех сочиняла стихи и по приезде показала одно из них мэтру. «Ни одной приличной строчки!» — вырвалось у Киплинга, однако заметив, что кузина не на шутку расстроена, автор «Казарменных баллад» смилостивился, велел Флоренс прочесть еще один стих и столь же безапелляционно заявил: «А вот это чертовски здорово!» И добавил: «В жилах Макдональдов течет не только кровь, но и чернила».

Чернила текли и в жилах бравых английских военачальников. В январе в Лондоне выходит объемистый том, сразу же ставший бестселлером. Его автор — давний знакомый Киплинга, главнокомандующий британскими войсками в Индии и Афганистане (а в дальнейшем и в Южной Африке) лорд Робертс, выпустивший монументальный мемуар с впечатляющим названием «Сорок один год в Индии». В газетах печатались десятки отзывов, один лучше другого. Все были в восторге. Все, кроме Киплинга. На присланный им будущим фельдмаршалом труд писатель отзывается кратко, остроумно и нелицеприятно: «Самое в этом томе примечательное — это то, чего в нем нет».

В свои неполные 32 года писатель Киплинг побил уже много рекордов — и по популярности, и по тиражам, и по гонорарам. В марте же бьет еще один: по рекомендации Генри Джеймса его, несмотря на юный (для писателей) возраст, принимают в члены «Атенеума», лондонского литературного клуба номер один. Остается теперь взять только одну высоту — получить из рук премьер-министра звание, причем, безусловно, заслуженное, поэта-лауреата. Звание, которым в XIX веке владели такие непререкаемые поэтические авторитеты, как Вордсворт, Саути и Теннисон. Последний, пробыв поэтом-лауреатом сорок лет, «в гроб сходя, благословил», как мы помним, именно Киплинга. Однако Киплинга обошли — поговаривали, что не без посредства самой Виктории, которая в 1897 году с помпой отметила свое шестидесятилетие на британском троне и которой в свое время якобы не понравилась баллада Киплинга «Вдова из Виндзора». В результате звание поэта-лауреата получил вместо Киплинга весьма поверхностный, зато чрезвычайно плодовитый поэт, автор, по меньшей мере, двух десятков поэтических сборников Альфред Остин.

В том, что Киплинг не удостоился столь высокой награды, уступив ее куда менее одаренному и мало кому известному Остину, «виновата» была не только королева Виктория, но и его собственная литературная репутация. О литературной репутации

Киплинга нам известно куда меньше, чем о репутации политической, а потому отвлечемся от «Дома на скале» и скажем о ней несколько слов.

Бывают писатели для писателей и для критиков, а бывают — для читателей. Киплинг с самого начала был «читательским» писателем; на протяжении сорока лет издатели охотно издавали, а читатели охотно раскупали его книги — стихи, рассказы, романы, путевые очерки, сказки, его баллады распевали в пабах и мюзик-холлах, они публиковались на первых полосах центральных газет. В писательской же среде, даже доброжелательной (таких критиков, как Макс Бирбом, который Киплинга на дух не переносил, мы в расчет не берем), он всегда оставался «одиноким волком», считался автором неровным, уязвимым для критики, хотя, несомненно, высокоодаренным — в таланте ему не отказывали даже те, кто был нетерпим к его джингоистским взглядам и устремлениям. С точки зрения утонченных эстетов и высоколобых интеллектуалов, Киплинг был слишком вульгарен. Вот короткий перечень уничижительных вердиктов о нем Оскара Уайльда — один раз мы его уже цитировали: «отсутствие стиля», «журналистский реализм», «наш главный авторитет по всему вульгарному», «видит удивительные вещи, но через замочную скважину», «талантливый человек, который изъясняется на кокни»[19].

Уайльду вторит такой же, как и он, эстет-символист, критик либеральной газеты «Стар» Ричард Ле Гальенн: «Бернс скучен, когда не пишет на шотландском диалекте, Киплинг — когда не пишет на кокни». Не устраивает Киплинг и натуралистов, с которыми его иногда сравнивали. На взгляд известного американского прозаика конца века, «разгребателя грязи» (как окрестили историки литературы американских натуралистов) Дина Хоуэллса, Киплинг «развязен», «пишет что придется». Его соотечественник, критик, основатель и издатель журнала «Нейшн» Эдвин Лоренс Годкин, обыгрывая название самого известного поэтического сборника Киплинга, пренебрежительно называет его «поэтом казарменных хамов». Для неоромантиков, к которым, собственно, принадлежал и сам Киплинг, он — в первую очередь журналист. Стивенсон: «Талант глубок… но грубость еще глубже… Что бы он ни писал, он — толковый журналист, все, что он сочиняет, остроумно, поверхностно и прямолинейно. Ни капли сердечной тоски, полное отсутствие гармонии». Для реалистов Киплинг бессвязен и непоследователен, опять же — «полное отсутствие гармонии». Герберт Уэллс, высоко, как мы знаем, Киплинга ценивший, считавший его чуть ли не «национальным символом», писал вместе с тем, что его творческая манера

отличается «суматошностью, грубостью, истеричностью, нетерпимостью, несообразностью». Наконец, для модернистов Киплинг излишне прагматичен и демократичен. «Не знаю ни одного писателя такого огромного таланта, — писал о Киплинге Томас Стернз Элиот, — для которого поэзия была бы не более чем средством… Для Киплинга стихотворение — это нечто, *побуждающее к действию*, его стихи по большей части сочиняются для того, чтобы вызвать одну и ту же реакцию у всех читателей, и только ту реакцию, которую читатели способны выразить *сообща*».

Весной 1897 года некоронованный первый поэт Англии, ставший «национальным символом», ощущает себя, как он пишет Конланду, «бездомным цыганом, который был бы рад и палатке». С «Домом на скале» решено, наконец, расстаться, беременную третьим ребенком жену Киплинг отправляет в лондонский отель, сам же пускается на поиски сносного жилья и вскоре сообщает тому же Конланду, что дом найден. И не где-нибудь, а близ модного курорта Брайтон, в приморском городке Роттингдин, в непосредственной близости от родственников. Рядом — летний дом Бёрн-Джонсов «Норт-Энд-хаус», где Киплинги будут жить первое время и где Кэрри спустя полгода родит сына, а чуть поодаль — дом Ридсдейлов; на их дочери, тоже ждавшей в это время ребенка, женился кузен Киплинга, будущий английский премьер Стэнли Болдуин. В Роттингдине, в родовом гнезде Киплингов-Макдональдов, Киплинги проживут без малого пять лет, сначала в «Норт-Энд-хаус», а потом в особняке «Вязы», который снимут за три гинеи в неделю — сумма по тем временам весьма внушительная.

Лето 1897 года

В «Норт-Энд-хаус», куда Киплинги въехали в начале июня, писатель работает, и уже не первый год, над «Просто сказками», которые завершит только спустя пять лет в Кейптауне. Сказки сочиняются экспромтом и рассказываются детям — своим и чужим, так же как в «Наулахе». Племянница Киплинга Анджела Теркелл вспоминает, как, наигравшись с детьми в гражданскую войну, где Киплинг исполнял роль «ужасного» круглоголового, а дети, Анджела, Джозефин и Элси, — благородных кавалеров[20], писатель зазывал дочерей и племянницу к себе в кабинет или отправлялся с ними на сеновал и читал им вслух «Просто сказки». В исполнении автора, пишет Анджела; они были еще лучше, чем на бумаге.

И так считала отнюдь не только Анджела.

«Просто сказки» — удача и Киплинга-прозаика, и Киплинга-

поэта, и Киплинга-художника (на этот раз он сам, а не Джон Локвуд иллюстрировал свою книгу, о чем, впрочем, нашим юным читателям должно быть известно), и, не в последнюю очередь, — Киплинга-рассказчика.

«Просто сказки» — название устоявшееся, и менять мы его, естественно, не станем. Однако название этих замечательно переведенных сказок К. И. Чуковскому, по-моему, удалось не слишком. Что значит «Просто сказки»? («Просто стихи»? «Просто повесть»?) Что они написаны между делом, не всерьез, без определенной цели? Лучше было бы, мне кажется, назвать сборник более внятно, скажем, «Незамысловатые сказки» или «Сказки как сказки» — ведь Киплинг из свойственного ему, как и многим писателям, литературного кокетства продолжает линию на «псевдо простоту», начатую еще с «Простых рассказов с гор». Понимать название надо и здесь «с точностью до наоборот»: рассказы на самом-то деле были вовсе не просты — замысловаты и сказки.

Прежде чем записать «Просто сказки», писатель, повторимся, рассказывал их детям — своим собственным, детям своих родственников, да и чужим детям тоже. Детей, как мы знаем, Киплинг, в отличие от репортеров, очень любил. «Было ни с чем не сравнимой радостью, — вспоминала Трикс, к тому времени уже миссис Флеминг, — следить за ним, когда он играл с ребенком, потому что он и сам в это время становился маленьким мальчиком».

Сказки рассказывались-писались на протяжении нескольких лет. Были сказки, которые Киплинг рассказывал в Вермонте Джозефин, когда укладывал ее спать. В Америке же, о чем уже упоминалось, появился первый — устный — вариант одной из лучших сказок «Кошка, гулявшая сама по себе», а также сказки про Носорога, Верблюда и Кита. О том, что сказка «Откуда у Кита такая глотка» создана в Америке, свидетельствует хотя бы то, что станции Винчестер, Ашуэлот, Нашуа, Кини и Фичеоро, которые перечисляет Кит, — это реально существовавшие железнодорожные полустанки на пути в Брэттлборо. Упреждая события, скажем, что в 1898 году в Южной Африке родились сказки о любопытном Слоненке и о том, как Леопард стал пятнистым. По возвращении из Африки Киплинг сочиняет сказку «Как было написано первое письмо», перед следующей поездкой в Кейптаун — «Краб, который играл с морем», а в начале 1902 года, во время очередного пребывания в Африке, — «Мотылек, который топнул ногой».

Особое обаяние сказок — Анджела права — в их изустном характере. Средняя дочь Киплингов Элси подтверждает, что дети

получали куда большее удовольствие от «рассказывания» сказок, чем от их чтения — ведь отец и в самом деле читал их с неподражаемым актерским искусством, на все лады, каждая фраза произносилась с определенной, неповторимой интонацией: автор-рассказчик, как видно, получал от чтения своих сказок не меньшее удовольствие, чем его юные слушатели, превращался, доказывая правоту Трикс, в такого же, как они, ребенка.

О том, что «Просто сказки» сначала рассказывались, а уж потом записывались и иллюстрировались, свидетельствует и их диалогичность. Автор постоянно, отчасти даже навязчиво, вступает со своими слушателями в диалог, предугадывает их вопросы. Когда читаешь сказки глазами, обращаешь внимание на многочисленные авторские обращения к «милому мальчику»: «Это было давно, мой милый мальчик», «Чего же тебе еще, милый мальчик?», «Все устроилось отлично, не правда ли?», «Милый мальчик, я опять расскажу тебе сказку о Далеких и Старинных Временах», «А надо тебе знать, мой милый мальчик…», «Ты, надеюсь, уже догадался…» Или напоминания: «Пожалуйста, не забудь про подтяжки, мой милый». Или пояснения: «Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи!», «И, ах, это было неспроста!» Или наставления, их особенно много: «А если тебе случится услышать от взрослых…», «Знай — даже взрослые не говорили бы такой чепухи…», «Ну, а если ты не можешь этого дождаться, попроси у взрослых „Таймс“», «Каждому мальчику, у которого есть игрушечный пароходик, надо уметь разбираться в подобных вещах…», «Слушай, внимай, разумей…», «Так слушай же, слушай внимательно…»[21]

Критиков Киплинг к себе в кабинет не зазывал, на сеновал с ними не отправлялся, «Просто сказки» им вслух не читал, но сказки зоилам, тем не менее, понравились ничуть не меньше, чем детям. Они оценили по достоинству и стиль, и оригинальность замысла, и конечно же превосходные авторские иллюстрации. А когда критикам произведение нравится, они стремятся отыскать его источники — откуда ноги растут. Так вот, одни усмотрели в сказках Киплинга мифологические сюжеты, другие связали их со славной английской традицией «нонсенса», с Эдвардом Лиром и «Алисой в стране чудес» горячо любимого Киплингом Льюиса Кэрролла. Третьи — с книгой хорошо нам уже знакомого Эндрю Лэнга «Миф, ритуал и религия» (1887), хотя из нее автор «Сказок» заимствовал лишь имена богов Ка, Инки и Гонконг в «Сказании о Старом Кенгуру». Четвертые нашли у Киплинга скрытые цитаты и аллюзии из Библии и Корана. Пятые рассуждали о влиянии, которое оказали на Киплинга-сказочника поэмы Роберта Браунинга. Шестые, знатоки восточной литературы, уверяли, что

на писателя повлияли буддийские сказания…

Совершенно иной, как всегда парадоксальный и глубокий взгляд на сказки у Гилберта Кийта Честертона. «Особая прелесть этих новых историй Киплинга, — пишет автор патера Брауна в рецензии на „Просто сказки“, опубликованной спустя месяц после выхода книги в свет, — состоит в том, что читаются они не как сказки, которые взрослые рассказывают детям у камина, а как сказки, которые взрослые рассказывают друг другу на заре человечества. В них звери предстают такими, какими их видели доисторические люди — не как виды и подвиды в разработанной научной системе, а как самостоятельные существа, отмеченные печатью оригинальности и сумасбродства»[22].

Оригинальность и сумасбродство (а если одним словом, то — эксцентрика) свойственны вовсе не только Крабу, который играл с морем, или Кошке, гулявшей сама по себе. Это свойство многих славных героев английской литературы от Триместра Денди до Пикника, от героев просветительского романа до антигероев романа постмодернистского. Вот в эту давнюю национальную традицию иронической эксцентрики, думается, и следует вписывать киплинговских мотыльков, леопардов и броненосцев. Точно так же, кстати, как и рассказы Киплинга с участием двуногих, а не только четвероногих. А то сегодня начинает иной раз казаться, что Киплинг, точно Сетон-Томптон, Харриет или Даррелл, лишь о зверях и писал.

* * *

Одновременно с «Просто сказками» Киплинг начал сочинять одно из самых своих знаменитых стихотворений «Бремя белого человека», которое закончил лишь спустя полтора года. 12 июня, в день юбилея Вдовы, он откладывает «Бремя» и, вняв просьбам газетчиков — в частности тогдашнего главного редактора «Таймс» Моберли Белла — сочинить юбилейную оду, садится за «Последнее песнопение». «„Таймс“ засыпала меня телеграммами, — вспоминал впоследствии поэт, — поэтому мне ничего не оставалось, как запереться в кабинете… Я нащупал только одну строку, которая мне понравилась: „…чтоб не забыть праведный путь“[23], и написал стихотворение вокруг этой строки на мелодию гимна, который исполняется в конце богослужения». А вот как описывает творческий процесс создания этого стихотворения в своем дневнике Кэрри:

«Утром 16 июля хозяева и гости собрались в одной из комнат дома. Радди сидел за своим письменным столом, пробегал

глазами какие-то бумаги и время от времени швырял их в мусорную корзину, стоявшую рядом со стулом, на котором сидела мисс Нортон[24]. Она обратила внимание на выбрасываемые бумаги и попросила разрешения взглянуть на содержимое корзины. Киплинг разрешил, и Салли извлекла стихотворение, посвященное юбилею». Сверху почерком Киплинга было приписано: «Потом». Мисс Нортон не могла скрыть своего восторга. «Это стихотворение нельзя выбрасывать! — воскликнула она. — Его обязательно нужно напечатать».

Киплинг стал было возражать, но потом сказал: «Пусть будет так, как решит тетя Джорджи». Леди Бёрн-Джонс согласилась с мисс Нортон: печатать стихотворение необходимо. Киплинг сел его исправлять и сократил число строф с семи до пяти. Мисс Нортон предложила повторить последнее двустишие первой строфы в качестве рефрена к строфе второй и четвертой. Киплинг это предложение принял и, взяв у нее ручку, вписал двустишие, приписав: «Написано пером Салли. Р. К.», после чего той же ручкой исправил последнюю строку (в окончательный вариант исправление не вошло), произнес: «Аминь», поставил в конце свою подпись, а под ней приписал: «Писано совместно в „Норт-Энд-хаус“

16 июля. Тетя Джорджи, Салли, Кэрри и я».

Стихотворение было переписано набело, тетя Джорджи отвезла его в Лондон, в тот же вечер оно было доставлено в «Таймс» и уже на следующий день, 17 июля, напечатано. А еще через день, когда «Песнопение» перепечатали и другие газеты, посыпались похвалы, хоть и тонувшие в мощном хоре юбилейных славословий, но от этого не менее значимые.

Расщедрился на панегирик даже сухой неулыбчивый Уотт — правовой агент Киплинга (а также Конан Дойла, Безанта и многих других писателей). «Вы — единственный наследник Шекспира, Мильтона и Теннисона, — писал он. — Вы — поэт-лауреат de facto». «Благодаря вам и королеве субботний выпуск „Таймс“ стал величайшей газетой в мире», — писал Киплингу из Америки преданный ему Сэм Макклур. «Благодарю вас за то удовольствие, которое Вы доставили мне „Песнопением“, — писал Киплингу американский посол в Лондоне Джон Хей. — Такое не забывается». «Если бы бедная, старая королева хоть что-то смыслила в литературе, — говорилось в письме Уолтера Безанта, — она бы… что бы она сделала? На худой конец послала бы вам благодарственное письмо. Вы ведь ухватили то, что все мы, приличные люди с пуританской закалкой, хотели высказать, но не сумели. Вот это и есть гениальность». Словом, в адрес автора было сказано немало теплых слов, не сказано было лишь

одно, самое главное: песнопение получилось неюбилейным. Вот его первая строфа:

Бог наших предков, кормчий страны,
Страж нашей мощи боевой.
Под дланью чьей владеем мы
И южной пальмой и сосной,
Господи сил, с нами пребудь.
Путь укажи, праведный путь!

Строки, как и полагается оде, строгие, величественные, жизнеутверждающие — но, коль скоро поэт просит «бога наших предков» указать «праведный путь», не означает ли это, что королева Виктория ведет страну по пути *неправедному*? Да, будь Киплинг поэтом-лауреатом, ему бы, надо думать, указали на то, что он обязан «выбирать выражения».

А через месяц после «Последнего песнопения» и последовавших вслед за ним панегириков — еще одна радость: 17 августа на свет появляется долгожданный сын, названный в честь деда Джоном. «Сегодня, — пишет в этой связи своему приятелю Уильяму Гардингу счастливый отец, — со стапелей сошло небольшое судно; вес (приблизительно) 8.957 фунта, водоизмещение 2.0464, расход топлива не указан, но свежие запасы требуются каждые два с половиной часа. Для полной готовности судну потребуется никак не меньше пятнадцати лет, но по истечении этого срока оно может стать весомым вкладом в военно-морской флот ее величества, для службы в коем и предназначено. Спущено судно на воду 17 августа в 1 час 50 минут утра. Никаких повреждений. Названо „Джоном“…»

Осень 1897 года

Поиски дома между тем продолжаются: «Вязы» определенно уютнее «Дома на скале», но оставляет желать лучшего и этот, уже обжитой дом. И Киплинг в поисках лучшего (которое, как известно, враг хорошего) неустанно колесит по Кенту и Дорсету. В сентябре — такова, во всяком случае, легенда — Томас Гарди привез Киплинга в Дорчестер и показал приятелю большой дом, которым владела какая-то одинокая женщина. Хозяйка дома, однако, наотрез отказалась сдавать дом неизвестному джентльмену без всяких рекомендаций. «Вам наверняка будет приятно узнать, сударыня, — сказал ей Гарди, — что в вашем доме поселится не кто иной, как мистер Редьярд Киплинг с семьей». Сообщение это не произвело на хозяйку дома решительно никакого впечатления: кто такой Киплинг, она

понятия не имела. Спустя несколько минут, оставшись с хозяйкой дома наедине, Киплинг, в свою очередь, довел до ее сведения, что его готов рекомендовать пришедший с ним «сам» Томас Гарди. Но и этот аргумент не подействовал: автор «Джуда Незаметного» и «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» был хозяйке дома точно так же неизвестен. Живым классикам пришлось уйти ни с чем.

В результате планы поменялись: Киплинги остались в «Вязах», но на зиму собрались в Южную Африку — читатель помнит, что в 1891 году по пути в Австралию и Новую Зеландию Киплинг уже побывал в Кейптауне и остался очень доволен. Ехать решено было в январе вместе с патером и детьми и вернуться никак не раньше апреля. Пока же жизнь Киплинга шла своим чередом: гости и работа, работа и гости.

Помимо патера, бывшего здесь своим человеком, в «Вязы» наведывались Джеймс Барри — с автором «Питера Пена» Киплинг совершал многочасовые прогулки, и Уильям Хенли, который если и выбирался на свежий воздух, то совсем ненадолго и в кресле-каталке. Заходил — по соседству — «дядя Нед» (он же знаменитый Эдвард Бёрн-Джонс), часто приезжал Кромвелл Прайс. На ком, как не на бывшем директоре колледжа «Юнайтед-Сервисез», лучше всего было испытать, насколько смешны и правдивы истории из школьной жизни, те самые, что вошли в сборник «Прохвост и компания»? «Вы вспоминаете этот эпизод?» — спрашивал Киплинг Прайса, прочитав ему вслух, как прежде читал кузине Флоренс Макдональд, отрывок из очередного рассказа. «Еще бы», — отвечал Прайс, смеясь от души, что не мешало ему спустя час шепнуть их общему знакомому Сидни Кокереллу: «Вспоминаю и многое другое, то, что лучше бы мне не помнить».

Бывали в «Вязах», хоть и не часто, и люди не близкие. Вот как описывает кабинет и его хозяина оказавшийся примерно в это время в Роттингдине автор «Истории английской литературы в викторианскую эпоху» доктор Келлнер: «Рабочий кабинет поражает своей простотой, по стенам книги, над дверью портрет Бёрн-Джонса, у окна самый обыкновенный письменный стол, на нем разбросаны вырванные из блокнота и исписанные стихами страницы. Никаких произведений искусства, никаких украшений, безделушек, своим убранством комната больше всего напоминает пуританскую часовню. „Свою ежедневную работу, — признается хозяин, — я выполняю добросовестно, но большинство из того, что я пишу, идет не в печать, а сюда“. И, словно в подтверждение правомерности сказанного, он наносит мусорной корзине мощный удар ногой, корзина падает, и из нее высыпаются на пол измятые клочки черновиков… К похвалам Киплинг относится с

большим недоверием: „К славе я отношусь скептически… Кто, скажите мне, читает сейчас некогда считавшихся бессмертными поэтов XVIII века? Я часто смотрю на все эти изысканные тома и думаю о том, что многое из напечатанного на роскошной бумаге не должно было увидеть свет…“ Киплинг производит впечатление совершенно счастливого человека, ведь он достиг высших целей. И при этом, что особенно ценно, еще живы его родители. „Им я обязан всем“».

Зима — весна 1898 года

Да, мужчин влекла она
Даже от Сент-Джаста,
Ибо Африкой была,
Южной Африкой была,
Нашей Африкой была,
Африкой — и баста![25]

Несмотря на то что зовущаяся «Южной Африкой» женщина была «не простой, не доброй и не верной» (neither simple, kind, nor true), что в переводе утеряно, а жаль: Киплинг словно предвидит, сколько трудов понадобится, чтобы ее завоевать; несмотря на то что в 1898 году Южная Африка не была еще «нашей» — Киплинг был как раз из тех мужчин, кого она влекла. Начиная с затянувшейся на три года Бурской войны он будет регулярно, из года в год, проводить там зимы с января по апрель. Поездка же 1898 года носит, так сказать, ознакомительный, пробный, испытательный характер.

В Южной Африке Киплинга ожидала долгожданная жара, ничуть не слабее лахорской, от которой он за последнее десятилетие, особенно после морозных, снежных вермонтских зим, успел уже отвыкнуть. Ожидали довольно скверный пансион в Уайнберге и его содержательница-ирландка, которая «за хорошие деньги, получаемые от нас, платила нам невзгодами и неудобствами». Ожидало, наконец, знакомство с двумя весьма примечательными персонажами, людьми «историческими», империалистами до мозга костей, причем не только, как Киплинг, по убеждениям, но и по роду деятельности.

Барон Альфред Милнер начинал журналистом в «Пэлл-Мэлл газетт», одно время был личным секретарем канцлера казначейства, в начале девяностых, подвизаясь помощником министра финансов по Египту, написал толковую книгу «Англия и Египет». С 1897 года Милнер — верховный комиссар королевы Виктории в Южной Африке, губернатор Капской колонии, оплота

британского владычества в этом взрывоопасном регионе, непримиримый и последовательный борец с бурами за самоуправление британских жителей колонии. В действиях Милнера была своя логика: для Капской колонии он требовал в конечном счете тех же гражданских и политических прав, какими африканеры пользовались в принадлежащем британцам Натале. Милнер исходил из того, что жители Южной Африки английского происхождения обеспечивали три четверти государственного дохода и платили в казну три четверти всех налогов — и при этом были так же бесправны, как какие-нибудь кафры или зулусы.

Сесил Джон Родс, с которым Киплинг сошелся особенно близко, в отличие от Милнера, предпочитал политике предпринимательство и благотворительность. Составив себе огромное состояние на добыче алмазов, он стал владельцем алмазных приисков, одно время разрабатывал амбициозный проект по строительству железной дороги через всю Африку, от Кейптауна до Каира. С 1890 по 1896 год Родс был премьер-министром Капской колонии и явился инициатором захвата обширной территории в Южной и Центральной Африке, ставшей еще одной колонией Великобритании — Родезией, то есть страной Родса.

И Милнер, и Родс, каждый по-своему, были сторонниками Англо-бурской войны, и тот и другой были убеждены, что буры всячески — и политически, и коммерчески, — ущемляют английское население Капской колонии, и Киплинг их точку зрения разделял. И Милнер, и Родс импонировали Киплингу деловитостью, трудолюбием, практической сметкой, отсутствием сантиментов.

Однако по-человечески Киплингу ближе был Родс. «Считается, что мы оба были отпетыми империалистами, — говорил Киплинг впоследствии издателю Артуру Гордону. — Что ж, так оно, возможно, и было. Сейчас это слово вышло из моды, и есть англичане, которые из слабости этого слова стыдятся. Я не стыжусь». Коммерсант посвящал писателю немало времени, возил его по своим плодовым фермам, которыми очень гордился, а в марте, после окончания второй матабельской войны[26], отправил писателя «на экскурсию» в Южную Родезию, где Киплинг, большой, как мы уже знаем, любитель велосипедных прогулок, побывал на реке Лимпопо и в столице Булавайо — если сотню-другую лачуг из тростника вдоль дороги можно назвать столицей. Впоследствии, уже после Англо-бурской войны, Родс построил в одном из своих поместий усадьбу в голландском колониальном стиле «Хроте схюр» («Большой сарай»), которая предназначалась для одного из первых в истории «домов творчества» — Киплинги

зимовали там несколько лет подряд.

В автобиографии Киплинг вспоминает ежегодное плавание с детьми и гувернантками на пароходе в Кейптаун, празднование Рождества неподалеку от экватора, «когда забывалось обо всем на свете», бал-маскарад под Южным Крестом. Вспоминает, как при приближении к Кейптауну, когда на горизонте показывалась «приветливая, хорошо знакомая» Столовая гора, убирались в чемоданы ненужные уже теплые вещи. Как по приезде дети первым делом бежали в сад посмотреть, что произошло за время их отсутствия. Как Кэрри с детьми отпаивали, точно младенца, молоком из бутылочки больного львенка… Одним словом, в Южной Африке жизнь Киплинги вели на зависть беззаботную.

Когда Киплинги приехали в Трансвааль в третий раз, в начале января 1901 года, Родс приготовил им сюрприз — специально для них построенный и обставленный коттедж у подножия Столовой горы, прямо под Дьяволовым пиком, через лес от «Большого сарая». В «Вулсэке» («Мешок с шерстью»), как назвали Киплинги свой южноафриканский дом, переиначив имя предыдущего владельца поместья Вулса-Сэмпсона, дописывались, как уже говорилось, «Просто сказки»: сначала Киплинг рассказывал их детям, потом записывал, потом читал записанное вслух: писатель ждал от детей предложений по содержанию и вместе с ними рисовал к сказкам картинки.

В «Вулсэке» постоянно толпился народ — взрослые и дети с окрестных ферм. Бывали, впрочем, гости и непрошеные. Некий безумец долгое время, по непонятным причинам, преследовал Киплинга, отправился вслед за ним в Южную Африку, заявился ночью в «Вулсэк», угрожал хозяину дома револьвером (история, описываемая Кеем Робинсоном, повторилась), но тот его заговорил, напоил виски и уложил спать. Спустя много лет этот же сумасшедший выследил Киплинга в Лондоне и выстрелил в него, когда тот выходил из «Атенеума», но, по счастью, угодил не в писателя, а прямиком в психушку.

В «Вулсэк» Киплинги будут приезжать каждую зиму вплоть до 1908 года. Вот только Родса, которого младшие Киплинги почему-то звали «доктор Джим», в «Большом сарае» уже не будет: в том же 1901 году он вернулся в Англию и спустя год умер. «С тех пор как вы уехали, — писал ему в 1901 году Киплинг, — в этих местах стало ужасно одиноко. Жить здесь без вас все равно, что любоваться пейзажем, где отсутствует половина горизонта».

Человеком Родс был увлекающимся, впечатлительным и в то же время замкнутым, немногословным, а порой и косноязычным. «Он использовал меня в качестве поставщика слов, — вспоминал Киплинг. — После того как ему не без труда удавалось донести

до меня самый общий смысл своих благотворительных идей, он обыкновенно говорил: „Что я хотел сказать? Сформулируйте“. Я формулировал, и если фраза ему не нравилась, он, упрямо опустив голову и уперев подбородок в грудь, принимался ее исправлять». Немногословность сочеталась у Родса с деловитостью, жесткостью и прямотой. Посетителям, которые приезжали с ним увидеться, в «Большом сарае» отводилась отдельная комната, где они останавливались в ожидании беседы с хозяином. Аудиенция, как правило, продолжалась считаные минуты: «Вы такой то? По какому делу?» Короткой беседы приходилось порой ждать — впрочем, в прекрасных условиях — по нескольку дней: Родс подолгу отсутствовал или же, жалуясь на сердце, лежал на своей выложенной мрамором веранде, обращенной к Столовой горе, и никого не принимал. Однажды, вспоминает Киплинг, во время матабельских войн, Родс со своими спутниками скрылся в пещере от гнавшихся за ним разъяренных матабеле. Стоило проводнику из лести заикнуться, что главное сейчас спасти «драгоценную жизнь» Родса, как тот резко его осадил: «Скажи уж лучше, что хочешь спасти собственную шкуру!»

Родс любил ошарашить собеседника неожиданным вопросом. «О чем мечтаете?» — спросил он однажды Киплинга, который, не растерявшись, сделал филантропу комплимент: «Моя мечта воплотилась в вас». И Киплинг не кривил душой. В Родсе он видел не столько империалиста, присоединяющего к империи новые земли, сколько «цивилизатора», образцового носителя «бремени белого человека». При жизни главными достижениями Родса стали железные дороги в Родезии, фермы в Южной Африке и телеграфные столбы от Кейптауна до Каира, а после смерти, в соответствии с его завещанием, — стипендии для обучения в Оксфорде молодых людей из колоний Британской империи. Стипендии сохранились по сей день, вот только нет уже ни колоний, ни Британской империи. Последними словами Родса якобы были: «Так мало сделано — так много предстоит сделать», а на его надгробии выбиты строки высоко ценившего его Редьярда Киплинга:

Мечтатель истовый.
Он духом проникал
В пределы
Нам недоступные.

Глава десятая «И В СЕРДЦЕ ВСТУПАЕТ ТЬМА»

Тьма вступила в сердце уже летом, вскоре после возвращения из Южной Африки. 17 июня 1898 года в Лондоне скоропостижно умирает сэр Эдвард Бёрн-Джонс, дядя Нед. «Для меня, — писал Киплинг, — он значил больше, чем любой другой человек. Всякий раз, когда он приезжал сюда (в Роттингдин. — А. Л.), жизнь моя менялась». Хотя сказанное выглядит некоторым преувеличением, как это часто бывает, когда мы оцениваем только что ушедшего из жизни близкого человека, дядю и племянника и в самом деле связывали близкие отношения еще с тех пор, как маленький Радди переводил в Грейндже дух после нападок тетушки Розы и ее сына. Блестящий художник, ниспровергатель обветшалых эстетических канонов английской живописи позапрошлого века, в быту Бёрн-Джонс был человеком тихим, мягким, покладистым, молчаливым и, как и его племянник, на редкость чадолюбивым. Сам очень привязанный к детям, и не только к своим собственным, Киплинг не мог этого не ценить.

Второй удар постиг Киплинга и всю его семью осенью того же года во время работы над стихотворением «Бремя белого человека» и подготовкой к печати рассказов, написанных еще в Вермонте и собранных в сборник «Труды дня». Событие, которое обещало быть радостным, обернулось трагедией. Из Индии, где они прожили много лет, вернулись в Англию сестра Трикс с мужем. Трикс и раньше была излишне впечатлительна, нервна, возбудима, что, впрочем, составляло ее особую прелесть: в светском обществе Симлы она считалась первой леди. Теперь же всегдашняя ее впечатлительность переросла в отрешенность, а отрешенность — в психическое расстройство. Молодая женщина на много часов выпадала из жизни, пока, в конце концов, окончательно не тронулась умом. Начиная с декабря 1898 года Алиса-младшая безвыездно жила в Тисбьюри под присмотром матери, на которую и обаянием и остроумием так в свое время походила…

Возможно, именно болезнь сестры заставила Киплинга пересмотреть свои планы. В Африку, как год назад, решено было, причем в самый последний момент, не ехать. Вместо четырех-пяти месяцев у Родса в «Большом сарае» они проведут в начале 1899 года месяц-другой, никак не дольше, в Америке. Кэрри давно уже хотелось повидаться с престарелой матерью и недавно вышедшей замуж младшей сестрой, Редьярду же предстояло, как

всегда в Нью-Йорке, решать правовые вопросы.

Зимой в Северной Атлантике дуют шквальные ледяные ветры, и ничего удивительного, что в дороге обе дочери сильно простудились. А ведь свекровь предупреждала Кэрри, что с поездкой в Америку лучше дождаться весны, но непреклонная Кэрри настояла на своем. На нью-йоркской таможне, где Киплингов продержали не меньше двух часов, и без того больных уже детей продуло, и в отель «Гренобль» на 56-й Восточной улице, где путешественников ждали их старые друзья Де Форесты, а также мать Кэрри и ее сестра с мужем, врачом Тео Данхэмом, Джозефин и Элси приехали совершенно больными; у обеих начинался коклюш, врачи прослушивали хрипы в легких. Вслед за детьми с высокой температурой слегла и Кэрри, а тут еще прибывший из Брэттлборо (как вскоре выяснится, очень кстати) доктор Конланд сообщил, что Битти Бейлстир сделал официальное заявление: он вчиняет свояку иск на 50 тысяч долларов за злонамеренное судебное преследование трехлетней давности.

Спустя несколько дней Кэрри поправилась, да и детям заметно полегчало; 20 февраля 1899 года в Нью-Йорке потеплело, бушевавшая несколько недель пурга улеглась, и Киплинги даже вывезли детей в Центральный парк. Сам же Киплинг поспешил по делам, которых набралось немало. Первые два, безусловно, приятные: его ждали в дружественном издательстве «Даблдей-Макклур». Кроме того, в Нью-Йорке вот-вот должен был выйти долгожданный том его путевых очерков «От моря до моря» — правовые вопросы с «Пионером» Уотт уладил. Годом раньше Фрэнк Даблдей выпустил двенадцатитомное собрание сочинений Киплинга, куда не вошли его ранние произведения, полное же собрание сочинений в «Скрибнерс» застопорилось: Джон Локвуд тянул с иллюстрациями, вдобавок на многие произведения Скрибнер еще не приобрел прав, что также должно было стать предметом переговоров. Главным же делом Киплинга в Нью-Йорке был судебный процесс против издательства «Патнэм», которое решило, опередив Скрибнера и не выкупив прав, выпустить «альтернативное» собрание сочинений писателя.

Все, что произошло за последующие две недели, между 20 февраля и 6 марта, и отразилось на всей дальнейшей жизни семьи, укладывается в скупой бюллетень, известный нам по дневнику Кэрри, а также из записей неотлучно присутствовавшего при миссис Киплинг Фрэнка Даблдея.

20 февраля. Киплинг возвращается из издательств в отель «Гренобль» с высокой температурой.

21 февраля. Тео Данхэм ставит диагноз: воспаление правого

легкого. Приглашается известный нью-йоркский пульмонолог Джейнвей. Консилиум. К больному приставлена ночная сиделка.

22 февраля. Киплинг в сознании. «Хорош и терпелив. Много спит. Друзья помогают, не оставляют в беде», — записывает Кэрри в дневнике. У шестилетней Джозефин меж тем высокая температура, сильнейший озноб.

23 февраля. Джозефин перевозят из «Гренобля» к Де Форестам на Лонг-Айленд. Кэрри остается в «Гренобле» — ухаживает за мужем, за больными коклюшем младшими детьми, трехлетней дочерью и полуторагодовалым сыном; исправно снабжает репортеров ежедневными бюллетенями о состоянии здоровья своего знаменитого супруга. Ей помогает Фрэнк Даблдей; это он в основном «обслуживает» журналистов — в холле отеля каждый день собирается не меньше десяти — пятнадцати представителей местной прессы.

24 февраля. Кэрри нанимает к Элси сиделку: у девочки также подозрение на пневмонию. Данхэм и Джейнвей не отходят от постели Киплинга; он без сознания, бредит. Доктор Конланд — у Де Форестов, неотлучно при Джозефин. Многие газеты мира сообщают информацию о состоянии здоровья писателя. Седьмая авеню возле «Гренобля» запружена людьми, многие стоят у входа в отель на коленях и молятся. Газеты сообщают, что воспаление с правого легкого перекинулось на левое. Врачи оценивают положение как серьезное. Кислородная подушка.

25 февраля. Дыхание затруднено. Из медицинского бюллетеня следует, что «исход заболевания вызывает немалые опасения».

25–26 февраля. Больной в бреду: громко сетует, что так и не встретился со Стивенсоном, воображает, будто плывет под парусом с Конландом, скачет по азиатским степям в кавалерийском полку, возмущается, что судья не отпускает его под залог.

27 февраля. От врачей поступает малоутешительная информация, но «надежда еще остается» — фраза особого оптимизма не внушает.

28 февраля. Рецидив. После полуночи температура падает; больной перестает бредить, приходит в себя и на несколько часов забывается крепким сном.

1 марта. Врачи со сдержанным оптимизмом готовы признать, что «наступило некоторое улучшение» и что «непосредственной угрозы для жизни больного больше нет».

4 марта. Киплинг чудовищно слаб, но опасность, судя по всему, миновала.

4–5 марта. Начинают поступать письма и телеграммы со всех

концов света. Пишут родители и друзья из Англии. Пишут лорд Дафферин и Теодор Рузвельт, Джордж Мередит и Генри Ирвинг, Конан Дойл и Бирбом Три, Мэри Корелли и Марк Твен, Райдер Хаггард и Сесил Родс, лорд Керзон и Джон Рёскин. И даже немецкий кайзер. «Все это время мы боялись вздохнуть. Вы побывали на Луне, откуда уверенно спустились на землю, освещенный холодным лунным светом. На вас были направлены все бинокли и подзорные трубы, какие только существуют в мире. И спустились вы по трапеции своего неподражаемого гения!» — писал, как всегда несколько витиевато, но с неподдельным чувством Генри Джеймс.

5 марта. Кэрри впервые оставляет мужа на сиделок и едет на Лонг-Айленд к Де Форестам навестить Джозефин. Помимо двустороннего воспаления легких у девочки дизентерия. Из дневника Кэрри: «Сегодня видела Джозефин трижды: утром, днем и, последний раз, в 10 вечера. Она пришла в сознание и еле слышно прошептала: „Папочке и всем — привет“».

6 марта. В 6.30 утра Джозефин умирает.

Киплинг еще так слаб, что врачи запрещают сообщать ему о смерти дочери и даже, на всякий случай, писать об этом в газетах. Трогательная деталь: когда Кэрри вернулась к мужу в «Гренобль» после похорон дочери, она накинула на черное траурное платье красную шаль, чтобы Киплинг ничего не заподозрил. Когда отец узнал о смерти любимой дочери — неизвестно. Зато известно, от кого. Эту тяжкую ответственность взял на себя все тот же безотказный Фрэнк Даблдей. «Это была самая мучительная обязанность, которую мне приходилось выполнять, — вспоминал впоследствии он. — Но сделать это было необходимо. Я подсел к его изголовью и изложил ему то, что произошло, в нескольких словах. Он молча слушал, не перебил ни разу, а когда я кончил, повернулся лицом к стене».

Трудно сказать, сумел ли Киплинг в оставшиеся ему почти сорок лет жизни пережить эту потерю. Едва ли. Сдержанный, молчаливый, погруженный в себя, он, по словам его знавших, с весны 1899 года сделался еще более сдержан, еще более замкнут, а в последние годы жизни и просто нелюдим.

Только в мае, спустя почти три месяца после начала болезни, Конланд оповестил журналистов, что Киплинг поправился окончательно, но категорически запретил другу проводить зиму в Англии. В начале июня, прячась от репортеров за спинами провожавших их друзей, Киплинги навсегда простились с Соединенными Штатами и в сопровождении Фрэнка Даблдея с женой 24 июня прибыли в «Вязы». Возвращение, понятно, было невеселым. «Вернуться в „Вязы“ оказалось куда труднее,

мучительнее, чем они себе представляли, — писал Джон Локвуд Киплинг в Америку Салли Нортон. — Дом и сад полнился воспоминаниями о погибшей дочери, и бедный Редьярд признался однажды матери, что видит ее, когда вдруг открывается дверь в комнату или когда у стола стоит пустой стул. Ее прелестный, сияющий лик проступал в зелени сада». Родители так и не нашли в себе сил говорить о Джозефин: Кэрри и Редьярд глухо молчали о происшедшем несчастье.

В Роттингдине меж тем за эти полгода произошли кое-какие изменения.

Во-первых, у Киплинга появилась профессиональная, можно даже сказать, высокопрофессиональная секретарша Сара Андерсон, до Киплинга она работала секретарем у таких знаменитостей, как Джон Рёскин, леди Ритчи и, наконец, Бёрн-Джонс, от которого она к Киплингам и попала. До этого времени услугами секретарши Киплинг не пользовался никогда; эту обязанность, среди прочих, исполняла Кэрри.

Во-вторых, писатель завел автомобиль, пока, правда, не собственный, а взятый напрокат. В последующие сорок лет жизни писателя автомобиль, уже собственный, а не съемный, стал его неотъемлемой частью, потеснил любимый велосипед. В первом таком автомобиле, а вернее, локомобиле на пару американского производства Киплинг в сопровождении «инженера» (то бишь шофера) и Кэрри неутомимо разъезжал по Суссексу в поисках нового дома. Однажды, где-то в суссекской глуши, автомобиль вдруг заглох и, несмотря на все усилия водителя Лоуренса, с места так и не сдвинулся. Киплинг вышел из машины, прошелся взад-вперед по дороге, потом посмотрел на жену и изрек: «Кэрри, дорогая, что может быть лучше американских женщин! Женщин — но не автомобилей!» Эти автомобильные поездки, непредвиденные остановки в пути, ремонт прямо на дороге, в котором писатель, надо сказать, всегда принимал посильное участие (очень уж любил технику!), описывались потом во многих его поздних рассказах. Сочинялись на эту тему и шуточные стихи вроде серии поэтических пародий «Муза среди моторов», публиковавшихся в начале 1900-х годов в лондонской «Дейли мейл».

В-третьих, Киплинг, человек, как мы знаем, замкнутый и исключительно скромный, начинал тяготиться своей национальной славой — и в этом смысле тоже новый дом был совершенно необходим. Особняк «Вязы», помимо того, что он навевал грустные воспоминания, находился на проходившей через Роттингдин оживленной дороге из Лондона в курортный Брайтон, и перед домом знаменитого писателя постоянно

толпились непрошеные, но от этого ничуть не менее восторженные почитатели, следовавшие из столицы на морской курорт. Искусствовед и биограф Льюис Хайнд вспоминает, как он проезжал в направлявшемся в Брайтон туристском омнибусе через Роттингдин. «Достопримечательность номер один! — выкрикнул добровольно взявший на себя роль гида кондуктор, когда они миновали белый дом с садом за высоким, увитым плющом забором (которым Редьярд и Кэрри безуспешно пытались отгородиться от мира). — Если вы встанете со своих мест, леди и джентльмены, то увидите, как на порог своего дома поднимается в широкополой шляпе прославленный сочинитель». Леди и джентльмены не только вставали со своих мест и вытягивали шеи, дабы вживе лицезреть великого человека, но и, если омнибус останавливался, срывали с забора плющ на сувениры.

«Приватность» Киплинга защищал не только высокий забор, но и местная знаменитость, знавшая в Роттингдине всех и вся — некая миссис Ридсдейл. Когда турист спрашивал ее, не знает ли она, где живет мистер Редьярд Киплинг, почтенная дама отвечала вопросом на вопрос: «А вы что-нибудь этого автора читали?», и если ответ следовал отрицательный, миссис Ридсдейл говорила: «Тогда я вам не скажу» — и как ни в чем не бывало удалялась с высоко поднятой головой.

В-четвертых, у Киплинга в кабинете висел теперь рядом с портретом покойного Бёрн-Джонса, на который обратил внимание доктор Келлнер, его собственный портрет кисти младшего Бёрн-Джонса, Фила; ныне портрет этот, лучший из всех изображений Киплинга, находится в лондонской Национальной портретной галерее. «Гладкая лысина мне, конечно, чести не делает, — заметил как-то Киплинг об этом портрете, — но вдумчивый вид и брюшко бесспорны — от них никуда не деться».

Киплинг испытание славой выдерживал без особого труда — его более чем сдержанное отношение к почестям нам известно, а вот его муза страдала довольно сильно. «Прохвоста и компанию» он вряд ли дописал бы в «Вязах» — для этого пришлось на некоторое время скрыться в Шотландии, где в доме сталелитейного магната Эндрю Карнеги писатель в октябре завершил, наконец, сборник историй из жизни своего колледжа, про который Сомерсет Моэм однажды в сердцах заметил: «Более отвратную картину школьной жизни невозможно себе представить».

С таким вердиктом трудно согласиться: девять вошедших в этот сборник рассказов, веселых, искрящихся юмором и выдумкой эпизодов из жизни закрытой школы Сандхерст — точной копии Юнайтед-Сервисез, пронизаны острой ностальгией по школьным

годам, школьным проделкам и, что бывает значительно реже, по школьным наставникам. Несмотря на комическое, порой карикатурное, но никак не «отвратное» обличье выведенных в «Прохвосте» учителей, читатель этой смешной, отлично написанной книжки ни на минуту не усомнится в том, какие теплые чувства Киплинг питал — и сохранил — к преподавателям Юнайтед-Сервисез, выведенным в сборнике под вымышленными именами Главы, Короля, Гордеца, Хитреца, преподобного Джона. Эти люди, дает понять автор, хоть и были порой смешны и нелепы, но отличались скромностью, преданностью делу и изо всех сил старались, как сказано в поэтическом эпиграфе к сборнику, «Здравый смысл нам преподать, / Тот, что больше знаний».

Вопреки нескончаемым проделкам Прохвоста, Индюка и Жука, которые то втихаря курят в своей «пещере», то проваливают школьную постановку «Волшебной лампы Аладдина», «перенасыщенной местными аллюзиями», то издеваются над школьным капелланом — наивным и недалеким начетчиком, то куражатся над заезжим «нравственным реформатором», читавшим в колледже лекцию о патриотизме, — в Сандхерсте царит на редкость теплая атмосфера единодушия, отличающая весь уклад этой закрытой школы. Не случайно же «Прохвоста и компанию» Киплинг посвятил бывшему директору закрытой школы Юнайтед-Сервисез, своему другу Кормеллу Прайсу.

Последнее, что Киплинг сочинил в этом, таком тяжелом для него году, была запись в дневник жены, которую писатель регулярно делал в канун Нового года. Всего пять слов: «Своей жизнью я обязан Кэрри».

1899 год кончался так же плохо, как и начался. 6 октября из печати вышла книга «Прохвост и компания», а пятью днями позже, 11 октября Англия объявила войну Трансваалю и Оранжевому свободному государству.

Глава одиннадцатая «ДЕНЬ-НОЧЬ-ДЕНЬ-НОЧЬ — МЫ ИДЕМ ПО АФРИКЕ…»

«…У него были такие широкие плечи и короткая шея, что не сразу бросалось в глаза, что он ниже среднего роста. На голове у него красовалась широкополая, плоская коричневая шляпа, какие носят буры, он носил короткий бежевый пиджак и такого же цвета длинные брюки. Мощная фигура, передвигается быстро, как пантера, а говорит еще быстрее. Ходит, раскачиваясь, с высоко поднятой головой, шляпа сдвинута на затылок, чтобы не мешала смотреть вверх — кажется, будто при ходьбе он сверлит глазами небо. Лицо под стать телу: круглое, широкое, глаза большие, взгляд напряженный. Глаза — первое, на что обращаешь внимание: огромные зрачки, а над ними дуги необычайно густых черных бровей. Обычно взгляд этих глаз трезв и задумчив, но бывает, в них вдруг вспыхнут озорные искорки, или, наоборот, взгляд становится тусклым и непроницаемым».

Таков выразительный словесный портрет тридцатипятилетнего Редьярда Киплинга — редактора выходившей в Блумфонтейне военной газеты «Друг». Портрет, написанный его коллегой, американцем Джулианом Ральфом, корреспондентом лондонской «Дейли мейл» в Южной Африке.

Но в редакции газеты, куда Киплинга пригласил сам главнокомандующий английскими войсками лорд Робертс, писатель работает, вернувшись в профессию спустя без малого двадцать лет, лишь с середины марта 1900 года. Война к этому времени длится уже шесть месяцев и складывается для империи, где «никогда не заходит солнце», на редкость неудачно. В первые же дни боевых действий бурами окружены Мафекинг на севере и Кимберли на западе (в осажденном противником Кимберли оказался сам Сесил Родс); на севере провинции Наталь, в Ледисмите, в окружение попала крупная группировка британских войск. Декабрьское контрнаступление англичан под командованием генерала Буллера провалилось; особенно же ощутимыми были поражения Буллера под Коленсо, а также в Натале, под Спион-Коп. Буры, прирожденные охотники и воины, метко стреляли и прекрасно знали местность, нанося противнику неожиданные удары с тыла. Британские войска несли громадные потери. Пришлось в срочном порядке вызывать из метрополии резервистов и менять командование: Буллера сменил Фредерик Сли Робертс, одержавший немало побед в Индии, где он жестоко расправлялся с восставшими сипаями, а также в Абиссинии,

Бирме и Афганистане.

Весь мир злорадствовал и ликовал: самая мощная армия на свете не может справиться с горсткой отважных и самоотверженных африканеров. Президент Трансвааля Пауль Крюгер стал живой легендой.

«Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне», — распевали по всей Европе, и сотни сорвиголов — французов, русских, немцев, шведов — устремились в далекую Африку сражаться с англичанами за правое дело.

Киплинг, как не трудно догадаться, поет совсем другие песни. Для него правое дело — не поддерживать дерзких буров, а проучить их, присоединить к империи строптивые Трансвааль и Оранжевую республику, вернуть права бесправным соотечественникам. Крюгер для него — не борец за свободу, а душитель этой самой свободы.

Давно забытое рабство, поникшее сердце,

стреноженный мозг,
На все, ради чего умирали наши отцы,
он вновь
накинет удавку.

Так писал Киплинг в патриотическом стихотворении «Давняя тема», опубликованном в «Таймс» 29 сентября 1899 года, за две недели до объявления войны. Когда же война была объявлена, писатель в очередной раз подтвердил, что слова у него не расходятся с делом. В Роттингдине он формирует роту добровольцев, открывает на свои деньги тир, где молодые люди учатся стрелять по мишени с дальнего расстояния, устраивает — и тоже на свои деньги — соревнования по стрельбе. В это же время писатель начинает собирать средства в Фонд солдатских семей, пишет стихотворение «Рассеянный нищий» с призывом давать деньги на войну, которое Артур Салливен, популярный автор комических опер, кладет на музыку, в результате чего в благотворительном фонде «Рассеянного нищего» вскоре собралось почти четверть миллиона фунтов. И, в довершение всего, отказавшись принять рыцарское звание («Без него я буду трудиться только лучше»), 20 января 1900 года отплывает в Кейптаун.

«Такой газеты, как „Друг“, больше не будет, — напишет Киплинг о блумфонтейнском военно-пропагандистском издании, выходившем по инициативе лорда Робертса с марта 1900 года, где писатель, как в свое время в лахорской „Гражданской и

военной газете“, был одновременно и редактором, и корректором, и автором сатирических антибурских стишков, и военным корреспондентом. — И сотрудников таких тоже не будет. Негде больше взяться таким отличным ребятам». С «отличными ребятами» — уже упоминавшимся Джулианом Ральфом, Персевалом Лэндоном из лондонской «Таймс», Беннетом Бэрли из «Дейли телеграф», Хью Гуинном, представлявшим телеграфное агентство «Рейтер», — Киплинг сошелся так близко, что вскоре после открытия «Друга» основал при газете клуб «Дружественный». В «Дружественном» корреспонденты за ужином обсуждали увиденное, услышанное и обменивались информацией и мнениями — не всегда, впрочем, дружественными.

Между тем деятельность Киплинга в военное время работой в газете не ограничивалась. «Солдатский поэт», он регулярно посещает санитарные поезда и военные госпитали, беседует с ранеными, пишет под их диктовку письма близким, угощает их выпивкой и прессованным табаком, читает вслух, если его очень попросят, свои баллады для поднятия боевого духа, ухаживает, не боясь заразиться, за тифозными больными, выезжает в действующую армию, что для него внове — в Индии он в боевых действиях не участвовал ни разу. По возвращении же в Англию в апреле того же 1900 года открывает у себя в Роттингдине, помимо тира, тренировочный зал для будущих защитников отечества: в Африке он не раз становился свидетелем плохой физической и боевой подготовки британских солдат и офицеров.

Как мы видим, Киплинга трудно обвинить в бездействии, в отсутствии патриотизма, да и странно было бы, если б человек его взглядов устранился, скрывшись в башню из слоновой кости. Однако одно дело — верность долгу, другое — чувства и размышления. Чем дольше писатель находится в Африке, на театре военных действий, тем меньше гордости за доблестные английские войска он испытывает, тем больше ему «за державу обидно», да и людей жалко. Война, которая виделась ему из Лондона, мало походила на ту войну, которую он увидел вблизи. В этом смысле Киплинг-военный корреспондент очень напоминает Толстого и Хемингуэя: в описании военных действий у него, как и у них, на первый план выступают абсурдность, полнейшая непредсказуемость, чудовищные нелепость и бестолковщина войны. Вот что он скажет об этой войне — и вообще о современной войне — спустя десять лет, 27 декабря 1913 года, корреспонденту «Литерари дайджест»:

«В Индии я наблюдал мало, очень мало боевых действий. В основном я писал с чужих слов. Зато в Южной Африке я войну повидал, насмотрелся на нее как следует. Прежде чем ехать на

эту войну, я сказал себе: „Увижу схватки, наступления и отступления и вдохновлюсь. Увижу атаки, выстрелы, услышу зычные, хриплые команды — и в оцепенении замру в мертвой тишине, обычно наступающей перед сражением“. Но какое разочарование! Тишина перед сражением больше напоминала хладнокровное молчание хирургов и медсестер перед входом в операционную. Никто не несся галопом на взмыленном коне и не падал без сознания, вручив генералу давно ожидаемую депешу. Да и сам генерал сидел не в седле своего скакуна, а в уютной палатке за раскладным столиком. Откуда-то издалека слышалось стрекотание пулемета, кто-то вручил генералу вместо послания смятый листок бумаги. Он пробежал глазами написанное, выпил чаю и сказал: „Что ж, недурно, недурно. Все идет так, как я и предполагал. Отбейте Бинксу каблограмму, чтобы подтянул батарею“.

Из-за всей этой обыденности, четкости, продуманности, из-за современных средств ведения войны мясорубка, которая начнется следом, будет еще более чудовищной. Вы ведь не знаете заранее, что произойдет, не знаете, как произойдет, — вы просто глядите на изуродованных мертвецов, слышите истошные крики раненых, и те и другие представляются вам случайными, ни в чем не виноватыми свидетелями, которые по чистой случайности угодили под колеса этой мощной военной машины, которая смяла их и растоптала».

Оттого, что люди — и англичане, и буры — стали жертвой современной военной машины, писатель конечно же не поменял своих проимперских взглядов, однако к отлично воевавшим бурам Киплинг, всегда умевший ценить мужество и самоотверженность, свое отношение изменил. Особенно высоко ценил он немолодых африканеров-добровольцев, прекрасных стрелков и всадников, отличавшихся благоразумием, предусмотрительностью и осторожностью.

Хотя Киплинг вспоминает и о досадном эпизоде у местечка Саннас-Пост, где угодил в засаду цвет британской армии и где буры, уничтожившие более 1200 англичан и захватившие несколько орудий, «действовали мастерски», и о сражении при Кари-Сайдинге, в котором участвовали — в качестве наблюдателей, разумеется, — все сотрудники «Друга», — его куда больше интересует война, которая ведется не на поле боя. Он не без юмора описывает, как жители Блумфонтейна, убежденные, что «на город наступают восемьдесят тысяч буров», атакуют военного цензора лорда Стэнли, стремясь отправить телеграммы друзьям и родственникам в Кейптаун. Когда один из них подал лорду Стэнли безобидную телеграмму «Погода здесь

переменная», тот, заподозрив, что речь в телеграмме идет вовсе не о погоде, телеграмму уничтожил, а ее подателя приказал задержать. Пишет Киплинг и о том, как военная цензура преуменьшала число погибших и раненых после решающего сражения при Паардберге в феврале 1900 года. Вместо двух тысяч убитых называлась цифра вдвое меньшая, чтобы «уберечь английскую публику от потрясения». У Киплинга же задача была прямо противоположная — «встряхнуть» английскую публику, свято верившую в силу британского оружия и британского миропорядка. Пафос киплинговских стихов, рассказов, писем тех лет в том и состоит, что сила британского оружия сильно преувеличена, порядка же в армии нет и в помине.

В высоком уровне смертности в войсках, считает Киплинг, повинны не столько буры, сколько «наши полнейшая беззаботность, бюрократизм и невежество». В книге «Немного о себе» мы читаем впечатляющее описание дизентерийных палаток, «вонь от которых еще отвратительнее, чем смрад мертвечины», причем дизентерию принесли с собой англичане — на этой «просторной, иссушенной солнцем земле», подчеркивает Киплинг, болезнь эта никогда не водилась. Размышляя о том, почему тысячи людей в Блумфонтейне заболели брюшным тифом, он пишет, что собственными глазами видел, как «батарея конной артиллерии, мертвецки пьяная, прибыла в полночь под проливным дождем, и какой-то болван… разместил ее в здании эвакуированной тифозной больницы. Результат — тридцать заболеваний в течение месяца». Видел, как солдаты пьют сырую воду из реки Моддер, в нескольких ярдах ниже по течению от того места, где мочились мулы. «Выбор мест для уборных, — язвительно замечает писатель по этому поводу, — и их строительство, судя по всему, считалось занятием не для белого человека». Англичане в Южной Африке с «бременем белого человека», каким представлял его себе Киплинг, и в самом деле справлялись неважно.

Примечательны в этом отношении два письма Киплинга доктору Конланду в Америку — они представляют собой квинтэссенцию впечатлений и размышлений писателя о Бурской войне, о том, насколько империя, завоевавшая полмира, оказалась к ней не готова. Первое написано в июле 1900 года в Роттингдине, второе — 20 февраля 1901 года в Кейптауне, во время второй «зимовки» Киплингов в Южной Африке, когда до конца войны оставался еще год с лишним.

«Как ты знаешь, — говорится в первом письме, — мы отправились на зиму в Южную Африку (в Кейптаун), а там именно в это время началось нечто вроде маленькой войны,

доставившей мне массу удовольствия. Кэрри и дети жили в Кейптауне, а я тем временем колесил по стране, вдоволь нагляделся на госпитали и раненых, на пушки и на генералов. Какая же это огромная страна, подумал я, и как же здесь все интересно! Особенно интересно было наблюдать за теми, кто застрял в Кимберли во время осады. Эти люди сразу бросались в глаза: стоило им услыхать вдалеке погромыхивание кейптаунского трамвая, как они начинали пугливо озираться по сторонам, где бы спрятаться, — им казалось, что приближается не трамвай, а снаряд, который вот-вот разорвется. Поначалу я сдуру над ними посмеивался, но теперь, после того как сам попал под обстрел и услышал свист осколков за спиной, смеяться перестал. Война, что ни говори, странная штука, это нечто среднее между покером и воскресной школой. Иногда верх берет покер, иногда воскресная школа — но чаще все же покер. Буры бьют нас почем зря, мы же обращаемся с ними бережно, точно полиция с уличными манифестантами — не дай бог кого-нибудь ненароком задеть или поранить. Они шпионят за нами, сколько им вздумается, когда же им хочется перевести дух, они сдают нам свои допотопные охотничьи ружья и уверяют, что являются законопослушными гражданами. После чего расходятся по домам, отдыхают не-делю-другую, а потом, справив новый пиджак и наевшись досыта, вновь выходят на тропу войны».

«Война тем временем продолжается, — говорится во втором письме. — Фронт растянулся на две тысячи миль в ширину и примерно на тысячу в глубину. Воюют буры отлично. Они держатся небольшими группами, внезапно нападают, грабят и исчезают, в наступление же переходят только в тех случаях, когда наша пехота проявляет особую беспечность. Пленных они брать не могут: им негде их держать; своей тактикой они очень напоминают апачей. Но они не тужат: крадут и у друзей, и у врагов и пользуются всеми благами своей тучной земли. В жизни не видел ничего более смешного, чем эта война. В Кейптауне полно повстанцев, а между тем это единственный город в стране, где не действуют законы военного времени. За помощь противнику можно заработать „целых“ двенадцать месяцев тюрьмы, а если взорвать железнодорожное полотно, то дать могут до полугола. А мы еще удивляемся, что война никак не кончается. Буры не скрывают своей цели. Они хотят сбросить англичан в море и править Южной Африкой с помощью пушек, а не посредством избирательной урны. Надо быть наивными лондонцами, чтобы утверждать, будто Трансвааль сражается за свою независимость; здесь же, в Африке, обе стороны прекрасно понимают: война идет за то, какому народу владеть этой землей».

Легкомысленный, порой даже ернический тон писем («нечто вроде маленькой войны», «война — нечто среднее между покером и воскресной школой», «в жизни не видел ничего более смешного, чем эта война») не должен вводить в заблуждение. В этих письмах намечены основные тезисы того, что Киплинг и как журналист, и как поэт, и как прозаик пишет об Англо-бурской войне. Их, этих тезисов, собственно, всего два. Во-первых, мы, англичане, плохо подготовлены, беспечны и в отношении к противнику преступно мягкотелы. Особой «мягкотелостью», скажем от себя, англичане, как известно, и в этой войне, и в других особо не отличались — чего стоят одни концлагеря для мирного населения, в которых умерли от голода и болезней многие тысячи африканеров. Во-вторых, буры, напротив, подготовлены отлично, хитры, коварны, жестоки, ведут на манер индейцев продуманные партизанские действия, противостоять которым британские регулярные части не в силах.

Об этом же — писавшиеся в те годы стихи и рассказы; и те и другие, надо признать, качества не самого высокого. В «Друге» в самом начале войны были напечатаны стихи Киплинга о героизме ирландских солдат — и приурочены, понятное дело, ко Дню святого Патрика. Беннет Бэрли вспоминает, как Киплинг сочинял эти стихи на обратном пути с линии фронта в Блумфонтейн: «Бубнит что-то себе под нос с отрешенным видом, точно Роберт Бернс».

В мае 1900 года, вскоре после возвращения из Южной Африки, Киплинг пишет довольно слабый рассказ «Бюргер Свободного государства», где ополчается против «двуликих Янусов» из Блумфонтейна — тех, кто старался угодить и вашим (англичанам) и нашим (африканерам). Этот рассказ он, по обыкновению, прежде чем печатать, прочел вслух своей главной ценительнице тете Джорджи, однако ура-патриотический «Бюргер» впечатления на нее не произвел, а вернее, произвел, но плохое. Дело в том, что горячо любившие друг друга тетка и племянник находились «по разные стороны баррикад» — тетя Джорджи принадлежала к тем самым «наивным лондонцам», на которых жаловался Конланду Киплинг. Когда 1 июня 1902 года был наконец-то подписан Верейнигингский мирный договор и война завершилась победой британского оружия, тетя Джорджи, которая придерживалась пробурских взглядов и была принципиальной противницей этой войны, не побоялась в день всеобщего ликования вывесить из окна «Норт-Энд-хаус» черный флаг с надписью: «Мы убийцы и в придачу захватчики». Джорджи сильно рисковала, собравшаяся под ее окнами толпа могла бы ее проучить, и наверняка бы проучила, не вмешайся племянник:

прибежав из «Вязов», Киплинг сумел успокоить людей, его харизма оказалась сильнее тетушкиного инакомыслия.

Инакомыслием, впрочем, грешил, при всем своем патриотизме, и сам Киплинг. Осенью 1901 года, когда война еще продолжалась, он публикует в «Таймс» поэму «Островитяне», где вновь сетует на легкомыслие, беспечность своих соотечественников, неумение и нежелание воевать, на их мелкие обывательские интересы. Поэма изобилует такими обидными для отечества строками, как: «Вы оказались игрушкой в руках маленького народа; мало кто из вас оказался пригоден к бою». Или: «Вы кичились своей невиданной силой, вы выставляли напоказ свою железную гордость и при этом виляли хвостом перед молодым народом, перед теми, кто умеет стрелять и держаться в седле!»

«Англия — затхлое местечко, — с горечью пишет он в это же время Сесилу Родсу. — Затхлое интеллектуально, нравственно и физически». В стихотворении «Урок», напечатанном в «Таймс» 29 июля 1901 года, Киплинг повторяет свою излюбленную мысль, которая звучит и в «Простых рассказах с гор», и в «Книгах джунглей», и во многих балладах: «Это было нашим заблуждением, нашим величайшим заблуждением — и теперь мы должны извлечь из него урок. У нас сорок миллионов причин для неудач, но оправдания нет ни единого. А потому чем больше мы будем работать и чем меньше болтать, тем большего добьемся. Мы получили великий урок — и благодаря ему еще можем стать великой страной».

Среди произведений, написанных Киплингом в эти годы, есть, разумеется, и удачи. Это хорошо известная по-русски и как стихотворение, и как песня «Пыль» (по-английски «Сапоги») и рассказ «Пленный». Его герой, американский авантюрист, сражающийся на стороне буров, попадает к англичанам в плен (а его прототип, знакомый Киплинга по Кейптауну, тоже американец, наоборот, воюет за англичан) и рассказывает автору про командира буров Ван Зила и про британского генерала. Ван Зил не хочет сражаться, однако сражается отлично, генерал же уважает буров и с ужасом ждет конца войны — он хочет, чтобы как можно больше солдат и офицеров участвовали в «генеральной репетиции Армагеддона». В рассказе английские офицеры придерживаются «пробурских» взглядов, тогда как африканеры считают своими главными врагами вовсе не британцев, а инакомыслящих из Капской колонии, которые используют в своих целях и буров, и англичан. Подобные парадоксы — вовсе не плод воображения автора, а реальность сложного хитросплетения интересов воюющих сторон. Реальность, которую Киплинг, как и

полагается писателю, лишь укрупнил и оттенил, не вдаваясь в подробности.

Между тем «сила подробностей», за которую хвалил Эдгара По Достоевский, — важная черта дарования Киплинга. И проявилась эта черта в романе, над которым Киплинг работает с перерывами больше семи лет и который вчерне заканчивает в самый разгар войны, в августе 1900 года. В романе «Ким».

Глава двенадцатая «КИМ», КОТОРЫЙ «КОНЧИЛ СЕБЯ САМ»

С чего начался «Ким», киплинговский opus magnum?

Возможно, с «Матушки Матьюрин», уже известного читателю романа из англо-индийской жизни, который не вышел в свет, поскольку (вспоминает миссис Хилл) не понравился Джону Локвуду, а то, что не нравилось отцу, не могло понравиться и сыну: вкусу Киплинга-старшего Киплинг-младший доверял всегда и беспрекословно. «Матушка Матьюрин», как мы знаем, так и осталась ворохом исписанной бумаги, однако ее сюжет, благодаря все той же Эдмонии Хилл, нам известен, и в канве этого незаконченного повествования просматривается некоторый намек на будущего «Кима».

Главная героиня, старая ирландка, содержательница курильни опиума в Лахоре, разбогатев, посылает свою дочь в Англию; получив там образование, девушка выходит замуж за английского чиновника, назначенного на работу в Индию, и возвращается в родные края. В результате, комментирует миссис Хилл, не только в правительственных кругах знали, о чем говорят на индийском базаре, но и на базаре были в курсе того, что собираются предпринять власти. Что заимствует из этого сюжета Киплинг для своего «Кима»? Не так уж мало — тайну рождения, ирландские корни героя, его разыскную деятельность.

А возможно, «Ким» начался со случайного разговора в аллахабадском клубе, где кто-то из знакомых рассказал Киплингу занятную историю. Когда в 1880 году уже известный нам по Англо-бурской войне и по тому военных мемуаров фельдмаршал, а в ту пору генерал Робертс вернулся из похода в Афганистан, его солдаты обнаружили среди патанов (переселившихся в Индию афганцев) говорившего на пушту английского юношу. Как впоследствии выяснилось, ребенком его украли и увели в горы, и хотя в английских частях служил его родной дядя, молодой человек вернуться к сахибам наотрез отказался и предпочел остаться с теми, кто его воспитал. Чужой становится своим — мотив «Книги джунглей», да и многих произведений писателя.

При желании можно связать «Кима» и с судьбой преуспевающего адвоката, владельца обеих индийских газет, где работал Киплинг, Уильяма Реттигана, ибо он, как и герой романа Кимбол О'Хара, был сыном безграмотного солдата-ирландца из расквартированного в Индии полка. Ким, правда, в отличие от Реттигана, не заканчивал кембриджский Кингз-колледж и

Гёттингенский университет, не входил в законодательный совет при генерал-губернаторе, однако начинали они совершенно одинаково.

Чем-то вроде предисловия к будущему роману и послесловия к «Матушке Матьюрин» может служить рассказ «Хранить как доказательство» из «Простых рассказов с гор», где герой, Макинтош Джелалуддин, выпускник Оксфордского университета, приезжает в Индию, женится на местной жительнице, спивается и становится мусульманским факиром. Всю свою жизнь он пишет книгу, которую передает перед смертью автору рассказа в виде кипы бумаг, увязанных в грязную тряпку. «Если эту книгу когда-нибудь напечатают, — пишет в заключении Киплинг, любивший, как мы помним, мимикрировать, „прикрыться“ чужим авторством, — то, может быть, кто-то и вспомнит этот рассказ, который я публикую как доказательство того, что автор „Книги о матушке Матьюрин“ — не я, а Макинтош Джелалуддин»[27].

Шел «Ким» тяжело, куда тяжелее, чем более слабые «Свет погас», «Наулака», «Отважные капитаны». Да и работает над романом Киплинг урывками. Отчасти из-за следовавших друг за другом несчастий. Начат роман был в 1894 году в «Наулахе». «Смутный замысел книги об ирландском мальчишке, родившемся в Индии и втянувшемся в туземную жизнь, возник у меня еще в „Райском коттедже“», — вспоминает Киплинг в автобиографии. Начат и брошен. В 1898 году умирает Бёрн-Джонс, в том же году сходит с ума сестра, годом позже умирает старшая дочь писателя и тяжело заболевает он сам — тут не до «Кима». В конце этого же 1899 года Киплинг, завершив «Прохвоста», вновь берется за роман, но тут начинается трехлетняя война с бурами…

А отчасти из-за исключительной, чуть ли не патологической требовательности к тому, что он пишет. Про стоящую под его письменным столом корзину для бумаг Киплинг, нисколько не рисуясь, говорил: «Вот куда идет большая часть того, что я пишу». «Я не знаю другого автора, который бы так упорно переделывал и переделывал текст, добиваясь того, чтобы он понравился ему самому, — писал его американский редактор Джозеф Роджерс. — По-моему, „Ким“ переписывался не меньше пяти раз, причем три раза уже после того, как был набран… Гранки второго набора были испещрены исправлениями на полях… эти гранки привели в ужас наборщиков, тем более что Киплинг был очень придирчив и требовал, чтобы каждое слово и каждый знак препинания в точности соответствовали тому, что он написал». «Прочтите свой черновик, добросовестно обдумайте каждый абзац, фразу и слово, вымарывая все лишнее», — советовал начинающим авторам Киплинг, который многие свои вещи, задуманные как роман,

безжалостно и, кстати, не всегда правомерно сокращал до рассказа. Сократил, пусть и не до рассказа, он и «Кима»: в первоначальном виде роман был чуть ли не втрое больше…

Когда в августе 1900 года роман был в общих чертах завершен, Джон Локвуд, с которым Киплинг постоянно обговаривал, «обкуривал», как он выражался (оба курили трубки), детали будущей книги и который спустя два года будет иллюстрировать «Кима» для собрания сочинений сына, поинтересовался: «Это ты его кончил, или он кончил себя сам?» И узнав, что «Ким» «кончил себя сам», выразил надежду, что в таком случае роман не столь уж и плох. В отношении сына Джон Локвуд всегда был настроен позитивно.

Это сейчас «Ким» считается вместе с «Книгами джунглей» лучшим произведением Киплинга, в конце же 1900 года, когда роман еще только увидел свет, мнение Киплинга-старшего, выведенного в «Киме» в образе белобородого англичанина из Дома Чудес, разделяли немногие — как немногие, очень немногие разделяли в годы Англо-бурской войны оголтелый патриотизм писателя. Арнольду Беннету, к примеру, роман решительно не понравился: «„Ким“ меня убил». Холодно отозвался о нем и Генри Джеймс, полагавший, и не без оснований, что четвероногие удаются Киплингу лучше, чем люди[28]. Был сдержанно принят «Ким» и в США, где после «Отважных капитанов» окончательно возобладала распространенная точка зрения, что Киплинг — признанный мастер рассказа, большая же форма ему не дается.

Действительно, не дается. Но «Ким» — исключение, и сегодня с этим едва ли кто поспорит. Во всяком случае, такие авторитетные и придирчивые ценители литературы, как Томас Стернз Элиот, Марк Твен, английский прозаик конца прошлого века Энгус Уилсон и его однофамилец Колин Уилсон, известные индийские критики Нирад Чаудхури и Баскар Рао, единодушно считают «Кима» «величайшей книгой Киплинга» (Т. Элиот), «самым колдовским произведением Киплинга» (Э. Уилсон), «лучшим рассказом об Индии по-английски» (Н. Чаудхури). И, хотя речь идет о довольно обветшалом жанре плутовского романа или «романа большой дороги» — произведением и сегодня, спустя 120 лет, нисколько не устаревшим, необычайно увлекательным и мастерски написанным.

Увлекательным — прежде всего конечно же благодаря индийскому экзотическому материалу. Во-вторых, потому, что, по некоторым формальным признакам, «Ким» еще и шпионский роман. Шпионско-плутовской роман странствий — такая вот гремучая смесь. В роли своеобразного Дон Кихота в книге

Киплинга выступает престарелый буддийский лама. В роли Санчо Пансы — его проводник, совершающий с ним вместе паломничество, мальчик-ирландец Ким, он же — агент английской разведки Кимбол О'Хара. Эта «донкихотская» пара путешествует по Великому Колесному Пути (индийской «большой дороге»), по Северной Индии, той самой, которую автор, в бытность свою репортером «Гражданской и военной газеты» и «Пионера», проехал вдоль и поперек. Наблюдательный, живой, оборотистый ирландский мальчишка и мудрый, наивный, веротерпимый (не чета полковому пастору Беннетту) тибетский лама одновременно и принадлежат Индии, и в то же время разглядывают ее словно со стороны. Они здесь и свои и чужие; не будь они чужими — и они не увидели бы всего того причудливого, многоцветного индийского калейдоскопа рас, каст, обычаев, суеверий, слились бы с ними.

С Индией они не сливаются, зато «сливаются» друг с другом. Ким в результате становится Другом Всего Мира — если помните, так звали в Лахоре индийские слуги маленького Радди. Лама же — последователь Срединного пути, где нет ни высоких, ни низких, не возносится над миром, а приближается к нему. «Материалист» Ким спасает от физической гибели старика-тибетца, занятого поисками Реки Чудодейственного Исцеления, которая, он верит, способна освободить от Колеса Всего Сущего. «Идеалист» тибетец, в свою очередь, спасает Кима, этого «маленького чертенка», как он его называет, от гибели духовной.

Занятно, что как раз когда Ким готов объять душой все человечество, когда после Гималаев для него перестают существовать касты и религии, а есть лишь духовные силы, объединяющие все сущее — он становится агентом английской разведки, проходит проверку для участия в «Большой игре» Британии на Востоке. Будь роман написан не Киплингом, подобный финал воспринимался бы парадоксом, причем парадоксом довольно грустным, да и к тому же натянутым. У Киплинга же с его стойкой идеей цивилизаторского бремени белого человека в таком финале нет ровным счетом ничего парадоксального; он — в порядке вещей. Изворотливый, ловкий, смышленый, азартный маленький ирландец, с детства любивший «игру ради самой игры» и повинующийся «инстинкту слушать и наблюдать»[29], является, если вдуматься, «органичным элементом» британской секретной службы, стоящей, по Киплингу, на страже порядка в стране. В стране «древнего благочестия и современного прогресса», для которой Pax Britannica, опять же по Киплингу — неоспоримое благо.

Вначале 1890-х годов уже упоминавшийся Ричард Ле Гальенн

писал про прозу Киплинга, что «главное в ней — сюжет, герои же — не более чем вешалки, на которые накидывается забавное происшествие, анекдот из жизни». «Бессюжетный» (это слова самого Киплинга) «Ким» эту теорию опровергает. Верно, забавных происшествий в романе предостаточно, но ведь и колоритных персонажей тоже сколько угодно. Взять хотя бы «краснобородого барышника» афганца Махбуба Али, набожного мусульманина, богатого, жадного и предприимчивого торговца лошадьми и, по совместительству, агента Разведывательного управления под шифром С.25.1.Б., усердно молившегося Аллаху и регулярно посылавшего в правительство секретные донесения о путешественниках неанглийской национальности и о торговле оружием. Или старика-индуса, в прошлом туземного кавалерийского офицера, участника десятков кавалерийских схваток. Бывший вояка, он не расстается с военной формой, с готовностью сообщает всем желающим о своих многочисленных ранениях и орденах, стоит «прямо, как шомпол», и, вытащив кавалерийскую саблю и раскачивая ее на худых коленях, рассказывает нескончаемые истории о сипайском восстании, после чего «садится на низенькую лошаденку, положив руку на рукоятку большого меча… и свирепо глядит куда-то поверх плоской равнины на север». А вот полковой капеллан англиканского вероисповедания преподобный Беннетт. Облаченный в черный костюм с золотым крестом на часовой цепочке и в черную мягкую широкополую шляпу, он из последних сил плетется за войсками. Соображает, впрочем, он лучше, чем передвигает ногами. Беннетт убежден: между ним и католическим священником отцом Виктором «лежит непроходимая пропасть», но «всякий раз, как англиканской церкви предстоит решать задачу, имеющую отношение к человеку, она охотно зовет на помощь церковь римско-католическую».

Сам Киплинг называл «Кима» «плутовским бессюжетным романом, навязанным извне». Как понимать последние два слова? Кем навязан и почему? Видимо, — ностальгическим чувством к своей индийской музе. Киплинг любит в своих книгах расставаться с прошлым. В рассказе «Мэ-э, паршивая овца…» писатель расстался, причем без всякого сожаления, с пансионом Саутси. В «Прохвосте и компании» — с закрытой школой Юнайтед-Сервисез, про которую написал весело, занятно, но больше не напишет никогда и ничего. В поэтическом сборнике «Пять народов», о котором еще будет сказано, — с Южной Африкой и Англо-бурской войной. В «Киме» — с Индией. Не увлекательный сюжет (лучше сказать, сюжеты, ведь книга

дробится на отдельные законченные эпизоды, сквозного сюжета в романе, по существу, нет), не духовное родство ирландского мальчишки и престарелого буддиста, не богатейшая кунсткамера запоминающихся персонажей, а Индия, многоликая, диковинная, непознаваемая Индия — вот самая большая, как нам кажется, удача этой книги.

Низко стелющийся в вечернюю пору солнечный свет, заставляющий сиять каждый дюйм на Великом Колесном Пути. Бредущий сквозь многоцветную толпу прямо по трамвайным рельсам огромный мышиной масти брахманский бык. Толпы «длинноволосых, остро пахнущих санси, несущих на спине корзины, полные ящериц и другой нечистой пищи». Нападающие с наступлением темноты на уединенные плантации свирепые аки. Взлохмаченные сикхские подвижники с диким взглядом в синей клетчатой одежде и в синих высоких конических тюрбанах. Лавки, набитые разнообразными костюмами, чалмами, деревянными Буддами, четками, разноцветными платками, шалями и кинжалами с резными ручками. Пестро разодетые, веселые, спешащие на ярмарку жители деревень, «вереница которых волновалась, точно спина торопливой гусеницы». Свадебные процессии, «сопровождаемые музыкой, криками, запахами ноготков и жасмина, еще более резкими, чем запах пыли». Бродячие фокусники «с полудрессированными обезьянами, или слабым, задыхающимся медведем, или женщиной, которая, привязав к ногам козлиные рога, плясала на канате». Продавцы воды из священного Ганга, шарлатаны, знахари, буддийские монахи, гадалки, цыгане, читатели гороскопов, мелкие чиновники, ремесленники и полковые капелланы. Младшие офицеры из английских колониальных войск, застывшие за массивным столом из мангового дерева в слабо освещенной изнутри палатке, к которой в кромешной тьме бесшумно подкрался и принюхивается к паланкину леопард. Караван-сараи, где путники, валясь от усталости, разгружают тюки и узлы, черпают из колодца воду для ужина, ухаживают за громко ржущими дикоглазыми жеребцами и опустившимися на колени верблюдами, пинают ногами угрюмых караванных собак, ругаются, кричат, спорят. Похожие на крепость железнодорожные вокзалы, где валяющиеся вповалку пассажиры третьего класса похожи на закутанные в саван трупы, а вагоны наполняют голову, как выразился старый тибетец, «грохотом дьявольских барабанов».

После «Кима» грохот индийских барабанов уже, надо полагать, не наполнял голову писателя. С Индией, где «много красоты и немало мудрости», Киплинг, написав «Кима»,

распрощался навсегда.

Глава тринадцатая «БОГОМ ЗАБЫТОЕ МЕСТО»

Десятилетие между войнами, Англо-бурской и Первой мировой, в жизни писателя не богато событиями, однако картина существования Киплингов в эти годы, известная нам из автобиографии самого писателя, его писем, дневника Кэрри и воспоминаний дочери Элси и домашней учительницы Элси и Джона Дороти Понтон, представляет немалый интерес — прежде всего потому, что в это время Киплинги наконец-то обрели постоянное пристанище, «дом своих мечтаний», стали полноценными англичанами, не «колониальными жителями», а сельскими сквайрами, и хотя Киплинг пошутил однажды в письме Чарльзу Элиоту Нортону, что «из всех зарубежных стран, где мне довелось побывать, Англия — самая замечательная», в эти годы «зарубежной страной» Англия быть для него перестала.

Осенью 1902 года, спустя три месяца после окончания бурской войны, Киплинги осуществляют свою давнишнюю мечту и уезжают из навевающего горькие воспоминания Роттингдина. Однажды, еще в августе 1900 года, Редьярд и Кэрри в поисках нового дома доехали на поезде (автомобиль — отечественный, не американский — в очередной раз сломался) до Этчингема, где узнали, что неподалеку от деревушки Бэруош, на берегу реки, продается поместье в тридцать три акра с каменным домом «Бейтменз» времен короля Якова «в хорошем состоянии». Несмотря на то, что состояние дома при ближайшем рассмотрении оказалось, как это часто бывает, не совсем хорошим, дом Киплингам сразу понравился. И хотя Редьярд и Кэрри стали себя отговаривать: ни один, дескать, здравомыслящий человек не станет хоронить себя заживо в этом Богом забытом месте, они очень расстроились, когда оказалось, что, пока они раздумывали, покупать дом в Бэруоше или снимать, он был сдан и освободился лишь спустя два года.

После того как в августе 1902 года сделка наконец совершилась и «Бейтменз» за девять с половиной тысяч фунтов перешел к Киплингам, бывший владелец дома поинтересовался, как они собираются добираться до станции. «До „Бейтменза“ целых четыре мили, — пояснил он, — к тому же дорога идет в гору. Мне приходилось запрягать две пары лошадей». Когда же выяснилось, что у Киплингов есть машина, хозяин с недоверием заметил: «Автомобиль, говорите? Этот транспорт не больно-то надежен». Редьярд и Кэрри от души рассмеялись: и как только

хозяин «Бейтменза» догадался, что «ланчестер», пришедший к тому времени на смену «локомобилю», вышел из строя? Спустя несколько лет продавец дома признался Киплингу, что, знай он, что Киплинг ездит на машине, да еще на «Джейн Кейкбред Ланчестер», да еще с шофером, — он запросил бы за дом вдвое больше.

Как бы то ни было, 3 сентября 1902 года, продав «Наулаху» по бросовой цене Кэботам, а мебель и прочую обстановку отдав доктору Конланду, Киплинги въехали в «Бейтменз» — дом, в котором они прожили всю оставшуюся жизнь и который в двадцатые годы стал своеобразным местом поклонения, чем-то вроде нашей Ясной Поляны. А въехав, сразу же испытали облегчение. «Мы обошли все комнаты, — вспоминает Киплинг в автобиографии, — и не обнаружили ни малейших следов былых печалей, подавленных горестей, не испытали никаких угроз». Олицетворением «былой печали» был разве что портрет маслом покойной Джозефин, который привез из проданной «Наулахи» Мэтью Ховард, а утешением — фраза из Евангелия от Иоанна, вырезанная Джоном Локвудом сыну на каминной полке: «Приходит ночь, когда никто не может делать». Предостережение отца сын воспринял буквально и по ночам не работал никогда.

Дом («самый собственный дом», с гордостью и любовью называл его Киплинг) был мрачноватым — серым, каменным, с зарешеченными окнами, обшитым изнутри темным деревом и заросший лишайником, отчего в нем всегда царил полумрак. Над дверью значилось: «1634 год от Рождества Христова». Внизу в холле в ненастные дни (то есть большую часть года) горел огромный камин. На второй этаж, где располагались спальня, гостевые и кабинет, вела старая, рассохшаяся от времени дубовая лестница. Кабинет, где писатель трудился без малого 35 лет, заслуживает описания более подробного. Это была большая квадратная комната с книжными полками до потолка и с массивным письменным столом березового дерева, под которым стояла огромная корзина для использованных бумаг, всегда полная доверху исписанными черновиками. На столешнице, по правую и левую руку стояли два больших глобуса, на одном из них знаменитый летчик сэр Джон Сэлмонд начертил однажды белой краской маршрут первого авиаперелета из Лондона в Австралию. Большую часть стола занимала приобретенная хозяином дома на Стрэнде огромная оловянная чернильница, на которой Киплинг выцарапал заглавия рассказов и книг, которые сочинил, обмакивая в нее перо — писал он тонкой серебряной перьевой ручкой и только последние годы пользовался пишущей машинкой. Бумаги и большие блокноты из голубовато-белых

листов, в которых Киплинг писал и которые покупал, в какой бы части света ни оказывался, придавливались маленьким, но тяжелым гипсовым котом и кожаным крокодилом. Рядом с котом и крокодилом располагались подставка с набором курительных трубок и изящный лакированный поднос для перьев и авторучек, на нем же лежали испачканная чернилами складная линейка и всевозможные кисточки: Киплинг унаследовал от отца любовь к рисованию, живописи, любил рисовать буквы, рисовал на полях рукописей, разрисовывал книжки, театральные программки, приглашения на банкеты, рисовал фигурки к сочиненным им лимерикам.

На письменном столе отсутствовали разрезной нож для книг, разбросанных по всему дому — Киплинг относился к книгам, в том числе и к альбомам по живописи и к кулинарным пособиям, которые любил листать, без особого почтения и страницы разрывал пальцем, — а также карандаши, которые надоели писателю, еще когда он работал редактором в «Гражданской и военной газете». Стояла на столе и обтянутая холстом коробка с надписью «Заметки», где хранились незаконченные рассказы и стихи, наброски, черновики; коробку эту после смерти писателя Кэрри сожгла. Напротив письменного стола под прямым углом к небольшому камину стоял диван, на котором Киплинг часто лежал, опершись на локоть, что-то про себя сочиняя или читая, или над чем-то раздумывая. Потом вскакивал, закуривал (курил он много, по 30–40 сигарет в день), подбегал к столу и, отбивая по столешнице пальцами дробь, записывал придуманное. Лежа на этом диване, он читал детям вслух Вальтера Скотта, Джейн Остин, Теккерея. Когда же сочинял стихи, то ходил взад-вперед по комнате и что-то напевал. Иногда выходил из кабинета на лестницу и громко, требовательно звал детей или Кэрри («Нет, вы только послушайте!») и, покатываясь со смеху, громко, прекрасно поставленным голосом читал им вслух только что написанное: «Никто на свете не извлекает больше удовольствия из сочиненного мною, чем я сам».

В свое время местный викарий поселил в «Бейтмензе» своего бейлифа — церковного старосту, — и тот мирно прожил в доме сорок лет, оставив его в том же виде, в каком он был до него. Лужайка за домом сбегала уступами к забору из красного кирпича, из него же были выстроены две хмелесушилки со старой серебристо-серой голубятней на крыше одной из них. По другую сторону дома находился сад с розами — гордость миссис Кэрри Киплинг — и грушевым деревом, которым гордился посадивший его мистер Редьярд Киплинг.

За забором, у самого подножия сада, протекала узкая, мелкая

речушка, которая, впрочем, весной широко разливалась, а разлившись, издавала какие-то странные всхлипывающие звуки, по поводу чего в здешних местах существовала легенда. Во времена королевы Елизаветы, гласила легенда, в единственную дочь местного плавильщика Ричарда Мойеса влюбился его работник француз Жан Крапо. Мойес о браке дочери с французом и слышать не хотел и Крапо из мастерской выгнал. Однажды ночью, когда речушка вышла из берегов, Мойес услышал за дверью шаги. Обнаружив, что комната дочери пуста, плавильщик схватил меч, бросился к реке и увидел на мосту обнимающихся влюбленных. Читатель без труда догадается, чем кончилось дело. Мойес бросился с мечом на француза, но его дочь встала между ними, приняла смертельный удар, предназначавшийся ее возлюбленному, и со стоном упала в реку, которая поэтому, выходя из берегов, с тех пор жалобно всхлипывает… Но проза жизни, как это обычно и бывает, восторжествовала над поэзией: Киплинги использовали «рыдающую речушку» для турбины, для чего соорудили плотину, направлявшую речку в мельничный канал. Соорудили конечно же не собственными руками, а с помощью жителей окрестной деревни.

На холме за лесом находилась деревушка Бэруош с одной-единственной улицей, про немногочисленных жителей которой было известно лишь, что они потомки «честных», как сказал бы Лермонтов, контрабандистов и овцекрадов. Приобщаться к цивилизации они начали лишь на протяжении трех последних поколений. Про одного из таких потомственных браконьеров и пьяниц, который посвящал Киплинга в азы своей «профессии», рассказывая о различных разновидностях браконьерства, от отравления рыбы в прудах до искусства ткать шелковые сети для ловли форели, писатель говорил, что такие люди ближе к природе, чем «целый сонм поэтов». У многих из них Киплинг обнаружил изобретательность и творческую жилку и приспособил их к работе по камню, дереву, прокладке труб и тому, что сегодня назвали бы «эстетическим оформлением участка». Брались жители деревни, естественно, и за работу не «эстетическую»: подрывали фундамент мельницы для установки турбины, проводили в доме электричество, рыли колодцы, чистили пруды, прокладывали трубы через мельничную плотину, пересаживали деревья.

В то время как мужья трудились на земле Киплингов, а в свободное время занимались контрабандой, браконьерством и пьянством, их жен властно тянуло на мистику. Киплинги — не только младшие, но и старшие, — с неподдельным интересом слушали нескончаемые истории деревенских женщин про магию,

колдовство, приворотное зелье, про полуночные ритуалы с убийством черного петуха в доме местной колдуньи…

Хватало работы и самим Киплингам. Хозяин дома не только писал стихи и прозу, но сажал деревья, разводил пчел, рыл вместе с рабочими канавы. А еще, неустанно ползая по полу, играл с детьми в медведя, а позже, когда они выросли — в гражданскую войну, разыгрывал с ними «Сон в летнюю ночь», где сам исполнял роль ткача Основы, Джон подвизался в роли Пака, а Элси — Титании. И, как и в «Наулахе», принимал многочисленных гостей и соседей.

Гостей в «Бейтмензе» любили, и дом со временем, помимо «самого собственного», получил еще одно название — «Гостеприимный». Хозяин даже сочинил забавные «Правила поведения для гостей». Вот они.

«Правила поведения для гостей „Бейтменза“.

1. Гостю не рекомендуется проходить в час больше пяти миль.

2. Гостю не рекомендуется гулять дольше двух часов.

3. Гостям строго запрещается уговаривать местных жителей сопровождать их в вышеозначенных прогулках, ибо владельцы „Бейтменза“ не могут отвечать за последствия подобных совместных прогулок.

Местные жители Редьярд Киплинг, Кэролайн Киплинг, Элси Киплинг».

К «Правилам поведения» можно было бы добавить инструкции, которые давал «местный житель» Киплинг своим гостям относительно «неудобных» обычаев и нравов жителей Суссекса. «Житель Суссекса, — наставлял посетителей рачительный хозяин, — ни за что не станет объяснять вам дорогу. Во-первых, потому, что он не любит, когда ему задают вопросы. А во-вторых, потому, что не хочет признаваться, что не знает дороги сам».

Из старых друзей заезжал в «Бейтменз» «прохвост» Данстервилл, прошедший к началу XX века три войны, но дослужившийся лишь до майора. Бывали, разумеется, Эмброз Пойнтер и Райдер Хаггард, причем автор «Копий царя Соломона» всегда готов был поделиться с Киплингами своими обширными познаниями в области земледелия. Когда однажды ирландец, арендовавший у Киплингов сад с только что посаженными яблонями, пустил в него козу, Хаггард заметил, что с таким же успехом можно было впустить в сад самого сатану. Хаггарда, отличного рассказчика, к тому же объехавшего полмира, Элси и Джон всякий раз ждали с нетерпением, а когда он приезжал, ходили за ним по пятам, выпрашивая новые южноафриканские

истории — как правило, выдуманные от начала до конца. Ждал Хаггарда с не меньшим нетерпением и хозяин дома: о их долгих и задушевных беседах о литературе и жизни мы уже рассказывали.

Приезжал из Америки, и не раз, ближайший американский друг Киплингов издатель Фрэнк Даблдей. Однажды, приближаясь к «Бейтмензу» ясным, теплым летним днем, Даблдей заметил, что из трубы валит густой дым. Издатель ускорил шаг, вошел в дом — дверь была незаперта, — открыл дверь в кабинет Киплинга и обнаружил, что хозяин дома стоит на коленях перед камином и бросает в огонь толстые пачки бумаг, исписанных таким знакомым бисерным почерком. «Что это вы делаете, Рад?!» — в ужасе спросил Даблдей, которому, понятное дело, трудно было перенести, что классик топит камин бесценными рукописями. «Видите ли. Эфенди, — ответил Киплинг, подталкивая бумаги в огонь кочергой и испытующе глядя на гостя из-под густых бровей, — я тут просматривал свои старые рукописи и подумал: уж очень не хочется, чтобы после смерти из меня сделали посмешище»…

Бывал в «Бейтмензе», естественно, и «патер» Джон Локвуд, хотя куда чаще не он ездил в Суссекс к сыну, а сын к нему в Уилтшир. Там, за трубкой и игрой в краббидж, обговаривались совместные творческие планы: сын писал, отец иллюстрировал сыном написанное.

Увы, этим совместным планам — по крайней мере, большинству из них — так и не довелось воплотиться в жизнь. Уход за психически неполноценной Трикс оказался Алисе не под силу, подорвал ее нервы и здоровье; Алиса Киплинг скончалась 22 ноября 1910 года в Тисбьюри. Джон Локвуд пережил жену всего на два месяца, он умер в январе 1911 года, находясь в гостях у друзей, куда Редьярд был срочно вызван телеграммой из Швейцарии, где в это время отдыхал с женой и детьми. «Его замечательные, лучистые синие глаза взирали на мир с нескончаемым интересом и трогательной терпимостью… — вспоминала о своем деде Элси Киплинг. — Ему были подвластны все искусства и ремесла, даже самые экзотические. Наблюдать за тем, как он работает руками, было ни с чем не сравнимым удовольствием. В старости он писал мне, своей десятилетней внучке, прелестные письма, в которых учил, как лепить из гипса и наносить на гипс позолоту…»

В эти годы уходят из жизни не только родители Киплинга («Им я обязан всем»), но и многие из его близких друзей и родственников. В 1903 году умирает Хенли, в 1906-м — тетя Эгги, в 1908-м — Альфред Болдуин, в 1911-м — доктор Конланд и профессор Нортон, годом раньше — Кормелл Прайс. Учитель и

друг Киплинга умер в бедности, и Редьярд и Кэрри взяли на себя образование его неимущих детей, сына Теда и дочери Дороти.

На смену старым друзьям приходят новые. Главный редактор лондонской «Стэндард» Хорас Гуинн — такой же, как и Киплинг, убежденный консерватор. Ближайшая подруга Кэрри тех лет леди Эдвард Сэсил, с которой Киплинги познакомились в Кейптауне и которая жила неподалеку от «Бейтменза» в доме «Грейт-Уигселл». Наконец, самый, пожалуй, близкий Киплингу в десятые годы человек — его закадычный друг и сосед, полковник в отставке Уэмис Филден. Жизнь этого скромного, даже робкого старика напоминает авантюрный роман. Службу Филден начинал еще во времена восстания сипаев в печально знаменитой своей лютой жестокостью Черной страже под Дели, отличался беспримерной отвагой, после Индии успел послужить Вдове в Южной Африке, участвовал на стороне южан в гражданской войне в США, вместе с командующим конфедератов генералом Ли подписывал капитуляцию, был исследователем Арктики, за что удостоился Полярной ленты, а также известным ботаником и натуралистом. Несмотря на свои восемьдесят два, полковник стрелял на лету фазанов, мог часами, стоя в холодной воде, ловить в пруду форель и совершал с Киплингом многочасовые прогулки.

Бывали в «Бейтмензе» и люди едва знакомые, и вовсе не знакомые. Откуда только не приезжали посетители — из Индии, из Кейптауна, из Родезии, из Австралии и Канады. Приезжали просто посмотреть на живого классика, поговорить с ним, поделиться своими планами реэмиграции в метрополию (как будто Киплинг был официальным лицом в Форин Оффисе!), «каждый со своей историей жизни, со своей обидой, идеей, идеалом или предостережением». Приезжал «пожаловаться на жизнь» бывший американский губернатор Филиппин, которого, невзирая на его немалые заслуги, бесцеремонно отправили в отставку. Приезжал сам президент Франции Жорж Клемансо, друг Киплинга и Англии, особенно после заключения Антанты — договора о дружбе и военном союзе.

Приезжали за советом к мэтру и молодые, начинающие литераторы, которым Киплинг уделял немало внимания и времени. Прозаик, драматург и биограф Руперт Крофт-Кук вспоминает уроки мастера — уроки жизни и литературы. «Никогда не оборачивайтесь на других, — учил его Киплинг. — Гребите в своей лодке и не беспокойтесь, что вас обгонят. Плывите, как умеете. Если действительно хотите чего-то добиться — добьетесь; если же не получается, не следите за успехами других — только душу себе растравите». А вот наставления литературные: «В жизни вас будут много критиковать — и устно,

и письменно. Какая-то критика будет честной и разумной, большей же частью — пустой. Помните, только вы сами сможете оценить, что в словах критиков ценно, что полезно, что похвала, а что хула. Время от времени кто-то произнесет слова, которые заставят вас задуматься. „Он прав“, — скажете вы, и это признание пойдет вам на пользу».

Довольно много разъезжали по миру и сами Киплинги. До 1908 года с детьми и гувернантками — в Южную Африку, где они, как уже говорилось, жили с конца декабря или начала января до апреля в коттедже «Вулсэк» неподалеку от «Большого сарая» Родса. В своих воспоминаниях Элси подробно вспоминает плавание в Кейптаун:

«Все шло по раз навсегда заведенному распорядку. Сначала двое детей (Элси и Джон. — А. Л.) подвергали пароход и пассажиров тщательному досмотру. Затем в каюте раскладывались по шкафам вещи. Следом начинались поиски старых друзей среди стюардов. „Удачным путешествием“ считалось такое, когда среди членов команды, начиная с капитана, на борту набиралось хотя бы несколько друзей и знакомых. Нашим закадычным другом стал седовласый стюард, который всегда готов был отвести нас в самые потайные и недоступные уголки корабля, а также — угостить добавкой десерта после того, как поужинают взрослые. Первые несколько дней еще было прохладно и все мучились морской болезнью, однако после Мадейры день увеличивался, ночь сокращалась, и быстро опускались тропические сумерки. Все с нетерпением ждали появления на горизонте Южного Креста. Все было известно заранее и, тем не менее, необычайно волнительно.

В дороге Р. К. много работал. Большей частью — в крошечной каюте, выходящей на шумную прогулочную палубу, но иногда и на самой палубе, сидя на маленьком складном стульчике. Шума вокруг он словно не замечал; склонится над своим блокнотом, потом встанет и пройдется по палубе, как будто это его собственный кабинет. К пассажирам он всегда проявлял огромный интерес, к детям — особенно, заводил на корабле массу друзей. Он любил подолгу беседовать с молоденьким солдатом, или с офицером-минером, который едет в Африку делать карьеру, или с кем-то из членов команды. Каждый раз нас с отцом приглашали за капитанский стол, и каждый раз отец это приглашение с благодарностью отклонял — ужинали мы вместе с остальными пассажирами.

Р. К. не обращал никакого внимания на тот интерес, который проявляли к нему пассажиры. Как-то раз прохладным вечером он, спустившись в каюту, по рассеянности вместо пальто накинул на

плечи халат из верблюжьей шерсти. Когда он в таком виде поднялся на палубу, какой-то молодой человек робко обратил его внимание на то, что он по ошибке вместо пальто надел халат, однако Р. К., нисколько не смутившись, заметил, что в халате ему тепло, а это самое главное. „Надо же! — пробормотал, отходя в сторону, молодой человек. — Надел вместо пальто халат и совершенно не смущается“.

Часто на корабле оказывались его старые друзья: доктор Джеймсон, Эйб Бейли, Баден-Поуэлл, офицеры, многие известные люди, в чьих руках в то время находилась судьба Южной Африки. Р. К. шагал взад-вперед по палубе и вел с ними долгие беседы. Часто после десяти вечера и до того времени, когда надо было идти спать, мы вместе с другими детьми собирались на нагретой солнцем палубе, садились вокруг отца в кружок, и он рассказывал нам истории…»

Начиная с 1909 года Южную Африку, которой пришедшие на смену консерваторам либералы предоставили, к глубокому разочарованию Киплинга, самостоятельность, сменила Швейцария. Киплинги плыли пароходом и ехали поездом в Энгельберг или в Сен-Морис, где дети в течение месяца-полутора катались на лыжах и на коньках, а оттуда нередко отправлялись в Восточные Пиренеи, в Верне-ле-Бен, куда страдавшей радикулитом Кэрри порекомендовали ездить врачи.

В 1911 году Киплинги впервые побывали в Ирландии, которая писателю решительно не понравилась — возможно, из-за принимающего все более широкий размах движения за «гомруль», то есть самоуправление. Киплингу не нравилось, когда колония Британской империи требует независимости, и в Дублине он увидел только то, что хотел увидеть — «помои и всеобщий застой». Для Джеймса Джойса Дублин был «грязным и родным» (dirty and dear), для Киплинга — грязным и чужим.

А вот в Египте, куда Киплинги попали перед самой войной, в 1913 году, «грязь и помои» писателя нисколько не смутили, он любил восточные города и простил Каиру, как раньше прощал Лахору, Бомбею и Калькутте, жару и чудовищную грязь. Зато невзлюбил империалиста из империалистов, в прошлом отважного воина, фельдмаршала Горацио Роберта Китченера, сменившего Робертса на посту главнокомандующего английскими войсками в Южной Африке. «Разжиревшим фараоном в шпорах, не в меру болтливым и одуревшим от власти» назвал он, против ожидания, своего былого кумира.

А до этого была поездка в любимую Канаду, где Киплингу в 1906 году присвоили почетную степень монреальского протестантского университета Макгилл и где он, выступая с

публичными лекциями, доехал в специальном вагоне до Ванкувера и обратно. Канада, которую Киплинг, мы помним, всегда ставил в пример Америке, не разочаровала и на сей раз.

Не успели Киплинги вернуться домой, как зимой 1907 года «пришлось» ехать в Стокгольм — получать Нобелевскую премию по литературе, первую, которой удостоился английский писатель.

От премий, орденов и званий Киплинг постоянно и принципиально отказывался, мотивируя это тем, что, мол, «свободный от наград, я больше пригожусь и больше сделаю». Когда в мае 1917 года кузен Киплинга Стэнли Болдуин и друг писателя, член кабинета Бонар-Лоу сообщили ему, что он вправе получить «любую почетную награду которую только готов принять», последовал решительный отказ. «Этого не будет», — писал Болдуину Киплинг, а в письме самому премьеру Бонар-Лоу заметил: «Интересно, вам бы понравилось, если бы, проснувшись однажды утром, вы обнаружили, что вас сделали архиепископом Кентерберийским?»

От звания почетного доктора университетов (Даремского, Монреальского, Оксфордского, Эдинбургского, а в двадцатые годы — Сорбонны и Страсбурга) он, однако, не отказывался. В Оксфорде звание доктора Киплингу вручали 26 июня 1907 года вместе с Марком Твеном и генералом Бутом, тем самым, с которым Киплинг сдружился, когда в конце 1891 года плыл из Австралии на Цейлон. Когда на Киплинга надели серую с алым мантию, он пошутил, рассмешив самого Марка Твена, что выглядит в ней, «в точности как африканский попугай». Присутствовавшие на торжественной церемонии студенты и преподаватели устроили «попугаю» такую овацию, которой еще не удостаивался ни один почетный доктор европейского университета. Спустя несколько дней на торжественном обеде в парадном зале колледжа Крайстчерч Марк Твен, перед которым Киплинг всегда преклонялся, назвал автора «Кима» «принцем Республики Литературы, чья слава обволокла, подобно атмосфере, весь мир».

В «наградной графе» у «принца Республики Литературы» и в самом деле числятся сплошные отказы. Он дважды (1899, 1903) отказывался от рыцарства, дважды, в 1921 и 1924 годах, не принял из рук самого короля орден «За заслуги» «в ознаменование огромных заслуг в области изящной словесности» и в знак «высочайшего уважения, с каким ваши произведения читаются подданными Британской империи». Дважды отказался баллотироваться в парламент от Консервативной партии, причем один раз этой чести его удостоили жители Эдинбурга. Дважды отказался ехать в Индию в составе официальной делегации —

сначала в 1903 году, когда делегацию возглавлял принц Уэльский, потом, спустя восемь лет, когда принц Уэльский стал королем Георгом V. Дважды отказывался вступить в Американскую академию искусств и наук, в 1910 году отказался стать членом только что основанной Британской литературной академии. Скорее всего, отказался бы и от звания поэта-лауреата — если бы в 1913 году, когда умер Альфред Остин, его бы не обошли уже во второй раз подряд: вслед за Остином поэтом-лауреатом стал куда более одаренный, чем Остин, Роберт Бриджес. Когда же в 1930 году умер и Бриджес, который, к слову, высоко ценил Киплинга и в 1916 году писал, рекомендуя его на это почетное звание: «Совершенно ясно, что это величайший из наших ныне здравствующих литературных гениев», — Георг V якобы хотел предложить это почетнейшее в Англии звание Киплингу, но почему-то не предложил. Возможно, понимал, что откажется.

А вот «нобелевку» писатель принял.

Что вынес Киплинг из поездки в Швецию, кроме вручения Нобелевской премии? Немногое. Траур по шведскому королю Оскару II, который скончался, пока Киплинг, борясь с бурным Северным морем и шквальным ветром, добирался до Стокгольма. Одетых в черное по случаю траура горожан. Короткий, промозглый сумрачный день, какой бывает в северных широтах. Погруженный во тьму и тишину, опять же по случаю траура, королевский дворец. Снег на плащах часовых и на чугунных стволах древних пушек. Королеву в траурном одеянии. Скрежет утренних трамваев за окном гостиницы. Последнюю фразу покойного короля, будто бы сказавшего: «Пусть из-за меня не закрывают театров». И впечатление, пожалуй, самое сильное: в Швеции, в общественных банях не ты сам моешься, а тебя моют, причем не кто-нибудь, а степенные, немолодые женщины, и не губкой, а большими мочалками из сосновых стружек. И связанный с этой довольно странной традицией анекдот. Одна такая старуха, рассказывает Киплинг в автобиографии, пришла мыть мужчину, а тот ни в какую ей не дается. Повернулся вниз лицом, болтает ногами и кричит: «Убирайтесь к черту!» Старуха идет жаловаться директору бани. «У меня в ванне сумасшедший сидит, — говорит, — не дает себя вымыть». — «Это не сумасшедший, — успокоил ее директор. — Это англичанин. Оставьте его, сам вымоется».

Возможно, Киплинг выдал за анекдот историю, которая произошла с ним самим. Как бы то ни было, баня и пожилые мойщицы, как видно, произвели на писателя куда более сильное впечатление, чем давно и хорошо известный торжественный

церемониал вручения премии — о нем в автобиографии и письмах Киплинга ни полслова. По всей вероятности, автор «Книг джунглей» и «Кима» действительно не придавал значения наградам. Даже таким почетным, как Нобелевская премия.

Подобная безучастность к внешним атрибутам жизни в эти годы объясняется еще и тем, что, переехав в «Бейтменз», Киплинг, за вычетом поездок и всплесков публичной активности вроде выступления 16 мая 1914 года против правительства ненавистных ему либералов перед десятью тысячами ирландских юнионистов или присутствия на коронации Георга V в Вестминстерском аббатстве в 1911 году, вел жизнь уединенную, трудовую, домашнюю, расписанную по минутам. Жизнь всей семьи, и Кэрри и детей, была всецело подчинена его расписанию.

День в «Бейтмензе» начинался обычно в восемь утра и летом, и зимой, и сразу после завтрака Кэрри и ее секретарь принимались разбирать большую утреннюю почту — в среднем от шестидесяти до ста писем ежедневно. Обсуждалось содержание писем, выбрасывались письма ненужные, на осмысленные писались ответы. Все члены семьи научились угадывать, что содержится в письме, по его конверту, поэтому Киплинг нередко подходил, произвольно выхватывал из пухлой пачки какой-то один конверт, который казался ему многообещающим, и прочитывал письмо сам. Письма бывали разные, приходили со всех концов света и писались на любую тему. Каких только вопросов и предложений в них не было! Доктор Мари Стоупс спрашивала, нельзя ли переписать «Если» так, чтобы автор обращался не к мужчине, а к женщине. Герберт Уэллс уговаривал Киплинга не рецензировать его книгу (чего Киплинг в любом случае никогда бы делать не стал), тем более что взглядов старые приятели придерживались прямо противоположных. Неизвестный пастор требовал переписать «Красный стяг», но так, чтобы специалисты об этом не узнали. Приходили письма от безумцев, главным же образом — от людей, желающих получить подтверждение гениальности своих литературных сочинений. Этим людям, особенно если они были молоды и в самом деле не лишены искры божьей, Киплинг отвечал подробно и конструктивно.

Обычно Киплинг, как и большинство писателей, работал по утрам, вечером же, после ужина, возился, лежа у камина на ковре, со своими собаками, которые шалели от удовольствия и истошно лаяли. Первую половину дня он либо сидел за своим письменным столом, писал или что-то рисовал, либо расхаживал по кабинету, что-то напевая себе под нос. Очень многие из его знаменитых стихов — подмечает Элси — такие, как «Последнее песнопение»

или «Мандалей», читаются в ритме старого вальса, что странно, поскольку музыкальный слух у Киплинга отсутствовал напрочь. После второго завтрака писатель отправлялся на прогулку или вновь усаживался за письменный стол; в это время приходила вторая почта, после разбора которой наступало время чаепития — к чаю обычно бывали гости. Садом Киплинг занимался мало, но иногда вооружался вдруг граблями или мотыгой и с остервенением набрасывался на крапиву и сорняки. Первое время после переезда в «Бейтменз» он иногда ловил в Дарвелле форель, охотился же редко — слабое зрение не позволяло. Бывало, он вместе с женой заходил на ферму к рабочим; Кэрри давала указания десятнику, какие канавы вырыть, какой сарай починить, где покосить траву, а ее муж стоял рядом и молча слушал, очень редко вставляя всего несколько слов.

Если Киплинг работал, то ничего вокруг не замечал, и дети очень рано научились не обращаться к нему в такие дни с просьбами или делиться с ним своими планами или идеями. Они терпеливо ждали, пока отец допишет задуманное и, как домочадцы выражались, «в семью вернется мир». «Возвращение мира» сопровождалось обычно чтением вслух только что написанного. Читал Киплинг превосходно и, как и Диккенс, так увлекался собственным рассказом или стихотворением, что порой разражался громким смехом или же мог — при его-то сдержанности — пустить слезу. Не зря дети так любили, когда отец читал им вслух свои книги.

Кстати о детях. По воспоминаниям домашней учительницы младших Киплингов Дороти Понтон, ставшей в дальнейшем секретарем писателя и преподававшей Джону математику, а его старшей сестре латынь и немецкий, Элси в 1911 году была хорошенькой шестнадцатилетней девушкой с темно-каштановыми волосами, схваченными сзади черным бантиком, и живыми, умными карими глазами. Жизнь она, как и ее родители, вела уединенную и в обществе, за вычетом трехмесячных каникул, когда родители брали ее с собой в Европу, вращалась мало. Джону было тогда четырнадцать; смуглый, худенький, в очках, он мало чем отличался от сверстников. Учился мальчик неважно, но отсутствие выраженных способностей с лихвой возмещалось добродушием, честностью, прямотой и отличным — в отца — чувством юмора. Киплинг всегда мечтал, чтобы сын пошел на флот, но помешало плохое, как у отца, зрение. В 1911 году писатель отправляет его в военнизированный (вроде Юнайтед-Сервисез) Веллингтон-колледж, где Джон, прямо скажем, без особых успехов тянул лямку два года, увлекался, на радость отца, воздухоплаванием и футболом, однако в 1913 году очередные

экзамены провалил, и отцу пришлось перевести его из престижного Веллингтона в частную школу в Борнмауте.

А вот что пишет Дороти Понтон о родителях Джона и Элси. «В это время (в 1911 году. — А. Л.) Редьярду Киплингу было сорок шесть лет. Ростом он был невысок, но хорошо сложен; выдающаяся вперед челюсть с ямочкой посередине, очень темные, густые, кустистые брови, очки в железной оправе, голубые пронзительные глаза. В деревне он обыкновенно ходил в брюках гольф или в кожаных гетрах и в видавшей виды кепке или же в мягкой фетровой шляпе…

У миссис Киплинг лицо было суровое, а улыбка добрая. Как и муж, она была низкорослa, полновата, при этом с очень маленькими ногами. В глаза бросались почти совсем седые волосы и проницательный взгляд серых, всегда печальных глаз».

В период между войнами Киплинг работал очень много и «в мир возвращался» редко. И не только много, но и очень разнообразно. Многообразие написанного между войнами таково, что трудно себе представить, будто все это сочинил один человек, пусть столь же талантливый и изобретательный, как Редьярд Киплинг. Из-под пера мастера выходят произведения самых разных жанров и на все вкусы.

Это и реалистический рассказ «Миссис Батерст», вошедший в сборник «Пути и открытия» (1904) и первоначально задуманный как роман, однако в дальнейшем сильно — пожалуй, даже слишком сильно — сокращенный. Сокращенный настолько, что главная героиня, списанная, как полагают биографы, с барменши из новозеландского Крайстчерча, где Киплинг побывал в начале 1890-х, отходит на второй план. Сильная женщина, которая «не задумывалась, ежели надо было накормить неудачника или изничтожить злодея»[30], уступает передний план «фальстафовскому фону» — столь свойственным для малой прозы Киплинга колоритным рассказчикам — морякам, солдатам, полицейским, колониальным чиновникам.

Это и мистика. В рассказе «Они», который был начат в Кейптауне в феврале 1904 года и в основе которого лежал реальный эпизод — разъезды автора на автомобиле по Суссексу в поисках дома, — предпринята попытка — правду сказать, не слишком удачная — передать собственные ощущения после смерти старшей дочери и возвращения в Роттингдин. Героиня рассказа, слепая женщина, воображает, будто видит несуществующих детей, опекает их, разговаривает с ними…

Это и научная фантастика, жанр, как и мистика, для Киплинга совершенно новый. Рассказ «Ночной почтой», написанный, по всей вероятности, не без влияния Уэллса,

представляет собой репортаж журналиста о перелете над Атлантикой в далеком 2000 году.

Это и своего рода антиутопия. В рассказе 1907 года «Проще простого» описывается технократическое будущее цивилизации, время, когда технические достижения столь велики и всеобъемлющи, что политика, как таковая, лишается всякого смысла. Будущее, где всем правит «Воздушный контрольный совет» — за техникой, предвидит Киплинг, а не за политикой.

Это, наконец, исторические сказки для детей и с участием детей из английской — как правило, седой — старины; жанр, подсказанный Киплингу еще Бёрн-Джонсом. В «Паке с Пукова холма» (1906), сборнике сказок из английской истории, где под именами Дэна и Уны, которых переносит в прошлое шаловливый лесной дух Пак, выведены Элси и Джон, ощущается влияние популярной в те годы, а ныне прочно забытой детской писательницы Эдит Несбит и ее книги «Феникс и ковер», которой увлекались и дети Киплинга. «Истории из истории», писавшиеся Киплингом еще в Южной Африке, в «Вулсэке», «взрослеют» вместе с детьми автора. Если первый сборник «Пак с Пукова холма» рассчитан на читателей девяти-десяти лет, то второй, «Награды и чудеса», куда первоначально были включены рассказы о докторе Джонсоне, о Дефо, о короле Артуре — на читателей лет на пять-шесть старше.

В сборник «Награды и чудеса» Киплинг включил и самое, должно быть, популярное свое стихотворение «Если», известное у нас сразу по двум одинаково блестящим переводам — М. Лозинского («Если») и С. Маршака («Исповедь»), Написанное осенью 1909 года, стихотворение это вошло решительно во все антологии английской и мировой поэзии, печаталось (и печатается по сей день) на открытках и виньетках, вставляется в рамку, вешается на стену, переписывается в альбомы и переведено на десятки языков. Школьники не раз жаловались Киплингу, что учителя заставляют их не только учить «Владей собой среди толпы смятенной…» наизусть, но и в качестве наказания переписывать «Если» по многу раз.

По многу раз переписывать стихи, будь то даже «Вновь я посетил…», «Silentium» или «Если», — верный способ их на всю жизнь возненавидеть и выбросить из памяти. И в этом смысле двум другим «главным» стихотворениям Киплинга — «Бремени белого человека» и «Последнему песнопению», повезло, пожалуй, больше, чем «Если», — в школе их не проходят.

Как не проходят и другие стихи, вошедшие в очень ровный по составу послевоенный поэтический сборник Киплинга «Пять народов», где основная тема — осмысление, а вернее,

переосмысление Англо-бурской войны. На смену чеканным, заносчивым, да и довольно бездумным строкам «Южной Африки» приходит мало сказать переосмысление — искупление. «Я начинал рядовым парнем, а кончил думающим человеком», — сказано, будто про самого себя, в стихотворении «Возвращение» из того же сборника. Поэт возвращается к событиям бурской войны и словно бы переписывает написанное перед ней. В стихотворении «Колонист», впервые появившемся 27 февраля 1903 года в «Таймс» всего через полгода после окончания войны, есть такие строки:

> Все вместе мы искупим свою вину
> За упрямую глупость, за кровавую баню,
> И за безжалостное опустошение всего…
> Дабы мы смогли искоренить зло,
> Совершенное против живых и мертвых.

Искупить же вину перед погибшими может только собственная смерть:

> И траурные марши, так и быть,
> Наш смертный грех покроют с головой[31].

Или же смерть близкого человека — но об этом сказано вовсе не у Киплинга. Написал об этом давно забытый французский прозаик Жером Таро, который в своем романе «Дингли» (получившем, между прочим, перед Первой мировой войной Гонкуровскую премию) вывел очень похожего на Киплинга английского писателя, консерватора и империалиста, который прославляет войну с бурами — но лишь до тех пор, пока буры не убивают его сына. Во время Англо-бурской войны, покуда Киплинг-старший разъезжал в репортерских и благотворительных целях по стране, маленький Джон находился вместе со старшей сестрой в мирном Кейптауне, под присмотром матери, в полной безопасности, и погибнуть не мог никак. И все же Таро, в соответствии со своей фамилией, оказался прорицателем.

Глава четырнадцатая «ВСТАВАЙТЕ В СКОРБНЫЙ ЧАС!»

4 августа 1914 года началась война, а уже спустя неделю, 10-го, Джон Киплинг, высокий, худощавый, улыбчивый юноша, любитель пошутить и покататься на мотоцикле, спешит в Лондон записаться по призыву генерала Китченера добровольцем в армию. Хотя обучение он проходил в офицерской школе, но по зрению комиссию не прошел, и пришлось вмешаться Киплингу-старшему. Пожалел ли отец потом об этом? Киплинг безотлагательно пишет лорду Робертсу, тот зачисляет юношу в «свой» полк Ирландских гвардейцев, и 14 сентября Джон прибывает в расположение полка.

Пока Киплинга-младшего наспех учат убивать, Киплинг-старший, не растративший свой патриотизм в Англо-бурской войне, столь же активно, как и пятнадцать лет назад, занимается благотворительностью. Оказывает помощь бельгийским беженцам, дает деньги на Красный Крест, отправляет постельное белье в лондонские больницы, ездит по госпиталям и военным лагерям, селит у себя в «Бейтмензе» офицеров, проходящих в Суссексе боевую подготовку, и конечно же сочиняет патриотические стихи. «За все, что есть у нас», строку из которого мы вынесли в название этой главы, закончено в последние дни августа, а уже 1 сентября стихотворение можно прочесть в «Таймс». Сочиняет и рассказы, а также очерки о своем посещении военных лагерей, больниц и военно-морских баз, которые регулярно печатаются в лондонской «Дейли телеграф».

Во Францию отец и сын отправляются примерно в одно и тоже время, в августе 1915 года, вот только миссии у них совершенно разные. Отец, говоря сегодняшним языком, — «вип», он едет по приглашению французского командования в страну, где его любят, переводят, награждают премиями и почетными степенями университетов Парижа и Страсбурга, умиляются — что французам совсем не свойственно — его произношению, смешной беглой речи и многочисленным ошибкам. Сын, которому давно уже надоела лагерная муштра и которому не терпится сразиться с бошами, едет в совсем ином качестве — пушечного мяса: весной и летом 1915 года англичане терпят поражение за поражением, потери огромны, и нужны свежие силы. Отец останавливается в лучших парижских отелях и лишь изредка и ненадолго выезжает в прифронтовую полосу; он — почетный гость французского правительства и лично Жоржа Клемансо, своего друга. Сын сидит

в сыром, холодном окопе и регулярно совершает рискованные и совершенно бессмысленные вылазки, наугад обстреливая позиции противника; во Францию он «приглашен» воевать. 17 августа, в день своего восемнадцатилетия и, соответственно, совершеннолетия, Джон, прапорщик второго батальона полка Ирландских гвардейцев, отбывает на французский фронт на неделю позже отца.

Какой показалась война Киплингу-младшему, мы не знаем, его письма домой, если они и были, не сохранились; судя же по письмам Киплинга-старшего, увиденное во Франции особого оптимизма писателю не внушило.

«Вернулся после общения с человеческой взрывчаткой, — пишет Киплинг жене из парижского отеля „Риц“ 13 августа. — Не успел возвратиться, как Клемансо разразился длиннейшей речью, продолжалась она сорок минут и являла собой ослепительный фейерверк… Из того, что он говорил, следовало, что их правительство и умственно и духовно — близнец нашего: та же некомпетентность, те же длинные и бессвязные объяснения, та же неспособность признать свои ошибки, те же чудовищные интриги… Он нисколько не сомневается в успехе, но только и слышалось: „Вооружение! Боеприпасы“!».

Некоторое представление о том, как воюет его сын, Киплинг все же получил:

«Вчера день начался в шесть утра… в поросших лесом горах Эльзаса, — говорится в письме писателя жене от 20 августа. — Мы остановились посмотреть на батарею горных орудий; вышли из машины и долго шли лесом. <…> Оттуда добирались до окопов, шли еще какое-то время, пока не встретили полковника, из тех, кто своим солдатам не только что отец родной, но и мать. Полковник провел нас в окопы первой линии, которые находятся от немцев на расстоянии семи, а точнее семи с половиной метров, то бишь крикетной подачи. В окопах были баварцы, накануне вечером мы задали им жару, поэтому сегодня они сидели тихо, как мышки, и я разглядывал их через бойницу. Полковник вынул из бойницы затычку, и я увидел на фоне деревьев и камней двух немцев, похожих на зеленые мешки с песком. Меня баварцы не видели… Окопы — чище не бывает, ходишь по ним, как по музею… если и есть запах, то разве что стряпни. И мертвая тишина, ведь от противника мы были совсем близко…»

Об этом же эпизоде примерно в таком же легкомысленном тоне пишет Киплинг и сыну спустя два дня, 22 августа:

«Дорогой старик, надеюсь, ты никогда не окажешься ближе к бошам, чем оказался я. Забавнее всего было наблюдать, как дежурный офицер делает полковнику и мне знаки, чтобы мы

молчали. И слышать, как тут же застучал пулемет; выпустит пять-шесть очередей наудачу и смолкнет — точно прислушивается. Сидеть в окопах ничуть не опаснее, чем ехать на машине десять-двенадцать миль по дороге, которую боши в любую минуту могут обстрелять. Или ходить по городу, который в любой момент может подвергнуться артобстрелу. Словом, жизнь — лучше некуда, скучать, прямо скажем, не приходится…»

Понятно, что этот легкомысленный тон («жизнь — лучше некуда», «скучать не приходится») — вынужденный. Киплинг поднимает настроение — и не столько Джону, сколько самому себе. Он конечно же боится за сына. И как очень скоро выяснится — не зря.

В начале осени окопная война с малым числом жертв кончилась. Началась война настоящая. В сентябре в бою под бельгийским Лоозом англичане идут в наступление, теснят немцев на некоторых участках фронта, но развить успех не удается, противник переходит в контрнаступление, и 27 сентября, чтобы спасти ситуацию, в прорыв был брошен полк Ирландских гвардейцев. Операция провалилась, англичане за неделю потеряли 20 тысяч убитыми, а 2 октября из министерства обороны в «Бейтменз» приходит телеграмма: Джон Киплинг ранен и пропал без вести.

Сочетание слов «ранен» и «пропал без вести» означало, скорее всего, «погиб». Но родители и сестра верить в это отказываются. Кэрри и на этот раз, так же как после смерти дочери, настроена по-деловому, знакомым ничего не рассказывает, держится лучше некуда и сразу же начинает действовать: спустя три дня после телеграммы отправляется вместе с Элси в Лондон наводить справки в штабе Ирландских гвардейцев. Редьярд, который в очередной раз мучается гастритом и сидит (а чаще — лежит) на строжайшей диете, никуда не едет; его дело — писать письма. Кое-что — увы, очень немногое — удается совместными усилиями выяснить. Джона ранили, когда он поднял свой взвод в атаку. В живых из всего взвода остался только один рядовой, он попал в госпиталь в Ите, и, когда его спросили про прапорщика Киплинга, тот ответил только, что Джон «хорошо обращался с солдатами и никогда не унывал». Не унывала и Кэрри, она еще два года повсюду искала сына, писала раненым из батальона Джона, обращалась в швейцарский Красный Крест, решив, что сын мог попасть в плен, и уже в конце 1918 года — как видно, от полной безысходности — написала письмо в Ватикан. И, наконец, изверившись, записала в дневнике горькие слова: «Без сына мир должен стать другим».

Оптимизма жены Киплинг не разделяет, однако держится не

хуже ее, ничем и никому своего горя не выдает. (Один раз, впрочем, выдал. Провожая к машине приятельницу, жену французского генерала Тауфлиба, навестившую Киплингов в отеле «Браун», он вдруг крепко сжал ей руку и сказал: «На колени, Джулия, и благодарите Господа, что у вас нет сына».) Помогает, как бывает в таких случаях, работа: по заданию правительства Киплинг пишет большую документальную книгу «Война на море», а также очерки о своих поездках по военным лагерям, на военные корабли, в госпитали. И, как обычно, ведет обширную переписку, свое горе же доверяет только самым близким — Кэрри, дочери, кое-кому из друзей.

«С 27 сентября, с битвы при Лоозе, наш мальчик считается раненым и пропавшим без вести, и с этих пор никаких официальных сообщений нам больше не поступало, — пишет он школьному другу, дослужившемуся до бригадного генерала „Прохвосту“ Данстервиллу. — Но то немногое, что удается узнать у оставшихся в живых, говорит о том, что он мертв, возможно, попал под артиллерийский огонь. Что ж, его мечта осуществилась: в окопах он просидел недолго… Он вел свой взвод около мили по открытой местности и был сражен артиллерийским и пулеметным огнем, когда стал стрелять из пистолета по дому, где засели немцы. <…> Про него говорили, что он был одним из лучших младших офицеров. <…> Жизнь он прожил короткую. Горько сознавать, что годы работы перечеркнуты одним днем, но в нашем положении ведь оказались многие, да и вырастить мужчину — это уже кое-что. Жена держится превосходно, хотя конечно же уговаривает себя, что он попал в плен. Но я-то знаю, что такое артиллерийский обстрел, а потому ни на что больше не надеюсь».

* * *

«Без сына мир должен стать другим». Мир, вопреки ожиданиям, остался прежним. Жизнь Киплингов — по крайней мере со стороны — не изменилась, оставалась такой же, как до гибели Джона. Разве что стала чуть более уединенной, закрытой — «открытой», впрочем, она не была никогда. Киплинг, в соответствии со строгим, издавна установленным распорядком, по утрам работал. Кэрри, как и раньше, занималась домом, хозяйством (а оно сильно разрослось: Киплинги заводят лошадей, коров, свиней, гусей, кур, строят молочную ферму), отвечала на письма, платила по счетам, отсеивала, как это делала всегда, многочисленных посетителей. И еще больше, чем раньше,

опекала мужа, в буквальном смысле слова не спускала с него глаз — после гибели сына пятидесятилетний Киплинг начал сильно сдавать. «Мистер Киплинг утратил свою жизнерадостную походку, хотя гений и отвага нисколько не притупились», — вспоминает Дороти Понтон в 1919 году. Писатель и в самом деле выглядит в это время каким-то угасшим, он сильно похудел, гастрит обострился. Киплинг часто на весь день остается в постели, ему прописывается строжайшая диета, он мучается сильными болями в желудке и в конце концов вынужден в 1922 году лечь в больницу — сначала на рентгеновское обследование, а затем на операцию, и только после операции постепенно начинается улучшение. Зато теперь ухудшается здоровье Кэрри: радикулит, диабет, падает зрение; для родителей смерть сына не прошла даром.

Несмотря на болезни, Киплинг, как и раньше, много пишет (а Дороти Понтон добросовестно, по многу раз, перепечатывает написанное мэтром — пишущей машинкой Киплинг владел плохо и неохотно). В 1917 году он выпускает сборник рассказов «Многообразие существ», в этом же году к нему обращаются с предложением написать историю полка Ирландских гвардейцев, и Киплинг, по понятным причинам, с энтузиазмом берется за дело: опрашивает приезжавших в «Бейтменз» уцелевших гвардейцев, навещает их в госпиталях, записывает воспоминания. «Эту книгу, — признавался впоследствии он, — я писал, превозмогая мучительную боль, обливаясь кровавым потом». В сентябре того же года писатель получает еще одно предложение, от которого также никак не может отказаться, — войти в Комиссию по захоронению погибших на войне британских солдат и офицеров. Возможно даже, он берется за дело не без тайной надежды: а вдруг…

По инициативе Киплинга, работавшего в комиссии до конца своих дней и изъездившего с этой целью множество стран, побывавшего на всех военных кладбищах Европы, где были захоронены британцы, а таких кладбищ было более тридцати, у входа на кладбище возвели стелу с выбитой на ней надписью «Их имена будут жить вечно».

Параллельно с историей полка Ирландских гвардейцев Киплинг пишет еще один исторический труд — «Война в горах», описание итальянской кампании. С этой целью он специально едет в Италию, где сначала поднимается в Альпы, а затем отправляется в Рим, где встречается с папой в Ватикане, про который по возвращении напишет: «Впечатление такое, что у этой земли глаз и ушей больше, чем перьев у павлина».

Общества знаменитого писателя и одиозного своим

закоренелым консерватизмом общественного деятеля ищут в военные и послевоенные годы сильные мира сего. В «Книге посетителей» в «Бейтмензе», которую завела дотошная Кэрри, содержатся имена виднейших политиков, литераторов, издателей, педагогов, художников со всего света. Список имен, вспоминает Элси, сопровождался забавными пометами хозяина дома, например: «Холодный рисовый пудинг», что значило, что имярек предпочитает пудинг холодным, или аббревиатура «УВП»: «упал в пруд»; летом гости катались на лодке по пруду, и кто-то свалился в воду.

В 1918 году к римскому папе, кардиналам, членам британского кабинета министров, старым друзьям — французскому премьеру Жоржу Клемансо и бывшему американскому президенту, «образцовому» империалисту, «политику большой дубинки» Теодору Рузвельту, — присоединился и действующий президент Вудро Вильсон, на встречу с которым в конце декабря Киплинг был приглашен в Букингемский дворец. В отличие от напористого, активного, уверенного в себе Рузвельта, которого Киплинг годом позже, когда Рузвельт умер, назовет в своей эпитафии «великим сердцем» («Ах, без Великого сердца наш мир безопасней не стал!»), — вялый, корректный, «правильный» Вильсон писателю не полюбился. «Впечатления он на меня не произвел, — заметил Киплинг после встречи. — Он никакой. Школьный учитель до мозга костей».

А вот английский король Георг V — произвел. Писатель и монарх встретились впервые в 1922 году во Франции: король и королева знакомились с результатами работы Комиссии по захоронению. Встреч, собственно, было две, с разницей в два дня. Первая, неофициальная, состоялась 11 мая в городке Вламертен. Киплингу, наскоро переодевшемуся во фрак, пришлось довольно долго ждать под открытым небом короля, прибывшего в сопровождении фельдмаршала Хейга, что он и описал спустя несколько лет в рассказе «Долг». Вторая встреча состоялась под Булонью, в Терлингтене, на кладбище, где было много захоронений английских солдат, в присутствии большого числа приглашенных на торжественную траурную церемонию. «По дороге сюда, — сказал Георг в своей речи, — я много раз задавался вопросом, есть ли на свете более принципиальные приверженцы мира, чем те, кто собрался здесь почтить поверженных войной мертвецов». Киплингу понравилось, как король держится и как говорит, а Киплинг, в свою очередь, понравился королю. После возложения венка на мемориал посмертной славы чета Киплингов была представлена Георгу, и

монарх удостоил их короткой беседы — речь, по всей вероятности, шла о Джоне. После этого король и писатель обменялись несколькими репликами, а через несколько дней, по возвращении в Англию, Киплинг удостоился приглашения на королевский ужин в узком кругу, что, вне сомнений, свидетельствовало: писатель и в прямом и в переносном смысле пришелся ко двору.

Представители прессы же в «Бейтмензе» — нетрудно догадаться — ко двору не пришлись, их Кэрри не пускала на порог: Киплинг во все времена, о чем уже не раз говорилось, терпеть не мог репортеров, особенно американских, — слишком хорошо знал эту профессию. Сторонился их, избегал, очень редко, в виде большого исключения, когда уже некуда было деваться, давал короткое, немногословное интервью. Пользуясь поразительным умением разговорить любого собеседника, он вынуждал вместо себя говорить интервьюера, а сам помалкивал, в крайнем случае, подавал короткие, незначащие реплики. Элси вспоминает, как один юный, необстрелянный репортер, явившись к Киплингу, рассказал ему всю свою жизнь, прежде чем сообразил, что писатель не сказал о себе ни единого слова.

Сам же Киплинг брал интервью с жадностью, как встарь, еще в Индии, о чем свидетельствует французский писатель Жозеф Рено, однажды, уже в тридцатые годы, обедавший с Киплингом в Авторском клубе. «Этот маленький смуглый человечек в ослепительных золотых очках и с огромными бровями, — вспоминает Рено, — подскочил ко мне и без всякого вступления забросал меня вопросами: „У Дюма дуэли точны в подробностях? Существуют ли такие бретонцы, какими их описывал Пьер Лоти? Верно ли, что у госпожи Бовари был реальный прототип? Расскажите мне об этой Колетт, чьи рассказы о животных куда лучше моих!“ И так далее, и так далее. Один вопрос сменял другой с такой скоростью, что я не успевал на них отвечать. Слушая меня, он гладил свою лысую голову такой смуглой рукой, что его можно было принять за индуса. <…> И, наконец, убедившись, что он выжал из меня все, что только мог, человечек резко от меня отвернулся и небрежно бросил: „Спокойной ночи“. Никогда не встречал интервьюера более напористого. Спустя несколько минут я поделился своим впечатлением с Фрэнком Харрисом, и тот подтвердил: „Радди по-прежнему журналист до мозга костей. Ему всегда хочется узнать чуть больше, чем знают остальные“».

Вот и Клэр Шеридан тоже «хотелось узнать чуть больше, чем знают остальные». Клэр отличалась железной хваткой и несомненным женским обаянием, и Киплинг под него подпал,

расслабился, дал-таки ей интервью. И за это поплатился. Кто бы мог подумать, что Клэр Шеридан, дочь соседей Киплингов по суссекскому дому, так его «подставит»?! Разговор с ней в «Бейтмензе» за чашкой чая носил неформальный, дружеский характер и с интервью вроде бы не имел ничего общего, Киплинг не мог вообразить, что о их разговоре станет кому-нибудь известно. Тем более удивительно было обнаружить спустя несколько дней в американской газете «Нью-Йорк уорлд» весьма нелицеприятное мнение знаменитого писателя об Америке. В биографии Киплинга это был уже второй подобный сюрприз; первый, если читатель помнит, произошел в Вермонте, когда Кэрри, не отказав замерзшей, занесенной снегом столичной журналистке в горячем чае, отказала ей в беседе с мужем. Киплинг, как мы знаем, никогда не питал к Штатам большой любви, но в этом не признавался, и когда его обвиняли в американофобии, в резких высказываниях против американцев, любил рассказывать анекдот про негра, которого судят за то, что тот ударил белую женщину палкой по голове. «Вы что же думаете, я бы ее ударил, если б не любил?» — заявил негр на суде в свое оправдание. Вот и я, смеялся Киплинг, не ругал бы Америку, если бы не любил ее.

В действительности Киплинг — возможно, после истории с Битти Бейлстиром — американцев конечно же недолюбливал (хотя делал исключение для Нортонов, доктора Конланда, Теодора Рузвельта, Фрэнка Даблдея и еще многих верных друзей), однако тут, если верить Клэр Шеридан, превзошел самого себя.

Америка, делился с собеседницей ничего не подозревавший писатель, слишком поздно вступила в войну, вышла из нее слишком рано, нажилась, так сказать, на чужом горе. Страна насквозь коррумпирована, и виновато в этом нищее отребье из Европы, это они, безродные эмигранты, управляют теперь страной за отсутствием истинных американцев, погибших в гражданской войне. Трудно сказать, в самом ли деле писатель нес этот вздор, или Клэр Шеридан приврала, но то, что Киплинг был ярым противником американского изоляционизма, было хорошо всем известно — он этого нисколько не скрывал. В результате вышел большой скандал, ведь Киплинг в Англии был не последним человеком, и у читателей возникло естественное подозрение, что писатель является выразителем не только своей собственной, но и официальной точки зрения.

Пришлось объясняться. «Я не давал миссис Шеридан интервью, — заявил в прессе Киплинг, — я не произносил слова, которые она мне приписывает, однако в моем обыкновении было и остается говорить то, что я считаю нужным, и не бояться

ставить под сказанным свою подпись». Реплика Киплинга выглядит, признаться, довольно нелепо, примерно так же нелепо, как и данное им интервью: начинается она с оправдания, а кончается вызовом, из чего следует, что, может быть, Клэр Шеридан и несколько сгустила краски, но смысл сказанного Киплингом передала в целом правильно.

Несмотря на официальное опровержение, последнее слово оказалось все же за Клэр. «Редьярд Киплинг, — довольно развязно, в американском стиле писала Клэр Шеридан в своей книге „Nuda Veritas“[32], — живой человечек с юмором школьника, не произвел бы на меня особого впечатления, будь у него выбриты брови и не знай мы, как его зовут. Он, можно сказать, прикован к домашнему очагу. Когда он раскрывает рот, чтобы рассказать забавную историю, миссис Киплинг всегда его перебивает, она убеждена, что расскажет анекдот куда лучше».

Тут Клэр не ошиблась. Во всяком случае, английский прозаик Хью Уолпол в своих воспоминаниях пишет примерно то же самое. «Киплинг похож на гнома. <…> Он добродушен, общителен, готов, судя по всему, дружить с кем угодно, но за собой следит. Следит за ним и мадам Киплинг. Женщина решительная, она так долго за ним присматривала, что прекрасно знает, как избавить его от любых невзгод — умственных, физических или духовных. Это ее работа, и справляется она с ней превосходно. <…> Первое, что бросается в глаза, когда видишь Киплинга, — это его брови. Его тело ничего собой не представляет, зато глаза великолепны, они искрятся теплом, добротой и исключительной гордостью.

Он добр ко всем нам, мы же все — лишь его тени. „Кэрри“, — говорит он, поворачиваясь к миссис К., и сразу видишь, что она для него единственный реально существующий человек. И Кэрри берет его, прижимает к груди и несет в их неуютный дом с твердыми стульями. Он же совершенно счастлив».

Глава пятнадцатая «ДОЛЖЕН ЖЕ ПОЕЗД КОГДА-НИБУДЬ ОСТАНОВИТЬСЯ»

Отношения между супругами в последние годы жизни Киплинга переданы Клэр Шеридан и Хью Уолполом зло, но довольно точно. Дело в том, что Кэрри так до конца и не оправилась после смерти сына, к радикулиту и диабету прибавились расшатанные нервы, она пребывает в постоянном напряжении, которое нередко выливается в истерику. Как и раньше, она, как говорят англичане, means well («хочет как лучше»), но то и дело срывается, ее властную, тревожную натуру трудно обуздать, и Редьярду, несмотря на его поистине ангельское терпение и любовь к жене, в самом деле приходится порой нелегко. Тем не менее супруги не расстаются ни на минуту. Редьярд возит Кэрри по врачам, однажды, осенью 1935 года, даже повез ее на лечебные воды в Мариенбад, хотя ехать в Германию ему, по понятным причинам, хотелось не слишком.

Назвать в эти годы Киплинга счастливым, как это сделал Уолпол, было бы большой натяжкой. Спустя девять лет после гибели Джона Киплинги остаются в «Бейтмензе» совсем одни. Элси, живая, пытливая (дома ее все называли «Элси-почемучка»), в 1924 году выходит замуж за Джорджа Бэмбриджа, дипломата, бывшего офицера, служившего, как и Джон, в полку Ирландских гвардейцев. Молодые отбывают по месту работы мужа в Брюссель, долгое время живут в Мадриде и Париже и в Англию возвращаются только спустя десять лет, в 1933 году. «Бейтменз» опустел. «Дом сделался вдруг каким-то большим и очень тихим», — пишет Киплинг дочери, которую за порывистость и жизненную активность называл «Пташкой».

Оставшись без детей, Киплинги на глазах стареют и все чаще болеют. В декабре Редьярд опять слег с пневмонией, он страдал от язвы двенадцатиперстной кишки, пребывая при этом в полном неведении, отчего у него такие сильные и подолгу непрекращающиеся боли в желудке. Его близкий друг и знаменитый хирург сэр Джон Глэнд-Саттон лечил Киплинга не один десяток лет, однако поставить ему верный диагноз так и не сумел.

Нет ничего удивительного поэтому, что в рассказы 1920—1930-х годов проникают мотивы войны, врачей, болезней, смерти — все это для стареющего писателя, потерявшего к тому же двух детей, более чем актуально. Сказывается подавленное настроение Киплинга и на чтении: в конце жизни он полюбил поэтов-

метафизиков, Джона Донна в первую очередь, елизаветинцев, Мильтона, везде возил с собой томик Горация, которого так ненавидел в школе.

Вместе с тем жизнь идет своим чередом, и нельзя сказать, чтобы Киплинг последние пятнадцать лет жизни ничего не писал, никуда не ездил, ни с кем не общался и жил затворником в суссекской глуши. Вовсе нет.

В 1923 году выходят, наконец, «Ирландские гвардейцы в мировой войне». Тремя годами позже появляется сборник рассказов «Приходы и расходы», где доминирует военная тема, через шесть лет — еще один, последний сборник рассказов «Границы и обновления». Примерно в это же время Киплинг вместе с оксфордским историком Флетчером пишет для школ «Историю Англии», а совсем незадолго до смерти завершает автобиографию «Немного о себе», на которую мы в этой книге так часто ссылались. Книги вышедшего из моды писателя продолжают тем не менее издаваться большими тиражами. Английское издательство Макмиллана продало в общей сложности семь миллионов экземпляров произведений Киплинга, американский «Даблдей» — восемь миллионов. В тридцатые годы в Англии и Америке выходят многочисленные сборники избранной прозы и поэзии Киплинга, издательство «Мэтьюен» «отвечает» за поэзию, издательство «Макмиллан» — за прозу. Какие только киплинговские издания не выходят в эти годы: и карманные, и школьные, и подарочные, в коже и с золотым обрезом, и скромные, в мягком переплете «служебные» — для солдат и колониальных чиновников. Выпускаются тематические сборники, скажем, все рассказы Киплинга о собаках, или все рассказы Киплинга из морского быта, или все истории с участием «человеческого детеныша» Маугли. С особым тщанием, на особой, вручную изготовленной бумаге готовится «подарочное» 35-томное полное собрание его сочинений, которое принято называть «Суссекским» и которого сам Киплинг уже не увидит.

В 1920—1930-е годы слава писателя существенно опережает его литературные достижения. В этот период к титулу почетного доктора Оксфордского университета Киплинг прибавляет не менее значимый пост члена совета кембриджского колледжа Святой Магдалины. В 1921 году он становится почетным профессором («мастером») Сорбонны, где в ноябре в торжественной обстановке читает лекцию «Добродетель Франции», а затем и доктором Страсбургского университета. Его, вслед за Вальтером Скоттом, Джорджем Мередитом и Томасом Гарди, награждают золотой медалью Королевского литературного общества, он неизменный участник заседаний Королевской

академии искусств, только по одному его роману «Свет погас» снимаются три фильма. В 1927 году стараниями его школьного друга Данстервилла создается Киплинговское общество, которое выпускает ежегодник «Киплинг джорнэл» и на сегодняшний день насчитывает больше тысячи членов. Киплинг — почетный член самых заметных лондонских клубов — «Атенеума», «Авторского», «Бифстейк-клаб» — даром что бифштекс ему, язвеннику, строго противопоказан. Ему, как мы знаем, благоволит сам король. После двух встреч во Франции Киплинг и Георг V, встретившись однажды в одном частном доме, проговорили, к недоумению и зависти гостей и хозяев, весь вечер, а спустя несколько недель Киплинг получил приглашение провести уик-энд в королевской загородной резиденции Балморал. Киплинг снабжает короля-книгочея книгами, которые тот возвращает владельцу аккуратно надписанными августейшей рукой, и даже как-то раз сочиняет монарху его традиционное рождественское радиообращение.

Не покидает Редьярда и Кэрри и «охота к перемене мест». Оставив разросшееся хозяйство на надежнейшую и преданнейшую Дороти Понтон, пожилая чета объездила на машине всю Англию и Шотландию, к Франции, которую они в тридцатые годы исколесили вдоль и поперек, добавились Испания, Италия, Чехословакия. Побывали они и в Алжире, и на Сицилии, и в Судане, описанном в «Письмах из путешествий», уже во второй раз в Египте, в Палестине и даже на Ямайке и в Бразилии, откуда автор «Маугли» и «Кима» регулярно посылал «Бразильские очерки» в консервативную «Морнинг пост», свою самую любимую лондонскую газету.

Пишет Киплинг во время путешествий и для себя самого, не в газету, а в записную книжку — когда-нибудь, дескать, пригодится. Эти его путевые заметки сочетают в себе дотошные, как в туристических справочниках, сведения об отелях, дорогах, цифрах на спидометре и погодных условиях с оригинальными, красочными, порой забавными наблюдениями и впечатлениями. Эти подробности писатель приберегал для рассказов, но хороши они и сами по себе.

Вот, например, что он пишет в уже цитировавшихся «Французских сувенирах»: «Вас-то мы приютим, мсье, — заверил нас местный крестьянин, когда мы подъехали к его дому. — Вас, но не Ваш автомобиль. Он перепугает наших лошадей». Или: «Прохожие здесь, стоит им оказаться на проезжей части, напоминают буйно помешанных, они шарахаются от машин и на всю улицу кричат: „Assasin!“»[33].

А вот отрывок из письма Райдеру Хаггарду от 14 марта 1925 года: «Весь пейзаж вокруг Гавра похож на только что испеченный

(и довольно дешевый) свадебный торт, слегка припорошенный пудрой, то бишь снегом. Снега ровно столько, чтобы не суметь удержать на скользкой дороге машину Сена же напоминает сплав олова со свинцом, текущим между сверкающих на солнце берегов…»

Запись в дневнике от 22 марта: «И, наконец, в самом конце дождливого дня мы в Шартре. Великая серо-синяя громада собора занимает собой, кажется, пол-Франции. Нашу старую гостиницу, отчего мы пришли в бешенство, модернизировали, и ее заполнили ouvriers[34], а также запах краски, бензина и чудовищный шум. В собор мы вошли в сгущающихся сумерках, и мнилось, будто проникаешь в самую сердцевину драгоценного камня…»

«Мне нравятся испанцы зато, что остальной мир их нисколько не интересует, но любить я их не могу…»

«…Через пару часов вы в Лурде. Такие же гладкие бело-голубые гроты в горах, но вместо выгравированных тотемов — лаванда и белый лик Мадонны на том самом месте, где Бернардетте, крестьянской девушке, было видение. И вся гладкая, узловатая отвесная скала тесно уставлена бессчетными свечами, что вспыхивают и угасают, точно дети человеческие… В густых садах утопает церковь с монастырскими гостиницами по бокам, где летом увечные, лежа, ждут, когда же их вылечат. Зимой чудес не бывает».

Оказывается, бывают. 30 декабря 1935 года на семидесятилетие Киплинга, про которое писатель говорил, что такому юбилею «не хватает обаяния», критика, которая давно уже его игнорировала, неожиданно и единодушно откликнулась громкими похвалами, на что юбиляр ответил всегдашним: «Предпочитаю жить и умереть просто Редьярдом Киплингом». Кэрри, — ей на следующий день должно было исполниться семьдесят три — с мрачным юмором отметила, что свой день рождения она отпразднует, разбирая почту мужа, — в обшей сложности 108 телеграмм и 90 писем. Было среди этих писем и поздравление от короля, а также — записала Кэрри в дневнике — «много писем от совсем простых людей, где говорилось, как много он для них значит».

Настроение юбиляра, несмотря на то, как много он значил для простых людей, было не праздничным, в этот день писатель был, скорее, настроен на философский лад. «Должен же поезд когда-нибудь остановиться, — писал он в те дни старому своему знакомому, сетовавшему на болезни и дряхлость. — Лишь бы станция не оказалась в каком-нибудь гадком, Богом забытом месте». Не имел ли Киплинг в виду бездетный, опустевший

«Бейтменз»? Ведь когда-то, четверть века назад, путешествуя по Суссексу в поисках дома, они с Кэрри, сойдя с поезда, в один голос так и назвали Бэроуш — «Богом забытое место».

Зимой в «Бейтмензе» невесело: речушка разливается, сыро, пасмурно, с утра до ночи дождь со снегом, рано темнеет. То ли дело Канны, Лазурный Берег — туда-то Киплинги и собирались, как и все предыдущие годы, выехать в середине января. А за несколько дней до отъезда — приехать в Лондон, остановиться, по традиции, в своем любимом старомодном отеле «Браун», том самом, где они прожили несколько дней в январе 1892 года сразу после свадьбы и перед отъездом в Соединенные Штаты. В этом отеле больше двадцати лет назад Киплинг встречался с субалтерном полка Ирландских гвардейцев семнадцатилетним Джоном Киплингом, проходившим в близлежащих казармах военную подготовку перед отправкой на фронт.

Редьярд и Кэрри 12 января, как и собирались, съездили к заболевшему бронхитом зятю Джорджу Бэмбриджу в Хэмпстед, причем Редьярд, в отличие от хандрившей жены, чувствовал себя отменно, пребывал, предвкушая путешествие на юг своей любимой Франции, в отличном расположении духа. А рано утром 13-го Элси позвонили из лондонской больницы «Миддлсекс хоспитал»: ночью у ее отца открылось обширное желудочное кровотечение, его тут же положили на операционный стол и срочно прооперировали. Элси понеслась в больницу, где встретилась с совершенно растерявшейся матерью и хирургами и тогда только поняла, насколько серьезно обстоит дело. Между тем у ворот больницы и отеля «Браун» уже начала собираться толпа охочих до сенсации репортеров и фотографов, стали приходить письма и телеграммы, в которых приподнятый, юбилейный тон разом сменился тревожным и озабоченным; в холле отеля и больницы не смолкал телефон.

16 января состояние больного заметно ухудшилось, и Кэрри с Элси (дочь, несмотря на болезнь мужа, перебралась к матери в отель) предупредили, что они должны быть готовы выехать в больницу в любую минуту. Вечером 16-го они вернулись в гостиницу от больного, но не успели прилечь, как в два часа ночи раздался звонок из больницы, и они под густым снегом, в кромешной тьме бросились обратно в «Миддлсекс хоспитал».

Весь следующий день 17 января они просидели у изголовья умирающего (а в том, что Киплинг умирал, ни у кого не оставалось ни малейших сомнений), вечером их отвели в отдельную комнату немного отдохнуть, а вскоре после полуночи, 18 января, Редьярд Киплинг, уже с вечера впавший в беспамятство, скончался.

* * *

18 января. Со всего света поступают письма и телеграммы соболезнования. Премьер-министр Стэнли Болдуин говорит по радио о своем кузене. Приходит телеграмма от королевы: «Король и я с болью в сердце узнали, что сегодня утром скончался мистер Киплинг. Мы будем скорбеть о нем не только как о великом национальном поэте, но и как о человеке, который на протяжении многих лет был нашим близким другом. Пожалуйста, примите наши искренние соболезнования».

19 января. Покрытый британским флагом гроб с телом Киплинга доставляют в Голдерс-Грин для кремации. Телеграмма Кэрри от принца Уэльского (в дальнейшем короля Эдуарда VIII): «Прошу вас принять мои глубокие соболезнования в связи со смертью вашего выдающегося мужа».

20 января. Умирает король Георг V.

22 января. Элси и Джордж Бэмбридж забирают урну с прахом Киплинга из часовни в «Миддлсекс хоспитал» и отвозят ее в Вестминстерское аббатство.

23 января. Захоронение урны с прахом Киплинга в Вестминстерском аббатстве в Уголке поэтов. Похороны проходят по высшему разряду. Заупокойную службу читает настоятель Вестминстерского аббатства, который воздает благодарность Всевышнему за то, что Он ниспослал Англии и всему миру пророка «на много поколений вперед». Исполняется «Последнее песнопение». На похоронах присутствуют архиепископ Кентерберийский, премьер-министр, он же кузен покойного Стэнли Болдуин с супругой, министр финансов Невилл Чемберлен с супругой, министр обороны, адмирал флота его величества сэр Роджер Кейс, фельдмаршал Монтгомери, глава кембриджского колледжа Святой Магдалины, издатель «Морнинг пост» Хорэс Гуинн, многолетний литературный агент Киплинга Эндрю Уотт, представители Киплинговского общества во главе с его председателем генерал-майором Лайонел-лом Данстервиллом, представители Авторского общества, Диккенсовского фонда, Английской поэтической ассоциации, масонской ложи, послы Франции, Бразилии, Бельгии, Италии, родственники, близкие друзья — и ни одного видного писателя. Для сравнения скажем, что без малого восемь лет назад, 14 января 1928 года, на похоронах Томаса Гарди здесь же, в Вестминстерском аббатстве, собрался весь цвет английской литературы. Был, между прочим, и Бернард Шоу; высокому Шоу и низкорослому Киплингу нести гроб было неудобно, да и относились они друг к другу не ахти. Киплинг тогда, говорят,

поспешно пожал Шоу руку и еще поспешнее отвернулся от него, как от прокаженного; социалисту и империалисту было нечего сказать друг другу…

«Когда Кэрри, Элси и я последовали за урной в Уголок поэтов и остановились на краю разрытой могилы, я вдруг испугался, что Кэрри Киплинг упадет в могилу, — ее качало из стороны в сторону, — вспоминает Джордж Бэмбридж. — Мы с Элси взяли ее под руки с обеих сторон, и вскоре она немного пришла в себя. Служба продолжалась долго… Тысячи людей остались за дверьми аббатства. <…> После службы все присутствующие прошли процессией мимо могилы, распевая „Последнее песнопение“».

На могиле осталось два венка. Один — от соучеников по Юнайтед-Сервисез-колледж, второй — от садовника в «Бейтмензе»: венок садовника был сплетен из листьев любимых деревьев покойного хозяина «Самого собственного дома» — дуба, ясеня и боярышника.

«Это был, без сомнения, — пишет далее Бэмбридж, — величайший из ныне живущих англичан. Он был исключительно прозорлив, великодушен, творения его будут жить вечно».

Едва ли Киплинг в 1936 году был «величайшим из ныне живущих англичан». Свою славу он давно пережил. Не был он и «исключительно прозорлив». Как придерживавшийся правых взглядов литератор, общественный деятель и идеолог, вопреки всему верный империи («прямой, как стрела, путь»), которой в 1936 году оставалось жить немногим больше десяти лет, он не только не был прозорлив, но отличался прискорбно упрямой близорукостью. Что конечно же не мешало ему быть замечательным поэтом и прекрасным прозаиком; относительно вечности его творений Бэмбридж не ошибался. «Книги джунглей», «Ким», «Просто сказки», «Если», «Бремя белого человека», «Последнее песнопение» будут и впрямь жить очень долго. И не только на английском языке.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Киплинг-журналист

Приведем девять фрагментов из репортажей Р. Киплинга 1884–1888 годов, печатавшихся в лахорской «Гражданской и военной газете» и в аллахабадском «Пионере» и никогда раньше на русский язык не переводившихся.

Между газетной статьей Киплинга-репортера и рассказом Киплинга-новеллиста, о чем в этой книге не раз говорилось, немало общего. Его рассказ вышел из газетного очерка, да и печатались газетные репортажи и рассказы Киплинга, как правило, в одном и том же номере газеты, на соседних полосах.

Сквозь репортерскую непредвзятость, отстраненность проступает порой едва заметная, нежурналистская ирония. Тем, кто привык считать Киплинга твердокаменным патриотом, убежденным джингоистом, апологетом британского империализма, воспевшим бравого английского солдата и его миссию, стоило бы, прежде всего, обратить внимание на репортаж о занятиях по военному делу, мало отличающихся от тех, на которых в достопамятные советские времена присутствовали мы. А также — на социально-психологический экскурс об англо-индийцах, остроумно и мастеровито стилизованный под путевой очерк путешествующего по Индии англичанина из метрополии. Таких англичан, «пикейных жилетов», мало смыслящих в том, что происходит в Индии, однако преисполненных самомнения и спеси, можно встретить в очень многих рассказах Киплинга; далеко не все соотечественники писателя справлялись с «бременем белого человека».

Патиала, 20 марта 1884 г.

Сегодня, в шесть часов утра лорд Рипон со своим штабом отправился на охоту в Буннархаир, находящийся в шести милях от Патиалы, и вернулся около полудня, подстрелив много зайцев и барсуков; целились и в черную антилопу, но ей удалось скрыться. Леди Рипон супруга не сопровождала и большую часть дня провела в садах Моти-Багх. В настоящее время в стане вице-короля ничего примечательного не происходит, вечером же, о чем я уже телеграфировал, лорд Рипон нанесет ответный визит юному махарадже, после чего во дворце дан будет прием в его честь. Подготовка к приему уже идет полным ходом, и зала, в которой он состоится, заслуживает подробного описания. Представьте себе помещение 70 ярдов в длину и 30 в ширину, буквально

набитое люстрами и хрустальными фонтанами белого, красного и зеленого стекла; присовокупите к этому неисчислимое количество зеркал, алебастровых статуй, персидских ковров, расшитый золотом индийский ковер пяти ярдов в ширину и два массивных, отделанных серебром и золотом трона, — и вы получите весьма, впрочем, отдаленное представление о том, что собой представляет зала для приемов. Одни только три хрустальные люстры, как я слышал, обошлись в два с половиной миллиона рупий. Находятся люстры на высоте тридцати футов, и в каждой насчитывается около двух тысяч свечей. Дабы описать и половину чудес сей ослепительной залы, понадобилось бы перо Уолта Уитмена, сего вдохновенного аукциониста вселенной. В дневное время, когда солнечный свет играет в расцвеченных всеми цветами радуги люстрах, в золотом шитье ковров, она мнится не более реальной, чем пещера Аладдина. Каковой же будет она сегодня вечером, когда вспыхнут мириады свечей, а пол разукрасится многоцветными туземными нарядами! <…>

«Неделя в Лахоре», 7 мая 1884 г.

О Лахоре — особенно когда все, кто может, сбежали в горы, а «медник» целыми днями, заливаясь, справляет тризну над почившими в бозе радостями прохладной погоды, — рассказывать особенно нечего. Вечером в пятницу лахорцы (человек тридцать, никак не меньше) рассаживаются вокруг эстрады, либо, подобно теннисоновским божкам, что были столь нерадивы в исполнении своего долга перед человечеством, лениво потягивают воду со льдом в парке Лоренс-холл. Репортеру писать решительно не о чем — не описывать же старинные экипажи или кресла с сиденьями из тростника! Лахор впал в спячку и пробудится никак не раньше октября, когда дожди смочат сухую землю и вновь зазвучат голоса вернувшихся с гор птиц. Для всех тех, кто у себя в Англии полагает, будто англичанин в Индии, вместо того чтобы отрабатывать назначенное ему высокое жалованье, целыми днями только и делает, что топчет ногами кобр и «гуляет по джунглям» (после того, как вернувшийся на родину блудный сын разъяснил соотечественникам, что на железнодорожной станции в Пенджабе змеи обычно не водятся, джунгли в рассказах фигурируют постоянно), — мрачное зрелище десятка распаренных мужчин, что жадно поглощают холодные напитки в тени раскалившихся от жары оштукатуренных стен дворца, будет целебным и поучительным.

Если что и нарушает наш вечный покой, так это приезд чужестранцев из мест еще более жарких — к примеру, мултанцев. Наша испепеляющая жара представляется им живительной

прохладой и действует на них точно заклинание; дождь для наших гостей — удовольствие, ни с чем не сравнимое. Несколько недель назад мултанец и ливень обрушились на нас одновременно. Стоило первым крупным каплям застучать по крыше клуба, как приезжий мултанец бросил кий и стремглав выбежал на веранду, где, высоко задрав голову, простоял с блаженной улыбкой на устах, покуда не промок до нитки. «Три года не видел дождя», — пояснил он стоявшему с ним рядом и столь же счастливому чужестранцу. Мораль же этой истории проста: «Всегда найдутся на свете такие, кому еще хуже, чем нам». <…>

Ярмарка в Амритсаре, 19 октября 1884 г.

В пятницу вечером на всех станциях между Лахором и Амритсаром стояла преграждаемая всего одним полисменом и тонкой решетчатой перегородкой благонравная, дисциплинированная толпа. Шедший из Лахора почтовый поезд был переполнен, и даже перепереполнен до такой степени, что привыкшие к тесноте местные жители вынуждены были признать, что места в поезде для них не найдется. Однако вера их в железнодорожный транспорт была столь же неприхотлива, сколь и безмятежна. Другие поезда, заверили их, прибудут в самом скором времени, а потому, обменявшись почтительными шуточками с полисменом у выхода на платформу, сии неторопливые путники уселись, укрывшись от палящего солнца одеялами, на землю и стали покорно ждать, когда же Провидение и местные власти соблаговолят прислать за ними «специальный» поезд. Пассажиры в Англии сломали бы эту чертову перегородку, свалили бы с ног полисмена и набились в полупустые вагоны первого класса — не ждать же поезда «целый» час!

Следом за битком набитым почтовым прибыл ничуть не менее набитый состав, где разместился батальон Южно-Ланкаширского полка, который перебрасывался из Миан-Мира в Аллахабад по пути в Аден. Около трехсот облаченных в хаки и обливающихся потом военных вывалились на полчаса на платформу перевести дух. За эти полчаса решено было nemine centradicente[35], что местное пиво отвратительно, что ехать в одном купе вдесятером не менее отвратительно и что Аден куда лучше Индии хотя бы потому, что «к дому ближе будет». Но тут негаданно протрубившая сигнальная труба загнала громогласных парней обратно в вонючие вагоны, и они, оглашая окрестности казарменными шуточками, растворились во тьме на пути к опаленным солнцем скалам, которые «всё к дому ближе будут».

Встречайте: Эмир-хан, 1 апреля 1885 г.

10 утра. Колонна исчезла в низине, появилась вновь и быстро приближается. Артиллеристы забегали вокруг орудий, и поднявшееся в небо облачко белого дыма оповестило собравшихся на сигнальной башне форта, что собрались они там не зря. Одно, два, три — двадцать одно орудие; густой дым повис над жерлом пушки, и в ту самую минуту, как прогремел последний приветственный залп, на британскую землю ступила нога властителя Афганистана и подвластных ему земель эмира Абдурахман-хана. Если смотреть на него в полевой бинокль, то он ничуть не больше синего пятнышка на крошечной лошадке. Для того же, чтобы увидеть его вблизи, придется продираться сквозь строй не менее чем двухсот афганцев, что спешно выстраиваются вдоль дороги. Полковник Уотерфилд и генерал Гордон едут справа от красивого человека с черной бородой, в синей, расшитой золотом чохе. При приближении к лагерю они пускают лошадей вскачь. Тем, у кого подобные детали вызывают любопытство, сообщаю, что эмир все это время с приветливой улыбкой и с нескрываемым интересом смотрел по сторонам. За ним следовала его кавалерия, диковатого вида живописно одетые люди на диких лошадях; когда сочиняешь на ходу, описать их внешность невозможно. За исключением узбекских улан, снаряжение у кавалеристов совершенно разное — cela va sans dire[36]. Узбеки же очень напоминают казаков: у них такие же высокие седла и круглые косматые шапки. Кое-кто из офицеров помахивает раздвоенными на конце хлыстами, все как один превосходно держатся в седле. Следом за узбеками едут всадники самого разного толка: одни — в серых фетровых жокейских кепках, с веревочными уздечками, другие — в отороченных мехом шапочках, с заряжающимися с дула карабинами. Лошади у них маленькие, горячие, издали похожи на крыс, однако из строя не выбиваются. Все всадники либо урало-алтайской, либо монгольской крови: широкие скулы, раскосые глаза, косматые волосы, плоские носы, запавшие рты.

Речь у них, разумеется, совершенно не разборчива; все они говорят одновременно и пялятся по сторонам. Двое-трое попридержали лошадей и спокойно, во все глаза разглядывают стоящих вдоль дороги англичан. Показывают пальцами, точно дети, и обмениваются замечаниями, которые наверняка было бы забавно услышать. Они то и дело пускают лошадей в галоп, об их outre[37] и страшном опыте приходится только догадываться. Как бы то ни было, на фоне темных гор, угрюмого неба и моросящего дождя смотрятся они превосходно. <…>

Понедельник, половина девятого вечера; темно, хоть глаз

выколи, а платформа вокзала в Пешаваре запружена лошадьми Эмир-хана, которых отправляют в Пинди. Оценить по достоинству, что там творится, вы сможете, только если сами окажетесь на платформе и подвергнетесь нешуточной опасности получить удар копытом насмерть перепуганной лошади. Его высочество отбывает сегодня вечером, в одиннадцать, и до одиннадцати необходимо любым способом очистить платформу от семисот пятидесяти лошадей. Четыре батальона уже отправлены, этот — пятый и, насколько я понимаю, — последний. Заместитель специального уполномоченного — по всей вероятности, единственный человек, который способен перевести окружающим его местным жителям то, что кричит на пушту толпа. Ни афганцы, ни лошади еще ни разу в жизни не видели поезда, однако последние — в отличие от первых — прекрасно приспосабливаются к обстоятельствам. Начать с того, что они абсолютно бесстрашны: ни минуты не колеблясь, они ныряют головой вперед в товарные вагоны навстречу истошному ржанию и ударам копыт своих соплеменников. Хайдер Али, главнокомандующий армии эмира, признает, что положение сложилось тяжелое, и, как и всякий главнокомандующий со дня творения, трудится, как вол. В вагон на восемь лошадей вталкивают еще три, и, судя по устрашающему шуму внутри, они избивают друг друга копытами до полусмерти. Вооружившись фонарем, Хайдер Али ныряет в этот ад, командует, наставляет, призывает к порядку, рассуждает, должно быть, ругается, пока проклятые животные не угомонятся. Если бы норовистый кауровый жеребец умел говорить, он бы во всех подробностях рассказал нам, как главнокомандующий, невзирая на его, жеребца, храп и протестующее ржание, оседлал его и по скользкому трапу вновь загнал в вагон. <…>

«Дусерах горах лао». — «Куббердар!» («Ведите следующую лошадь!» — «Аккуратнее!») «Какого черта он кричит, сэр?!» — вот фраза, которая становится рефреном ко всей этой какофонии: гортанные выкрики на пушту под постоянный аккомпанемент стука копыт. Вагоны уже забиты лошадьми, а потому, если одна из них падает, поднять ее очень сложно. У всех афганцев на спине тяжелый груз, и затолкать их в вагон ничуть не проще, чем лошадей. По платформе разбросаны как попало патронташи красного дерева, самодельные винтовки «Мартини — Генри», колышки от палаток, меха, снедь, самовары, хукка[38], седла в два фута высотой и бог весть что еще. Все эти вещи намокли и липнут к рукам, в кромешной тьме на каждом шагу натыкаешься на людей и лошадей. Если происходящее изобразить на холсте, картину бы высмеяли, сочтя ее чудовищным вымыслом. Все

перемешалось: узбекские уланы и паровозы, татары и семафоры, западная цивилизация и восточная дикость; непрекрашающийся дождь безжалостно поливает и правых и виноватых. У меня не найдется слов, чтобы по достоинству описать эту фантасмагорию… <…>

Под дождем прибыла гвардия — Королевские ирландские стрелки. Больших начальников (треуголки с плюмажем, горячие лошади) дождь тоже не щадит. К стрелкам присоединяются королевские драгуны в синих плащах, 14-й полк бенгальских улан, 15-й кавалерийский бенгальский полк и артиллерийская батарея на лошадях. Курбеты в грязи, дождь усиливается, комки грязи летят в лицо, а на крыше вокзала собрались зонтики, много зонтиков. Зонтики возбуждены — им хочется все видеть и знать. Наши же зонтики до сих пор наблюдали за войсками снизу — комментировали появление Пенджабских волонтеров. «Глядите-ка, одна рота в желтых гетрах!» Зонтики, все как один, охвачены лютой завистью. Другие роты без гетр. «Они, надо полагать, промочили ноги», — говорят зонтики, после чего забывают про волонтеров навсегда. Эмир прибыл, гвардия отдает честь, играет полковой оркестр, и наши уважаемые губернатор провинции сэр М. Биддалф, специальный уполномоченный мистер Перкинс, полковник Гендерсон и еще пара треуголок нехотя покидают зал ожидания, дабы поприветствовать его высочество. Его высочество, в свою очередь, не торопится выйти из поезда, но вот он спускается с подножки и всем пожимает руки. Он сильно хромает, на нем расшитый золотом черный сюртук и неизменная татарская шапочка. Светский разговор под дождем, от которого треуголки, судя по всему, получают несказанное удовольствие, после чего все разбегаются по ожидающим снаружи ландо, коляскам, экипажам. Там же, снаружи, задумчиво раскачиваются, переступая с ноги на ногу, и слоны, а также судьи Верховного суда, уполномоченные и устроители приема, которым предстоит на этих слонов забираться. Сорок два слона, укутанные в холсты и чем-то напоминающие огромных ослов с тюками грязного белья на спине. Сейчас их уводят домой без всадников, и вскоре серые спины с золотым шитьем и шелковыми украшениями скрываются из вида. Так бесславно завершилась процессия слонов, которая обещала быть самым запоминающимся зрелищем из всех, которые когда-нибудь лицезрела Азия. Человек устраивает приемы, а Юпитер — дожди, и тонкокожее человечество терпит поражение за поражением. <…>

Симла, 24 июня 1885 г.

Только я взялся за перо, как на мою веранду запрыгнула

зеленая обезьяна с розово-синим лицом и потребовала бананов и хлеба. Следом за ней не преминуло явиться целое обезьянье семейство, состоящее из двух десятков особей: косматые отцы с неуживчивым нравом и низкими голосами, отталкивающего вида мамаши со смахивающими на грошовых куколок младенцами на груди и дурно воспитанные подростки, из тех, кто вечно мешается под ногами, за что получает по заслугам. Склон горы полнится их криками, и вот они уже на площадке для лаун-тенниса; отправляют ко мне депутацию, чтобы предупредить: их дети устали и желают фруктов. Невозможно объяснить депутации, что слова и дела их потомков для меня куда важнее их собственных слов и дел. Глава банды обосновался на моем секретере и изучает стоящие в вазе кисти. Они ему приглянулись: будет, чем отвлекать детей от шалостей. Сует кисти под мышку и выскакивает наружу, прихватив для порядка и отправив в поместительный защечный мешок набор моих жемчужных запонок. Я обращаюсь ко всем, кто знает обычаи обезьяньего мира: скажите, можно ли творить в таких условиях?! Депутация сбежала на теннисный корт, бросив кисти и запонки на веранде. Добродетель должна быть вознаграждена хлебными крошками и перезрелыми фруктами. Первой воспользовалась моей добротой крошечная, сморщенная обезьянка: сорвала с банана кожуру и, подражая родителям, ее щиплет. Bonne bouche[39] неуклюжа, она не удерживается на ногах, и лакомством со скорбным криком завладевает мать семейства; она прижимает рыдающую обезьянку к своей исполинской груди и, забравшись на забор, кормит ее из рук. Тем временем укравший кисти самец, «матерый, отбившийся от рук негодяй», как принято было писать в старых законодательных актах, занялся пачкой сахара: с поистине человеческой ловкостью вскрывает он пачку и выбрасывает упаковку. Несколько сахарных песчинок упало на землю, и, не обращая внимания на своего предающегося отчаянию отпрыска, любитель живописи опускается на четвереньки и слизывает их с земли, точно собака. Чего-то Дарвин явно не учел, полюбуйтесь: укравший кисти самец, который еще мгновение назад так смахивал на человека, у меня на глазах превратился в зверя, причем зверя прожорливого. Еще несколько хрусталиков сахарного песка пристало к его заросшей мехом, мускулистой ноге. Вцепившись себе в колено обеими руками, он задирает ногу ко рту и жадно ее сосет. Потом садится и с не меньшей жадностью, чем только что ел, принимается чесать себе спину. Нет, Дарвин все же прав: это никакая не обезьяна, а недовольный жизнью старый джентльмен с отвратительным характером. Он громко, надрывно кашляет и, подложив руку под голову, ложится

вздремнуть. В нескольких футах от него еще один детеныш, самый маленький из всех, раскачивается, что-то бормоча себе под нос, на конце гибкой сосновой ветки. Папаша пробуждается, не торопясь встает и, издав зычный, гортанный крик, бросается на перепуганного младенца, который пускается бежать с прытью, какую не увидишь даже на Аннандейских скачках.

Но справедливость торжествует, и месть настигает жестокосердного отца: мать младенца, наблюдавшая за инцидентом с самого начала, хватает супруга за его гнусный старый хвост и неуловимым движением сбрасывает его с холма, на который он было забрался. Супруг возвращается, в руках у него младенец, меховая грудь — в сосновых иглах, в сердце — месть. Мирная жизнь счастливого семейства безвозвратно нарушена. В сражении участвуют теперь все члены семьи. Дети ищут защиты у матери, и теннисный корт пустеет. <…>

Симла, 22 июля 1885 г.

<…> В пятницу днем все интересующиеся отправились в институт «Юнайтед-Сервис» на лекцию майора Кинг-Хармана о британском офицере и его оружии (а также о верности делу, рвении, патриотизме и полнейшем незнании того, когда ему, британскому офицеру, дабы не лишиться жизни, следует покинуть поле боя), с которым он идет в атаку. Забавно было наблюдать за тем, как полсотни военных, от убеленного сединами генерала до неоперившегося субалтерна, внимательно слушают рассуждения такого же, как они, вояки о том, каким образом с помощью револьвера и сабли выбить из седла несущегося на всем скаку гази или же как отправить на тот свет противника более цивилизованного при посредстве либо револьвера, либо сабли. Тихим, заученным голосом лектор неторопливо рассказывал о том, как одному британцу удалось отбить сабельный удар пришитой к рукаву медной уздечкой длиной от локтя до запястья. Другой же, увы, не сумел проучить убегающего афганца, ибо сабля у него была самая обыкновенная, и она сломалась после нескольких ударов сверху вниз по скрытому под тюрбаном темени. Тут присутствующие согласно закивали головами, а один новобранец с бело-розовыми щечками шепотом поведал своему соседу, как и у него тоже однажды, в самый ответственный момент, сломалась сабля и (обязательный финал): «Я был на краю смерти!» Затем майор Кинг-Харман, дабы не быть голословным, снял со стола несколько разного типа сабель и попросил собравшихся убедиться в том; как с помощью этого холодного оружия можно рассечь противника пополам, прежде чем тот то же самое совершит с вами; как клинок «Пейджет» — тяжелый, с

широким кривым лезвием, из тех, которым по старинке предпочитают рубить, а не колоть, — без труда нарубит из вашего противника бифштексы. Он (майор Кинг-Харман) обратил внимание присутствующих на клинок, выкованный по его эскизу, который одинаково хорошо и рубит и колет, хотя, заметил майор, компромисс в данном случае не кажется ему уместным. Он с любовью продемонстрировал этот клинок, после чего аккуратно вложил его обратно в ножны. <…>

Лектор поблагодарил аудиторию за внимание, выразил надежду, что его сообщение принесет пользу, и опустился на стул подле своих сабель и револьверов, как человек, который только что сделал небольшое сообщение о прилегающих к воде землях в долине Ганга или о чем-то в этом же роде. Генерал Уилсон, поблагодарив лектора от имени собравшихся, рассказал, как он пошел служить в армию во времена, когда Томми Аткинс маршировал по Европе еще с кремневыми ружьями, которые находились на вооружении с 1796 года и были не опаснее детского духового ружья. Перед первым боем командир во всеуслышание предупредил его: «Молодой человек, что бы ни было, не вынимайте саблю из ножен.

Скорее всего, она принесет вам больше вреда, чем пользы. (Тогда, во время дуэлей, искусство владения саблей изучалось особенно ревностно.) Ступайте в бой с заряженной картечью двустволкой, и если вам повезет, вы подстрелите противника на расстоянии десяти ярдов». Вооружившись, в соответствии с этим советом, двустволкой, генерал — а тогда прапорщик — Уилсон, не раздумывая, пошел в бой. Мы же, представители младшего поколения, которые слышали про буров и считаем винтовку приличной, если из нее попадаешь в цель на расстоянии не десяти, а пятисот ярдов, задумались, каким образом присутствующему на лекции ветерану удалось в тот день вернуться с поля боя живым. <…>

Капитан Хейс и лошадь, 14 апреля 1886 г.

«Лошадь — животное благородное, но если ее рассердить, от благородства ничего не останется». О лошадином благородстве мнения расходятся, а вот относительно нежелания сего парнокопытного вести себя благородно ни у кого, кто хотя бы раз имел несчастье владеть норовистой лошадью, никогда не возникало никаких сомнений. И вот тут-то, ибо Природа не терпит несовершенства, и появляется капитан Хейс. Он принуждает лошадь «вести себя благородно» и обучает владельца, каким образом научить лошадь, если только она способна стоять на ногах, «хорошим манерам». Капитан Хейс тем самым является

своего рода дополнением к непослушной лошади; они неразлучны. Подобно тому как Сатурн обречен вращаться внутри объятого пламенем кольца, любая лошадь — будь то юный, горячий и упрямый жеребец или старая, сварливая и злобная кляча — обречена вращаться вокруг капитана Хейса до тех самых пор, пока она не станет полезным членом общества. Всем известно, что методы капитана «сокровенны, таинственны и неведомы». Площадку, где он учит лошадей добропорядочности, покорности и порядку, он окружает канатами и не разрешает непосвященным следить за его уроками. Безотказный способ чему-нибудь научить лошадь — это «выбить у нее почву из-под ног»; считает Хейс. Нет на свете лошади, которая бы брыкалась, бросалась, лягалась, кусалась, вела бы себя, одним словом, непозволительно, если — утверждает лейтенант Хейс — «выбить у нее из-под ног почву».

Англо-индийское общество, 29 января 1887 г.
Из письма англичанина, путешествующего по Индии

Вы думаете, что англо-индийцы деспотичны, что они заносчивы и самонадеянны? Так же думаю — а вернее, думал — и я. То, что я читал про них в английских газетах — а вы знаете, что газеты всегда были моей слабостью, — настраивало меня против тех людей, у которых я остановился. Я полагал, что, пусть жалобы на них и не вполне справедливы, их отличает брутальность, и, соответственно, пытался отыскать эту брутальность у своих хозяев — в основном в отношении к прислуге. И, должен признаться, ничего подобного не обнаружил.

В каждом англо-индийском доме, как вам известно, держат очень много слуг, при этом работы от них требуется очень мало. Из годового дохода семьи в 900 фунтов семья из трех человек тратит только на прислугу никак не меньше 100 фунтов. Но это к слову. В Индии отношения между хозяином и работником, по-моему, гораздо лучше, чем у нас в Англии. Англичанин, который прожил в Индии лет пять, обычно собирает вокруг себя небольшое число иждивенцев и их семей, причем слуги не помышляют о том, чтобы сменить хозяев, а хозяева — слуг. Когда слуги заболевают, они приходят за лекарством к хозяину, и во многих случаях, чему я сам был свидетелем, он становится арбитром в их семейных спорах. Он, как правило, неплохо осведомлен, каково положение дел в их семьях, каково их благосостояние, чем болеют их дети. Однажды жена одного из слуг моего хозяина тяжело заболела, однако муж не пожелал везти жену в больницу, обрекая ее тем самым на верную смерть. И тогда мой хозяин, разразившись отборными ругательствами на

местном наречии, пригрозил своему слуге, что если тот немедленно не отправит бедную женщину в больницу, он его высечет и в тот же день уволит без содержания. Угроза возымела действие, и женщина выздоровела. Больше же всего моего хозяина разозлила приверженность его слуги кастовым предрассудкам. «Этот человек, — объяснил он мне, — мусульманин низшей касты — я знал его отца». По словам моего хозяина, этот слуга скорей бы дал своей жене умереть, чем выпустил бы ее из дому (видели бы вы этот «дом»: лачуга из глины, с лохмотьями на окне и с бамбуковой занавеской вместо дверей!), чтобы никто, не дай бог, не увидел ее лица. «Любопытно, — добавил со всей откровенностью мой хозяин, — что, принадлежи этот человек к высшей касте, уговорить бы его не удалось». <…>

В Индии нет того, что мы называем обществом. Нет ни книг, ни картин, ни заслуживающих внимания разговоров. Англо-индиец обязательно где-то служит, он тяжко трудится целый день и, возвратившись вечером домой, думает не о том, чтобы разговоры разговаривать, а о том, чтобы поскорее лечь спать.

Офицеры — единственные люди, располагающие досугом, и только общение с ними способно хоть немного скрасить жизнь. Они устраивают скачки, балы и пикники; если кто в этой стране и ухаживает за женщинами, так только военные. Они словоохотливы, гостеприимны, хлебосольны. Мы в Англии на удивление мало знаем о своей армии. В Индии же армия — самая заметная примета общественного пейзажа, и я ей многим обязан.

Должен сказать, что принимали меня, где бы я ни оказывался, с искренним сердечным гостеприимством. Вооруженный рекомендательными письмами, я путешествовал по всей стране, и каждый считал своим долгом поселить меня у себя; никто ни о чем меня не спрашивал, слугам приказывали отнести мои веши ко мне в комнату так, словно это следовало само собой. И вместе с тем, хотя жил я со своими хозяевами одной жизнью, я постоянно чувствовал себя посторонним. Все были ужасно заняты. Вскоре я привык, что на следующее утро после моего приезда мне говорилось; «Ну-с, мистер, вынужден препроводить вас заботам своей жены; мне пора на работу». И действительно, в десять мой хозяин уходил на работу, а возвращался не раньше пяти — половины шестого усталый, выжатый, как лимон. С моей стороны было бы неслыханной наглостью лезть с разговорами к такому занятому человеку. Даже в холодную погоду работать так, как работают англо-индийцы, очень тяжело, в жару же — просто невыносимо. В Индии мужчины стареют быстро, и мне не раз доводилось видеть молодых людей лет двадцати пяти-двадцати

шести с морщинами на лице и с сединой на висках. Когда сидишь за обеденным столом, мужские лица поражают решительностью и энергичностью — особенно лица молодых людей… <…> Здесь никто не ведет светских бесед, не шутит и не балагурит, как в Англии. Все здесь работают не покладая рук и говорят и думают только о работе. С приближением старости переутомленные, перегруженные мозг и тело начинают сдавать, и жизнь становится и вовсе невыносимой. Мало кто из живущих в Индии англичан довольны собой, хотя работа — опять работа! — вызывает у них неизменный энтузиазм. Впрочем, надо отдать им справедливость — работу они не превозносят.

Вы ведь знаете, что ответил моряк на вопрос проповедника, любит ли он свою профессию. Моряк осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на палубу, на мачты, потом заглянул в трюм, оглядел свои изрезанные шрамами руки и сказал: «Как не любить! Приходится, черт возьми!» Примерно так же рассуждают и англо-индийцы. Им *приходится* любить свою работу. <…>

Местные жители находятся от англо-индийцев в полной, унизительной зависимости. Что бы ни делалось, должно делаться под надзором и под непосредственным руководством англичанина — в противном случае работе этой грош цена. Указания и советы, которые английский плотник, портной, кузнец или строитель схватывают налету, в Индии приходится повторять по много раз, прежде чем местный житель вникнет в смысл сказанного; в процессе работы бестолковый работник раз десять обратится к своему работодателю за разъяснениями и дополнительными инструкциями… Приехав в Индию впервые и листая местные газеты, я сделал вывод, что все индийцы независимы и самодостаточны, однако теперь думаю иначе. Англо-индийцы никогда не говорят о независимости индийцев и очень часто — о их беспомощности. Все англичане, с которыми мне довелось встретиться, твердят одно и то же: своей нерасторопностью индиец способен свести с ума любого, даже самого выдержанного английского работодателя. Вот вам пример. На днях клерку из местных поручили переписать несколько машинописных страниц для джентльмена, в чьем доме я остановился. Клерк получил, как здесь принято выражаться, английское образование, и по-английски изъяснялся совершенно свободно. Так вот, исключительно из-за собственной безалаберности он пропустил *три* строчки на первой странице, *одну* на второй и *две* на третьей, отчего переписываемый текст лишился всякого смысла; вдобавок в тексте не оказалось ни одной точки. Я видел этот текст собственными глазами, и если бы такую работу мне сдал в Англии шестнадцатилетний подросток,

нанятый за пятнадцать шиллингов в неделю, я бы рассчитал его, не задумываясь. Этот же клерк был тщеславен, как павлин, и в разговоре со мной рассуждал о «политическом будущем Индии». Может быть, он — исключение из правила. Очень хочется в это верить.

Любая работа, выполняемая местными жителями, никуда не годится. Двери свисают с косяков, окна вставлены косо, крыша протекает. Полы и плинтусы укладываются кое-как, лесоматериал расходуется не экономно и без толку. Любые петли и замки, да и любые скобяные изделия выглядят, с английской точки зрения, откровенным издевательством. Во всей Индии, насколько я могу судить, не сыщешь ни одной до конца закрученной гайки, ни одного накрепко сбитого бруса, ни одной мало-мальски приличной слесарной или столярной работы — и это конечно же весьма печально. Газеты на английском языке, за исключением двух бомбейских, где в типографиях используется пар, напечатаны, хоть печать и осуществляется под надзором европейцев, из рук вон плохо; о газетах же на местных наречиях говорить и вовсе не приходится. Такой печати постыдился бы и расклейщик дешевых афиш. Очень смешно читать высокопарные рассуждения местных мыслителей, набранные таким образом, что сразу видно: в английские типографские машины туземцы играют, как в игрушки. <…>

Все здесь делается небрежно, бестолково, как придется. У англо-индийцев есть для этого очень выразительное слово — «кутча». В Индии все «кутча», то есть сделано «с кондачка», чего английский рабочий никогда бы не допустил. Зато говорить местные жители — мастера. Говорят они с утра до ночи, причем, как правило, на безупречном английском языке, и их любимая тема — «неумение местных жителей работать». <…>

Язык, на котором говорят англо-индийцы — особая статья. Гималайские горы они называют «холмами»; если человек умирает, про него говорят, что он «откинул копыта»; про человека, который заболел, даже если он заболел серьезно, скажут всего-навсего: «Ему нездоровится». Когда мать оплакивает смерть своего первенца, про нее говорят, что «ей немного не по себе». Англо-индийцам — еще больше, чем американцам, — свойственно все преуменьшать, они все воспринимают как должное, и если кто-то — офицер ли, чиновник — совершит какой-то героический поступок, они только и скажут: «Что ж, недурно». Для них это высшая похвала. Вывести англо-индийца из себя, чем-то его поразить, по существу, невозможно.

Англо-индиец — человек чудной, и ради чего он живет, мне, честно говоря, не вполне понятно. Развлекаться он не умеет,

жизнь ведет пресную, невыразительную, хотя бывает, конечно, по-всякому. Анекдоты он рассказывает в основном «с бородой» — их он вынес еще из Англии, анекдоты же из индийской жизни понимаешь, только если прожил в Индии несколько лет. У него и недостатков-то настоящих нет, табак, правда, он курит такой крепости, что от него голова идет кругом. Вообще, почти все англо-индийцы курят очень много, и все, от мала до велика, ездят верхом. Пешком они не ходят, в седле же держатся превосходно. Меня они развлекали, как могли, но жить их жизнью — нет, увольте! <…>

Не бойся я проявить неблагодарность к мужчинам и женщинам, скрасившим мое пребывание в Индии, я бы, подводя итог, сказал, что все англо-индийцы — сущие бедолаги. И в то же время, даже если бы мне пришлось отвечать за свои слова, я не смог бы в точности объяснить, отчего я считаю их бедолагами. Мне их, и мужчин и женщин, искренне жаль, хотя я знаю, они терпеть не могут, когда их жалеют. Они ведь о себе самого высокого мнения, и у них есть для этого все основания — во всяком случае, если речь идет о трудолюбии. Но жить красиво они так и не научились — возможно потому, что для красивой жизни им не хватает времени. Странная страна. Если вам удалось отговорить молодого человека, собравшегося в Индию, считайте, что вы сделали доброе дело.

P. S. В этом письме я писал в основном про англо-индийцев, а не про местных жителей. Вы же хотели узнать про индийцев. Скажу Вам откровенно, у меня с ними отношения не сложились, отказываюсь понимать людей, которые в состоянии вместе с ними жить и работать. Про тех же, кого мне удалось наблюдать, сказать могу только одно: покуда Господь вновь не сотворит небо и землю, покуда не обрушится на нас новый Вселенский потоп, — они не исправятся. Слишком уж много они говорят и слишком мало делают.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Киплинг-путешественник. Из книги «Бразильские очерки»

Мне посчастливилось объехать на маленькой моторной лодке острова, прячущиеся за ослепительной зеленью и густыми деревьями в алых и золотых тюрбанах. Дикие заросли гуавы перемежались с зарослями королевского бамбука, заросшие пастбища сбегали из лесов к петляющему вдоль островов озеру. Острова окружали нас со всех сторон, и от этого мы совершенно не понимали, куда плывем. Лавируя между ними, мы заплывали в крошечные озера, бывшие частью одного большого озера. Один раз мы уткнулись в обвешенный лианами берег, где в бледно-зеленом свете по изумрудной скале, едва слышно журча и переливаясь серебром на солнце, сбегал небольшой водопад. А между тем волшебные острова были не более чем вершинами небольших холмов, озера же еще два десятилетия назад были долиной; долину запрудили, чтобы обеспечить водой гидроэлектростанцию, подающую электричество в Рио.

И в эту самую минуту из воды бесшумно выплыла и взбежала на берег гигантская четырехфутовая крыса с тупой головой и настороженным взглядом. Нам сказали, что зовут ее *капибара* и что гнусный этот грызун является разносчиком *карапата*, не дающего покою скоту. Сей джентльмен оказался клещом размером в горошину, его собратьев я немало повидал на коровах и быках в Азии — точно таких же коровах и быках, с горбом и всем прочим, что пасутся на здешних пастбищах. Таким образом, и *карапата*, и Священная корова, что пасется в местах, где ее меньше всего ожидаешь увидеть, и *капибара* с головой, как у аллигатора, и жаркий, пряный запах лесов — все эти чудеса, которыми полнился день, словно бы повторялись, накладывались на чудеса прошлых времен. А завершился день в бунгало плантатора Ассама: крошечные, переливающиеся, точно драгоценные камни, птицы носились вокруг вечнозеленой жимолости, пока их не сменили летучие мыши, а ночные цветы не вложили душу в звездное небо. На завтрак ели ледяные куски манго, после чего детвора резвилась, наподобие форели, в большом бассейне, не обращая никакого внимания на тело крошечной ядовитой змеи, которая вывалилась из желоба. «Чего там! Она ж мертвая!» — отозвался четырнадцатилетний сын хозяина и с этими словами вновь нырнул в бассейн за тарелками. Счастливая жизнь повсюду одинакова: дети скачут на лошадях и плавают, будто только этим от рождения и занимаются, а взрослые предаются степенной беседе на залитой лунным светом

веранде. И как же все это правильно истолковать? И что из всего этого следует?

В большой город съехались уцелевшие на войне южноамериканские солдаты и офицеры. Радостные, чистосердечные, они, вместе с тем, таили в себе горькие, ностальгические чувства, которые прятали за весельем и жизнерадостным смехом. «Шутки шутками, но как сложилась их жизнь?» Если отбросить все намеки и местные каламбуры, на которые они не скупились, то ответ на этот вопрос был однозначен: «Хорошо сложилась. Жизнь у нас, и правда, хорошая. Конечно, мы ворчим, жалуемся, но в целом лучшей доли не пожелаешь. Недостатка ни в чем не испытываем, а вот искушений много, не важно, есть деньги или нет». Вот такими отговорками приходилось довольствоваться. В другом месте собрались англичане — мужчины, женщины и дети пришли отдохнуть в клуб после рабочего дня. Здесь разговор шел, пожалуй, более откровенный. Однако местный обычай, увы, запрещает подвергать людей допросу: «Как вы в самом деле живете? Что вы можете сказать о здешней жизни, о бизнесе, торговле, прислуге, детских болезнях, образовании и т. д.?» В результате река человеческих лиц безмятежно течет мимо и остается только гадать, что скрывается за ее подернутыми рябью водами.

Бразильцы, с которыми мне довелось встретиться, интересуются жизнью, не прячутся от нее, но не она является для них высшей ценностью. Их Бог, шутят они, — бразилец. Он дал им все, что они хотели, а когда понадобилось, — даже больше. К примеру, в год, когда был собран слишком большой урожай кофе, Он в нужный момент наслал мороз, урожай сократился на четверть, и лихорадка на рынках стихла. В стране имеется все, в чем только есть необходимость, и это «все» ждет своего часа. Во время войны, когда бразильцам неоткуда было брать металл, волокно и все прочее, они показали все, что им было нужно, индейцу и спросили его: «Не знаешь, где найти эти вещи?» И индеец им не отказал. Но одно дело владеть железом и волокном, а другое — отдавать их производство под концессии; к этому бразильцы пока не готовы. Бразилия — огромная страна, половина или треть ее территории еще совершенно девственна. Когда-нибудь ею займутся. Спустя какое-то время у землевладельца возникнет законное отвращение к покупателям и продавцам товара, и это составит благородную основу национального достояния.

Изысканные ритуалы приветствий и прощаний, распространенные здесь среди простых людей, свидетельствуют о том же. Жизнь сложна и скоротечна, и бразильцы упиваются

всевозможным церемониалом. С другой стороны, распространенная во многих странах учтивость вызвана причиной более чем серьезной. Я поинтересовался, существует ли эта причина здесь. О да. Конечно. Здешнему народу больше всего претят грубость, отсутствие уважения, оскорбление, «брошенное в лицо». Такое поведение бразильцев возмущает. Иногда приводит в бешенство. Тогда — жди беды. Вот почему взаимная предупредительность является здесь неукоснительным правилом, которое соблюдается всеми — и сильными мира сего, и людьми самыми незначительными.

В этом я убедился во время карнавала, когда Рио совершенно взбесился. Жители города облачались в самые диковинные карнавальные костюмы, набивались в автомобили, были куплены тонны серпантина; если умело эту бумажную ленту бросить, она растянется еще футов на тридцать. И три дня и три ночи все только и делали, что носились по городу, собирались в толпы, забрасывали соседей этими бумажными лентами и обливали друг друга отвратительными пахучими духами. (Я и сам вскоре овладел искусством бросаться серпантином, потренировавшись сначала на пятерых ангелах в оранжево-черном одеянии, потом на набившихся в машину, загримированных под чертей мальчишках и, наконец, на стоявшем в стороне одиноком божестве в бирюзово-серебряном костюме.) Тротуары были забиты прохожими, все до одного были в карнавальных костюмах, и у каждого в руках имелся серпантин. Представители городских организаций и гильдий передвигались по городу на огромных платформах в окружении кавалеристов-любителей. Сквозь толпу в ритме чарльстона, сотрясая землю и воздух мерным топотом ног и пением нараспев древних, как мир, мелодий, отгородившись от толпы веревкой, вышагивали ровными рядами негры и негритянки, разодетые во все цвета радуги. Чем не Африка?

С платформ высотой сорок футов, плывших над бурным морем голов, выкрикивались вещи, о которых бы пресса писать не осмелилась, во всеуслышание поносилась, к примеру, нерадивая железнодорожная компания, изображенная на полотнище в виде двух бодающихся, на манер баранов, одинаковых паровозов. Было полное ощущение того, что толпа овладела городом, мы увязали в ней, с трудом сквозь нее продирались, она же оглашала улицы громкими криками, несла невесть что и закидывала все вокруг конфетти. Серпантин, напоминая обломки домов после наводнения, свисал с веток деревьев, покрывал бахромой улицы, точно водоросли — морской берег, лежал густым слоем на крышах автомобилей, которые походили на возы с сеном на

оперной сцене. И при этом не было и намека на беспорядок, спиртным не пахло ни от кого. В два часа ночи авенида шириной в сорок футов была от тротуара до тротуара завалена серпантином и конфетти. В пять утра, спустя всего три часа, улицы были пусты — ни серпантина, ни разодетых толп. Не осталось даже головной боли от многоголосого шума!

Уже потом мне объяснили, что чем-чем, а спиртным бразильцы не увлекаются, да и порядок на улицах соблюдают, мусор не разбрасывают. Как и все, кто вынужден в жаркую погоду работать по дереву, иметь дело с шерстью, тростником и ратангом, они привыкли к чистоте; борьба с лихорадкой приучила их в свое время к опрятности. Сегодня жителю города не поздоровится, если в его мусорных баках заведутся москиты — муниципальные власти заставят его платить. Вот почему дурного запаха в Рио не бывает практически нигде.

Здешние молодые писатели ориентируются на Францию и, открывая для себя свою страну, восхищаясь ею, вдохновляясь ее успехами, пишут с галльской продуманностью и точностью.

Мне довелось слушать речь в их Академии на литературном португальском, и в этой речи ощущались достоинство, гармония и ясность многовековой культуры. Так, в тональности стеклянной арфы скрывается двойная тайна — огня и воды. Спустя некоторое время я слушал популярную песенку, ее на дружеской вечеринке исполняла под аккомпанемент мандолины какая-то девушка. («Думаю, эта песенка с Севера, из Сухой земли, где по ночам принято петь быкам и коровам».) Снаружи шел теплый, пахучий дождь, и его шепот удивительно сочетался с духом старого дома, со старой мебелью, с бесценным гладким серебром и, каким-то магическим образом, — с естественностью и уравновешенностью гостей. Блики света падали на бледное лицо девушки, а три-четыре молодых человека, сидевшие у нее за спиной, бренчали на мандолинах, выбиваясь порой, как это здесь принято, из ритма. Все сидевшие в комнате знали припев; простое, рвущее сердце причитание в переводе не нуждалось. Затем молодые люди заиграли громкую, надсадную негритянскую мелодию (не имеющую, впрочем, ничего общего с «черным битом»), которая, как видно, тоже была всем известна. Мелодия эта родилась в непревзойденной Байе, где, думается, старое сердце этой земли бьется громче, чем в других местах. Мне мнилось, будто я слышу, как в такт струнам мандолины глухо стучат барабаны Западного берега, при этом сидевшие за столом отбивали ногами ритм, их лица светились от ассоциаций, навеваемых рифмованными словами. (Вероятнее всего, айи напевали им эти мелодии, когда они были детьми.) В эти минуты я почувствовал себя ближе к

Бразилии, чем когда-либо раньше. Я поделился этим чувством близости со здешним приятелем и добавил:

— Но найти с вами общий язык не так-то просто.

— Не потому ли, что вы всегда воспринимаете нас испанцами? Мы не испанцы. По происхождению мы португальцы, мы пришли сюда из Португалии, которой больше нет. А была когда-то, должно быть, замечательная страна. Сейчас она мертва, но свой отпечаток на нас она наложила. <…>

За вычетом французов, я никогда не встречал народа, который бы столь же хорошо видел свои собственные недостатки и умел превращать их в достоинства…

К развлечениям, как и к жизни, бразилец относится спокойно, он торопится, когда говорит и жестикулирует, — но не когда думает. Он досконально изучил представителей всех национальностей, свивших себе гнездо под его небом за много-много лет. К английскому предпринимателю он привык, и здесь осели английские семьи, много семей, давным-давно связавших себя с национальным достоянием этой страны. Эти люди с двумя языками и двумя головами действуют в качестве добровольных переводчиков и послов при финансовых и коммерческих затруднениях. Старые опытные торговые фирмы посылают в Бразилию таких англичан, которые сумеют найти с местными жителями общий язык. Дело в том, что бразилец еще не дорос до «безличного» бизнеса. Если ты ему пришелся по душе, если он испытывает к тебе человеческую симпатию, он ради тебя в лепешку расшибется. Если же ты ему не понравился — пальцем не пошевелит. Если он плохо тебя знает, но чувствует, что за душой у тебя что-то есть, то сходиться с тобой повременит. Он будет, не считаясь со временем, выжидать и за тобой наблюдать. Времени же у бразильцев сколько угодно. <…>

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Киплинг: пародист и пародируемый

На злобу дня

Пародия Р. Киплинга на Уолта Уитмена (1886)

Редко бывает, чтобы американский поэт проявил неподдельный интерес к такой далекой стране, как Индия. А потому мне доставляет огромную радость, что столь выдающийся творец, как Уолт Уитмен, нашел время сказать мне несколько слов. В свое время Барда прозвали (не поклонники его таланта, разумеется) «вдохновенным аукционистом вселенной», однако он давно уже перерос это определение, которое основывалось на некоторых запоминающихся особенностях его поэтического стиля. Теперь же его поэтические строки — порой ритмические, порой выспренние, всегда музыкальные — создали замечательную школу его восторженных последователей. Что думает великий поэт об индийском Новом годе, вы узнаете из его ответа на мою скромную просьбу поведать мне «что-нибудь на злобу дня».

Эй вы там!

С поросших соснами Аллеганских гор я, Уолт Уитмен, великан, гигант, колосс, шлю вам свой привет!

Всем своим естеством переношусь я к вам. Сливаюсь с вами.

Я — юный цивилист. Высшее Существо меня ни во что не ставит. Я пререкаюсь с бесстыдными раскольниками из муниципального совета. И я, как и вы, молюсь за счастливый Новый год!

Я и сам Высшее Существо. Бесстрастное Существо, в ритме вальса кружусь я, попирая все, что под моей пятой. Молюсь и я, безо всяких предрассудков, за счастливый Новый год!

Я — европейский бродяга. На базаре я напился деревенского самогона, у меня синие губы и по шее ползет зеленая крыса. И я, лежа в сточной канаве, тоже молюсь за счастливый Новый год!

Я — беззаботный, довольный жизнью лейтенант. В конюшне у меня шесть пони, а на заднем дворе меняла. И я молюсь за счастливый Новый год!

Я — развеселая деваха. Муж у меня в Судане, зато поклонников хоть отбавляй — десятками волочатся за моей шелковой юбкой. И я тоже молюсь за счастливый Новый год!

Я — в Сирсе, Джанге или в Монтгомери. Нет со мной ни Дикки, ни Эмми, ни Бэби, живу я в палатке с мужем, а муж еле жив. Я читаю смятые письма из дому и тоже молюсь. За счастливый Новый год!

О! Цивилист, Высшее Существо, Бродяга, Лейтенант, Соломенная Вдова и Соломенная Мать многих домашних очагов, я приветствую тебя!

Именем Человечества, великого нашего повелителя, я также желаю вам всем, и вместе и по отдельности, а кому-то — уж это как придется — счастливого Нового года!

Барри Пейн

Самая искренняя лесть

Барри Пейн (1864–1928) — английский юморист и пародист; автор книги юморесок «В канадском каноэ» (1891) и сборника «Пьесы и пародии» (1892), куда вошла и пародия на прозу Киплинга «Самая искренняя лесть», впервые напечатанная в октябре 1890 года в лондонском журнале «Корнхилл мэгэзин».

Это не рассказ. Это разговор, который состоялся у меня с совершенно незнакомым человеком. Если бы вы спросили меня, почему я с ним разговорился, я бы ответил вопросом на вопрос: «А вы способны просидеть три часа в купе в полном одиночестве?» То-то же. Вне зависимости от того, куда идет поезд. Я-то, в отличие от вас, хорошо знаю, куда он шел; знаю я также и то, что когда трехчасовое путешествие подходило к концу, мне нестерпимо захотелось перекинуться с кем-нибудь словом. Я был готов говорить о персидской поэзии с самим заместителем верховного комиссара; готов говорить с кем угодно о чем угодно. Дай мне волю, я бы даже обратился к дворовой собаке и поговорил с ней очень ласково, уверяю вас.

А потому, когда в мое купе вошел совершенно незнакомый человек, я сразу же заговорил. Видите ли, тогда я еще не знал, что этот тип собой представляет. Я было решил, что это самый обыкновенный, ничем не примечательный молодой человек. Но не зря же говорят: по внешнему виду судить нельзя. Когда-то я познакомился с неким Т. Г, а если хотите всей правды, с Трэнтером из Бомбея… но это уже другая история. Сначала мы поговорили о погоде, потом — о лошадях. Мой спутник курил мои манильские сигары, а я рассказывал ему совершенно правдоподобные истории. Вскоре я обратил внимание, что вид у него сделался озабоченный, как будто он не привык к беседе

такого рода. И тут он поведал мне историю о кобылке, купленной им в Калькутте. Отдал он за нее 175 рупий, и друзья сочли, что он переплатил: у кобылы был сильный кашель и тоскливый взгляд.

— Она у меня уже два года, — изрек он, медленно извлекая изо рта мою сигару, — и кашляет по-прежнему. И вид такой же тоскливый. Но бегает отлично. На днях я запряг ее в экку, и она у меня шестьдесят миль пробежала. Как нечего делать.

Он дал мне понять, что это расстояние кобыла проделала за пять часов, двадцать минут и десять секунд. Что ж, деревенская кобыла способна бежать с любой скоростью, и я бы охотно поверил своему спутнику, не прибавь он к двадцати минутам десять секунд. И все же называть его лгуном мне не хотелось. Мы помолчали, после чего он взял лежавшую рядом со мной на сиденье книгу. «Простые рассказы с гор» называется. Книжка эта пришлась мне по вкусу, и я частенько беру ее с собой почитать в дороге. Хорошая книга.

— Как вы думаете, — спросил он, — отчего эта книга так популярна в Англии? Если хотите, могу объяснить. В книгах я разбираюсь ничуть не хуже, чем в лошадях и людях. Но сначала обратите внимание вот на что. Когда вы еще учились в школе, вы, полагаю, обратили внимание на то, чем проза Цицерона отличается от разговорной латыни Плавта.

И тут я понял, с кем имею дело. Судя по всему, напротив меня сидел выпускник Оксфорда, не иначе. Они ведь так любят кичиться своими знаниями. И это в них самое отвратительное. Они это за собой знают и все равно дерут нос. Я объяснил ему, что в школу не ходил никогда.

— Что ж, в таком случае попробую объяснить проще, на вашем уровне, — продолжал он. — Вы ведь читали, не могли не читать английские книги и наверняка уяснили себе, что письменный английский не похож на устный. Ну, например, когда мы говорим, то часто делаем паузу перед условными придаточными предложениями, тем самым выдавая их как своего рода запоздалую мысль.

«А он совсем не глуп», — сказал я себе.

— На письме же мы ставим не точку, а всего-на-всего запятую. Автор «Простых рассказов с гор» понял это и повел себя так, словно не пишет, а говорит — он использовал на письме пунктуацию, которой мы пользуемся в устной речи. Вот почему в его рассказах точек больше, чем во всей мировой литературе. Согласитесь, это ведь гениально.

Мне показалось — наверняка сказать не могу, но мне показалось, — что эти слова вогнали меня в краску.

— Во-вторых (продолжал мой спутник), читатель любит, когда его вводят в заблуждение. Любит, когда речь идет о вещах, о которых он сроду не слышал. Не потому ли читатели с таким восторгом глотают спортивные газеты? Вот и автор «Простых рассказов» писал про жизнь англо-индийцев, не особенно утруждая себя объяснениями и все списывая на «местный колорит». Как вам кажется, лондонский кокни знает, что такое ДОР? Нет, конечно. Не знает, но хочет, чтобы к нему относились так, будто ему давно и хорошо известно, что ДОР — это не что иное, как «Департамент общественных работ» в Индии. И автор «Простых рассказов» это учел. Что, согласитесь, тоже гениально. В-третьих, читатель не любит хорошего человека — как не любит и плохого. Он любит, чтобы в конечном счете его кумир оказался *не так уж* плох. «Я, конечно, циник, — говорит наш автор, — к тому же светский человек, жизнь веду бесшабашную, зато люблю детей. Не верите — перечитайте мой рассказ о Тодзе, вспомните мои теплые чувства к Мухаммед Дину. При всем своем цинизме, сердце у меня доброе. Даже с Джеллалудином я поступил благородно, разве нет? В конечном счете *я не так уж и плох*. Любите меня!» Опять же гениально. В-четвертых, возьмите героев его рассказов — солдаты, лошади, повесы. От всех трех разновидностей рода человеческого читатель не устает никогда. Верно, подметить такое может и не гений. А еще публика любит модные словечки. Когда-то у меня была знакомая девушка, которая пела полушутливые куплеты в… — но это уже другая история. Увлекаться модными словечками — тоже еще не признак гениальности, но только гению по силам сказать больше, чем он знает. Только гению по силам сделать вид, что он знает больше, чем говорит. Только гению по силам быть совсем еще молодым, а выглядеть глубоким стариком. Есть люди, которые вхожи в индийские правительственные круги, они занимают такое высокое положение, что никто о них ничего не знает, кроме них самих, да и сами они многого даже не подозревают. И что же, наш автор их боится? Нисколько. Он говорит о них совершенно свободно, правда, весьма туманно. Он говорит: «Там наверху». И читатель восхищается этой свободой и никогда не замечает того тумана, который он напустил. Будь же благословен, дорогой читатель!

Поезд и мой никому не известный спутник остановились одновременно. Я нисколько не рассердился.

— Как вам удалось проникнуть в психологию автора? — спросил я.

Этот вопрос я задал совершенно спокойным голосом в надежде, что застану моего спутника врасплох.

Но смутить мне его не удалось. Он молча нагнулся и достал из-под своего сиденья ружье в чехле.

— Я и есть автор, — мягко сказал он. — Всего наилучшего. — И с этими словами вышел из купе.

Эти слова он произнес с таким непререкаемым достоинством, что я бы, вне всяких сомнений, ему поверил, не будь я сам автором этой книги. А впрочем, полной уверенности у меня теперь в этом нет.

Что, согласитесь, странно.

Макс Бирбом

Ветхий Завет

Пародия на прозу Киплинга «Ветхий Завет» критика, эссеиста и карикатуриста Макса Бирбома (1872–1956) появилась сначала в лондонском журнале «Субботнее обозрение», где Бирбом долгое время подвизался театральным критиком, а затем вошла в известный сборник Бирбома «Рождественская гирлянда» (1912), где Бирбом пародирует крупнейших английских писателей того времени: Генри Джеймса, Герберта Уэллса, Редьярда Киплинга, Г. К. Честертона, Томаса Гарди, Арнолда Беннетта, Джона Голсуорси, Джозефа Конрада, Дж. Б. Шоу, Джорджа Мередита и др.

Сочельник я проводил в клубе, слушая рассуждения знаменитостей. Вошел Слашби — как с неба упал. Слашби печатается в газетах и подписывает свои опусы «Мизантроп». Когда на горизонте появляется Слашби, все вспоминают, что завтра очень рано вставать.

Резко завернув за угол по дороге домой, я налетел на нечто, показавшееся мне мраморной колонной. Я едва устоял на ногах, перед глазами поплыли звезды, очень даже красивые звезды. Только оправившись от удара, я понял, в чем, а вернее, в ком дело.

— Здравствуй, Джадлип, — сказал я ласково, вытаскивая котелок из канавы. — Я не нарушаю закон, как по-твоему? Если нарушил — так и скажи. Впредь буду тише воды, ниже травы.

— Спать давно пора, — буркнул в ответ полицейский сержант. — А то хозяйка, не ровен час, хватится.

Старый друг. И такой тон. Мне стало обидно.

Сколько раз доводилось мне совершать вместе с Джадлипом ночной обход! В эти ночные часы я постигал причудливую науку

слежки, поднимавшую мои патриотические чувства на недосягаемую высоту. Общаясь с Джадлипом, я уже исписал мелким почерком семь толстенных блокнотов. И вот теперь Джадлип читает мне мораль, как какому-то желторотому молокососу. Было обидно. До боли обидно. И несправедливо.

Бывает у людей то, что называется «достоинством». Им грешат преимущественно мальчишки. Покуда их не поколотят хорошенько. Потом они горько плачут. Лично я на достоинстве не настаиваю.

— Как дела, старина? — спрашиваю еще ласковее. — Никто не нарушает общественный покой, а?

— Да. Да, да, да! Не нарушают, черт их возьми совсем! Разве ж это сочельник? Еще хорошо, если бродячая собака попадется. То ли дело раньше! Пьяных на улице пруд пруди. — Я полез за своим блокнотом. — Только работать успевай. Господи, вот времечко было.

— Еще вся ночь впереди, Джадлип, — намекнул я, ткнув большим пальцем в сторону освещенных окон «Крысы и ищейки».

В этот момент дверь распахнулась и из трактира вышли, нежно держась за руки, мужчина и женщина. Джадлип пристально и долго смотрел им вслед. А потом вздохнул. Надо вам сказать, что когда Джадлип вздыхает, то кажется, будто взорвался паровой котел при температуре 260 градусов по Фаренгейту.

— Терпение, Джадлип, терпение. Ты еще успеешь проявить себя. А пока что, — я откинул назад голову и облизнул губы, — по маленькой, Джадлип? Как обычно?

В следующую минуту я уже выбирался из заведения с рюмочкой рождественского подношения для своего друга и с традиционным тостом «За его величество Закон».

— За его величество Закон, Джадлип!

Когда он воздал должное сему божественному нектару, я понесся обратно в «Крысу и ищейку» отнести взятый стакан, а он тем временем смахивал с обросшей за день щетины капельки спиртного. Когда я вернулся, Джадлип настроился на философский лад.

— Ну кто я такой, спрашивается? — принялся рассуждать он. — Как есть ничтожество, ноль. Но-о-оль! Сержант — это ноль без палочки. Им надзиратель заправляет. А надзирателем опять же — инспектор. А инспектором — Скотленд-Ярд, чтоб ему пусто было. А министр внутренних дел кто, думаешь? Да такой же ноль, как и я. — Джадлип вознес глаза к звездам. — А над министром кто? Над ним невесть кто всеми нами заправляет. Кто-то там на небесах издает указы и распоряжения. Что они означают, не

поймешь, а попробуй не выполни… Наше дело их выполнять и вопросов не задавать. Каждый должен выполнять свой долг, так-то вот…

— Точно, выполнять свой долг, — повторил я, оторвавшись от блокнота. — Да, это я усвоил. Усвоил и записал. От первого до последнего слова.

— Жизнь — это тебе не праздник, — продолжал философствовать Джадлип. — Жизнь — штука сложная. К тем же, для кого жизнь сплошной праздник, она задом поворачивается, учти это. Для таких там, наверху, и полицию придумали. Это, само собой, не значит, что мы, полицейские, во всем безупречны. И мы тоже, случается, даем маху. С кем не бывает! А уж если ошибемся — только держись! Что такое Британия без полиции? Отмени нас — сплошная анархия наступит. Старые судьи-крючкотворы, разрази их гром, этого не понимают. Помнишь Смизерса из нашего полка?

Как не помнить Смизерса! Отличный парень, честный, прямой, аккуратист, упрямый, как сто чертей, ради дела на любое лжесвидетельство готов был пойти. И пошел. Характер — кремень. В память о Смизерсе я снял котелок.

— И такого человека принесли в жертву общественному мнению! Надо же! — Джадлип вздохнул и, остановившись у двери, осветил фонариком прорезь в американском замке. — Принесли в жертву каким-то скандальным старухам. Им бы на коленях перед ним стоять, Творца благодарить за такого защитника. Ему еще полгода сидеть. А выйдет — что делать будет, бедолага?! Спутается с отребьем, с теми, кто его раньше как огня боялся, верно? Да еще и обдерут его, как липку… — И Джадлип вполголоса выругался.

— И что бы ты сделал, о великий Джадлип, если, выполняя свой гражданский долг, тебе пришлось бы его задержать?

— Что бы я сделал? Ты что ж думаешь, наивная ты душа, что я бы свой долг не выполнил? Долг честного, исполнительного стража законности и порядка? Думаешь, я бы ему спустил за его былые заслуги? Ошибаешься. С другой стороны, его так просто, голыми руками ведь не возьмешь. Он…

Тут он вдруг замолчал и уставился на крышу соседнего дома.

— Ишь ты! — крякнул он.

Я поднял голову и посмотрел туда, куда смотрел Джадлип; он, надо сказать, отличался, особенно когда находился при исполнении, сильным косоглазием. Один его глаз смотрел в одну сторону, другой — в другую, а я — ровно посередине. Итак, я поднял голову и увидел, как кто-то лезет на крышу из трубы. Голос Джадлипа разорвал тишину:

— Чего это ты там забыл, а?

Человек, к которому он обращался, подошел к краю парапета, и я увидел, что у него всклокоченная седая борода, длинная красная шуба с поднятым воротником, на плече нечто вроде мешка. Он что-то произнес; голос его был похож на звук гармони, которую оставили на улице под дождем.

— Ты вот что, — отозвался мой друг, — давай-ка спускайся, а там разберемся.

Старик кивнул и улыбнулся. А затем — умереть мне на этом месте! — с мешком за плечами и елкой, которую он прижимал к груди, скользнув в лунном свете, плавно опустился прямо перед нами на тротуар.

Джадлип пришел в себя первым. В темноте мелькнула его правая рука, и воздухоплаватель, выронив на дорогу свой мешок, был крепко схвачен за воротник. В свою очередь, и я, не мешкая ни минуты, обхватил его сзади за поясницу. Не знаю, был он грабителем или нет, но воздухоплаватель из него получился отменный, и мне не терпелось поскорее узнать, что за аппарат спрятан у него под шубой. Удар наотмашь пришелся старичку по шее, но явно не по душе; он вскрикнул и громко захныкал.

— Что ты там делал, на крыше? — спросил Джадлип, не отпуская стариковский воротник. — Ну-ка, признавайся, живо!

— Я — Санта-Клаус, сэр. Прошу вас, сэр, отпустите меня, сэр.

— Держи его крепче! — заорал я. — Это немецкий шпион.

— Предупреждаю, все, что ты сейчас скажешь, может быть использовано против тебя, — рявкнул Джадлип. — Бери свой поганый мешок и следуй за мной.

Задержанный что-то понес о мире на земле и о доброй воле.

— Понимаю, — гудел Джадлип в ухо старичку. — Это ты из Нового Завета почерпнул. А Новый Завет, чтоб ты знал, предназначен для почтенных стариков и юных дам. Новый Завет мы в нашей библиотеке при участке не держим. Мы, полиция, действуем по Ветхому Завету, а не по Новому. Давай, пошевеливайся!

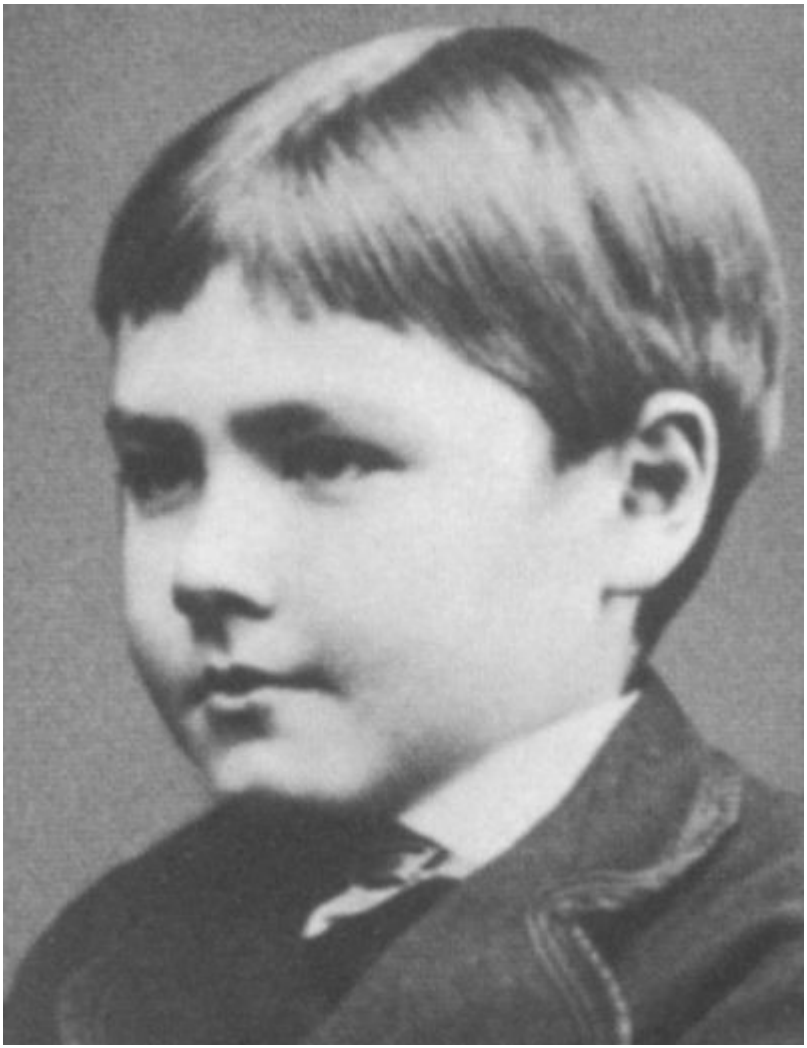
И он отвесил белобородому такую оплеуху, что, право, любо-дорого смотреть.

— Тащи его! — завизжал я, пританцовывая. — Ради всего святого, хватай за руки и за ноги и тащи.

Семеня рядом с Джадлипом в участок, я раздумывал над тем, что, не зайди Слашби в клуб, — и я не смог бы стать свидетелем сей поучительной сцены. Стало быть, и такие, как Слашби, не зря рождаются на свет божий.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Мать Киплинга Алиса Макдональд



На этом снимке Радди пять лет

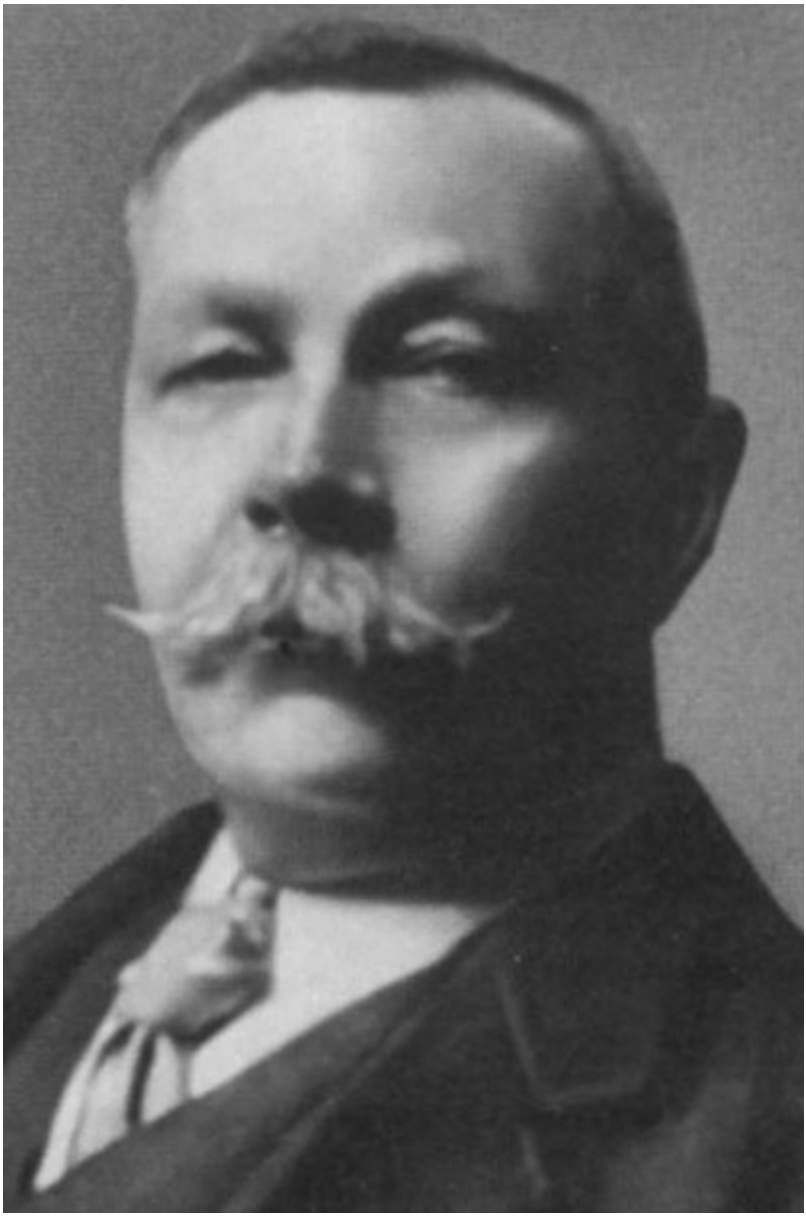
Юнайтед-Сервисез-колледж, где прошли школьные годы будущего писателя

Киплинг с отцом Джоном Локвудом

Киплинг-журналист в поисках сюжетов

Сестра Редьярда Алиса (Трикс)

Райдер Хаггард



Артур Конан Дойл

Уолкотт Бейлстир

«Наулаха» — американский особняк семьи Киплингов

Иллюстрация Киплинга-старшего к первому изданию «Книги джунглей»

Писатель в своем кабинете в «Наулахе»

Как в Англии, так и в России «Книги джунглей» иллюстрировали лучшие художники.

Работа Джона Локвуда

Иллюстрации Валентина Курдова и Мая Митурича

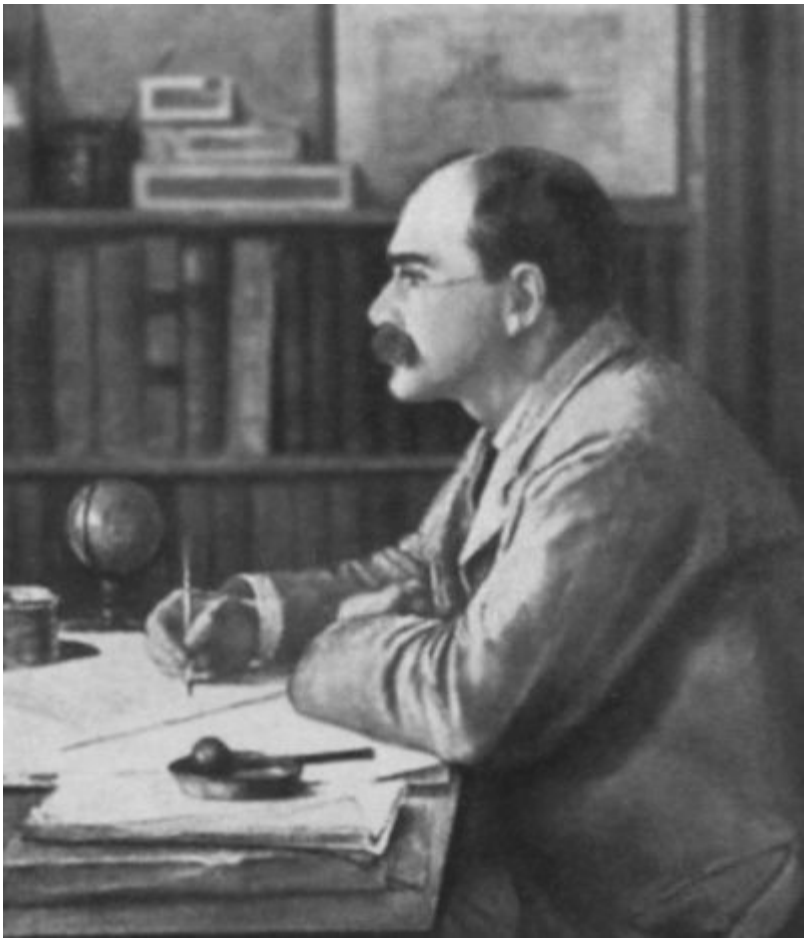
Мальчик-волк стал героем шедевров мультипликации — «Книги джунглей» Уолта Диснея

и «Маугли» Романа Давыдова

Киплинг в гостях у Марка Твена

Дети писателя — Элси, Джон и Джозефин

Усадьба «Бейтменз» в Сассексе, где Киплинг с семьей обосновался в 1902 году



В кабинете

Карикатура на Киплинга в журнале «Панч»

Иллюстрация писателя к рассказу «Кошка, гулявшая сама по себе»

Киплинг (вверху справа) с британскими офицерами на фронте Англо-бурской войны

Сесил Родс

Киплинг выступает с патриотической речью после начала Первой мировой войны

Младший лейтенант Джон Киплинг незадолго до своей гибели

Последние годы жизни. Писатель с женой и дочерью Алисой

Похороны Редьярда Киплинга

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА

1865, 30 декабря — в Бомбее, у Джона Локвуда Киплинга и Алисы Киплинг, урожденной Макдональд, родился сын Джозеф Редьярд Киплинг (в дальнейшем РК).

1868 — вместе с сыном Алиса Киплинг отплывает из Бомбея в Англию, где 11 июня рожает дочь Алису (семейное прозвище «Трикс»), после чего возвращается в Бомбей. 1871, 15 апреля — Киплинги вновь отправляются в Англию. Декабрь — родители возвращаются в Индию, оставив детей, Редьярда и Трикс, на попечении семьи Холлоуэй в Саутси, в пансионе Лорн-Лодж, который РК в своих воспоминаниях назовет «Домом отчаяния».

1871–1877 — вместе с сестрой живет в пансионе, посещает школу в Саутси, каникулы дети проводят в Фулхэме, в особняке Грейндж, где вместе со своими детьми живут тетя Киплинга по материнской линии Джорджиана и ее муж художник Эдвард Бёрн-Джонс («тетя Джорджи» и «дядя Нед»).

1875 — Джон Локвуд Киплинг переезжает из Бомбея в Лахор, где становится куратором местного художественного музея и где находится редакция газеты «Сивил энд милитари газетт» («Гражданская и военная газета»; в дальнейшем «Газетт»), куда спустя семь лет он устроит сына.

1877, март — Алиса Киплинг приезжает в Англию и забирает сына из пансиона.

Лето — РК, Трикс и Алиса Киплинг живут на ферме в Эппинг-Форесте, близ Лоутона.

Осень — Алиса Киплинг привозит детей в Лондон, где в течение трех месяцев они снимают квартиру на Бромптон-роуд.

1878, январь — РК поступает в Юнайтед-Сервисез-колледж в Уэствард-Хоу, к северу от Девона. Директор школы Кормелл Прайс — давний знакомый Киплингов. Июнь — вместе с отцом РК едет в Париж, на Всемирную выставку, где Джон Локвуд представляет индийский павильон.

1879, лето — вместе с детьми Уильяма Морриса и Бёрн-Джонса выпускает домашнюю газету «Писака», для которой сочиняет стихи и пародии.

1880 — посещает свою сестру в Саутси и влюбляется во Флоренс Гаррард, живущую в это время в пансионе вместе с Трикс. Неофициальная помолвка РК с Фло Гаррард.

1881 — Алиса Киплинг втайне от сына издает в Лахоре сборник его школьных стихов («Стихи школьника»).

1881, июнь — 1882, июль — РК издает в Юнайтед-Сервисез-колледже школьный журнал «Юнайтед-Сервисез-колледж кроникл».

1882, март — в «Кроникл» печатается стихотворение РК «Ave Imperatrix!».

Август — покидает Юнайтед-Сервисез-колледж.

20 сентября — отплывает в Бомбей.

18 октября — прибывает в Бомбей и на поезде едет в Лахор, главный город провинции Пенджаб, где поступает на работу в редакцию «Газетт».

8 ноября — становится членом Пенджабского клуба. Сонет РК «Две жизни» печатается без подписи в английском журнале «Уорлд».

1882–1887 — работает в редакции «Газетт» заместителем главного редактора, а затем соредактором, регулярно печатает на страницах газеты свои репортажи, статьи, рассказы, находится в постоянных разъездах по стране, живет вместе с родителями.

1883, лето — проводит месяц в Симле, городе в предгорьях Гималаев, горном курорте, где находилась официальная летняя резиденция вице-короля Индии.

1884, июль — получает письмо из Англии от Флоренс Гаррард с просьбой разорвать их помолвку.

26 сентября — в Индию возвращается Трикс.

Октябрь — в «Газетт» печатается рассказ «Ворота Ста Печалей» — первый из опубликованных рассказов РК. Ноябрь — в Лахоре, в приложении к «Газетт», выходит сборник шуточных стихов и пародий на известных поэтов-викторианцев «Отзвуки»; из 39 пародий 32 сочинены РК, остальные — Трикс.

1885, март — поездка РК в Пешавар, где он от «Газетт» освещает встречу эмира Абдурахмана с вновь назначенным вице-королем Индии лордом Дафферином.

7 марта — РК приступает к написанию так и не законченного романа из англо-индийской жизни «Матушка Матьюрин»; 237 страниц рукописи романа потеряны.

Август — сентябрь — РК публикует в «Пионере» шесть стихотворений под общим заглавием «Баллады из бунгало».

Ноябрь — выходит сборник стихов и рассказов «Квартет», написанный «четырьмя англо-индийскими писателями» (то есть РК, его родителями и Трикс). Из четырех рассказов, принадлежащих РК, в дальнейшем переиздаются только два: «Необычайная прогулка Морроуби Джукса» и «Рикша-призрак», вошедшие в сборник «Рикша-призрак».

1886, с 5 по 13 февраля — в «Газетт» печатаются стихи из первого поэтического сборника РК «Департаментские песенки и

другие стихи»; первое книжное издание сборника выходит анонимно в том же году в Лахоре; во втором, калькуттском, издании на обороте титула значится имя автора — Редьярд Киплинг.

5 апреля — вступает в масонскую ложу «Надежда и стойкость».

Октябрь — в лондонском журнале «Лонгменз мэгэзин» восторженная рецензия Эндрю Лэнга на «Департаментские песенки и другие стихи».

2 ноября — в «Газетт» начинают печататься рассказы РК, впоследствии вошедшие в сборник «Простые рассказы с гор».

1887, сентябрь — переходит из лахорской «Газетт» в газету «Пионер», выходящую в Аллахабаде. Сотрудничает с еженедельным приложением к «Пионеру» «Новости недели», печатает рассказы, сочиняет также стихотворения и эссе, продолжает сотрудничать с лахорской «Газетт» и в поисках материала для рассказов и путевых очерков неустанно путешествует по Индии. В «Пионере» печатается в среднем не меньше трех рассказов, стихотворений и очерков РК в неделю.

1888, январь — сборник из 40 рассказов «Простые рассказы с гор» выходят в Калькутте, в издательстве Тэкера и Спинка, и в Лондоне. В Аллахабаде выходят сборники рассказов РК «Три солдата», куда вошли семь рассказов, из которых шесть ранее публиковались в «Новостях недели», «Черное и белое» (шесть рассказов), «Под део-дарами» (шесть рассказов), «Рикша-призрак» и «Крошка Уилли-Уинки».

Весна — возвращается в Лахор, где два месяца подменяет уехавшего главного редактора «Газетт», своего друга Кея Робинсона.

1889, февраль — едет в Лахор проститься с родителями и сестрой.

9 марта — отплывает из Калькутты в Англию через Рангун, Сингапур, Гонконг, Йокогаму, Сан-Франциско и Нью-Йорк. Это путешествие он впоследствии опишет в книге путевых очерков «От моря до моря».

5 октября — прибывает в Ливерпуль. В Лондоне знакомится с американским журналистом Уолкоттом Бейлстиром, годом позже — с его сестрой, своей будущей женой Кэролайн (Кэрри) Бейлстир.

1890, 22 февраля — литературный журнал «Скотс обсервер» печатает стихи РК, которые впоследствии (1892) войдут в сборник «Казарменные баллады и другие стихотворения».

25 марта — в лондонской «Таймс» большая статья о творчестве РК. Киплинг — кумир лондонской критики. Август —

завершает работу над романом «Свет погас»; в ноябре роман в первой редакции (12 глав и «счастливый финал») выходит в США.

1891, март — «Свет погас» выходит в Англии в издательстве Макмиллана в новой редакции (14 глав и «трагический финал»).

Май — июнь — короткая поездка в США. В Нью-Йорке выходит сборник рассказов РК «Мой родной народ». Август — кругосветное путешествие; РК посещает Южную Африку, Австралию. Новую Зеландию и — в последний раз — Индию. В Лахоре узнает, что У. Бейлстир скончался от тифа в Германии, и возвращается в Англию. Сборник «Жизнь дает фору», куда вошли 27 рассказов, некоторые из которых печатались раньше, выходит в Лондоне и в Нью-Йорке.

1892, 10 января — возвращение в Лондон.

18 января — свадьба РК и Кэрри Бейлстир.

3 февраля — молодые отправляются в кругосветное путешествие. Из Нью-Йорка они едут в Брэттлборо, штат Вермонт, навестить родню Кэрри, из Вермонта переезжают в Ванкувер, из Ванкувера плывут в Йокогаму. 27 июня — возвращение из Японии в США: продолжение кругосветного путешествия невозможно, так как РК лишился сбережений в разорившейся компании «Ориентл Бэнкинг».

26 июля — приезд в Брэттлборо.

1891, ноябрь — 1892, июль — в США отдельными выпусками выходит приключенческий роман «Наулака» — совместное творчество РК и У. Бейлстира. В США выходят «Казарменные баллады».

29 декабря — рождение старшей дочери Киплинга Джозефин.

1893, весна — Киплинги начинают строить дом «Наулаха», куда въезжают в конце лета. В Лондоне, в издательстве Макмиллана, выходит сборник РК «Многие помыслы», куда вошли 14 рассказов, некоторые из них печатались раньше в периодических изданиях.

1894 — в Лондоне, в издательстве Макмиллана, выходит «Первая книга джунглей», первоначально написанная для американского детского журнала по просьбе его редактора, автора «Серебряных коньков» Мэри Элизабет Мейпс-Додж. «Белый котик» и «Рикки-Тикки-Тави» входят сюда как самостоятельные рассказы; первоначально «Рикки-Тикки-Тави» печатается в ноябрьском номере лондонского журнала «Сент-Николас». Киплинги на Бермудских островах и в Англии.

1895 — выходит «Вторая книга джунглей». Киплинги в Англии.

1896, 2 февраля — рождение второй дочери Элси (Аписы).

Август — после ссоры с шурином и судебных слушаний по

разделу земли РК забирает жену и детей и возвращается из США обратно в Англию. Торки.

Осень — выходит поэтический сборник «Семь морей».

1897, 2 апреля — избирается почетным членом лондонского клуба «Атенеум».

Июнь — Киплинги снимают дом «Вязы» в Роттингдине, под Брайтоном, в графстве Суссекс.

17 июля — в «Таймс» печатается «Последнее песнопение», написанное на шестидесятилетие восшествия на престол королевы Виктории.

17 августа — рождение сына Джона.

Осень — выходит повесть «Отважные капитаны».

1898, 8 января — Киплинги отплывают в Кейптаун, где живут до апреля.

Весна — в издательстве Макмиллана выходит сборник рассказов РК «Труды дня», куда вошли одиннадцать рассказов, в основном из периодической печати, в частности из журнала «Иллюстрейтед Лондон ньюс».

1899 — отказывается от предложенного ему ордена Бани второй степени.

Январь — Киплинги отплывают в Нью-Йорк.

Февраль — в Нью-Йорке Киплинг заболевает тяжелым воспалением легких.

6 марта — от воспаления легких в возрасте шести лет умирает дочь РК Джозефин.

Июнь — Киплинги возвращаются в Англию. РК отказывается от рыцарского звания. Выходят автобиографическая книга РК о пребывании в Юнайтед-Сервисез-колледж «Прохвост и компания» и сборник путевых очерков «От моря до моря».

1899–1902 — Англо-бурская война. С октября РК создает по всей стране так называемые «ружейные клубы», начинает кампанию за создание фонда помощи солдатским семьям. В конце 1899 года едет в Южную Африку, состоит в штате выходящей в Блумфонтейне военной газеты «Друг», пишет репортажи с места событий, сочиняет агитки, выступает с декларациями и патриотическими призывами.

1900, 20 января — 28 апреля — очередное пребывание в Южной Африке, куда Киплинги выезжают с 1900 по 1908 год каждую зиму.

Лето — завершение работы над романом «Ким». Декабрь — начало публикации «Кима» в журнале «Макклюрз мэгэзин».

1901, январь — ноябрь — публикация «Кима» в журнале «Кэсселз мэгэзин».

Октябрь — «Ким» выходит отдельным изданием сначала в

Нью-Йорке, затем, с незначительными изменениями, в Лондоне в издательстве Макмиллана.

1902, сентябрь — продав «Наулаху», Киплинги переезжают в особняк «Бейтменз» (Бэруош, графство Суссекс). Октябрь — выходят «Просто сказки» с рисунками РК.

1903 — вторично отказывается от рыцарского звания, от орденов Святого Михаила и Святого Георгия. Отказывается от поездки в Индию в составе королевской делегации во главе с принцем Уэльским. Выходит сборник стихов «Пять народов».

1904 — выходит сборник рассказов «Пути и открытия», в котором печатается рассказ «Они», посвященный памяти Джозефин.

1906 — выходит сборник исторических сказок РК «Пак с Пукова холма».

1907 — получает Нобелевскую премию по литературе «за силу наблюдения, оригинальность концепции и мужественность стиля». В Нью-Йорке выходят «Избранные стихотворения» РК.

1908 — РК вручается диплом почетного доктора Кембриджского университета.

1909 — выходит сборник рассказов РК «Действия и противодействия».

1910 — выходит сборник «Награды и чудеса».

Ноябрь — смерть матери, Алисы Киплинг.

1911, январь — смерть Джона Локвуда Киплинга, отца РК. Пишет школьную «Историю Англии» (совместно с У. Флетчером).

1913 — путешествие в Египет. Выходят «Путешествие в письмах» и поэтический сборник «Песни из книг».

1914 — Первая мировая война. Сын РК Джон поступает в действующую армию младшим лейтенантом (субалтерном) в составе полка Ирландских гвардейцев.

1915, август — выезжает на линию фронта во Франции.

Сентябрь — посещает корабли ВМФ Великобритании. После наступления английских войск под бельгийским городом Лооз Джон Киплинг объявлен пропавшим без вести.

1917 — выходит сборник рассказов «Разнообразие существ». РК начинает писать историю Ирландских гвардейцев. РК — член комиссии по захоронению погибших на войне британских солдат и офицеров.

1919 — выходит поэтический сборник РК «Междулетие». Выходит «Полное собрание стихотворений Редьярда Киплинга» (переиздания 1921, 1927, 1933).

1920 — получает диплом почетного доктора Эдинбургского университета.

1921 — отказывается от ордена Почета; вторично

отказывается (1924). Награждается почетными дипломами Сорбонны и Страсбургского университета.

1922 — становится ректором университета Святого Андрея.

Киплинги посещают поля сражений Первой мировой войны во Франции, где РК знакомится с английским королем Георгом У между писателем и монархом устанавливаются дружеские, доверительные отношения. Ноябрь — болезнь, подозрение на рак желудка, операция.

1923 — выходят исторический труд «Ирландские гвардейцы

в мировой войне» в двух томах со списком награжденных и погибших в приложении, а также «Истории на земле и на море». РК назначается членом правительственной комиссии по наблюдению за состоянием военных кладбищ.

1924 — Элси Киплинг выходит замуж за Джорджа Бэмбриджа. РК вручается почетная степень доктора философии Афинского университета.

1926 — путешествует по Южной Америке. Выходит сборник рассказов «Приходы и расходы».

1927 — выходят «Бразильские очерки». В Англии основано Киплинговское общество.

1928 — выходит «Книга слов».

1930 — поездка в Вест-Индию. Кэрри Киплинг серьезно заболевает и три месяца лежит в больнице на Бермудах.

1932 — выходит сборник «Границы и обновления», куда вошли рассказы, написанные в основном в 1927–1928 годах.

1933 — парижский врач обнаруживает у Киплинга язву двенадцатиперстной кишки.

1936,12 января — по пути на лечение в Канны попадает в лондонскую больницу «Миддлсекс хоспитал», где, в ночь на 13-е, переносит операцию.

18 января — после полуночи умирает от развившегося после операции перитонита.

23 января — захоронение праха РК в Уголке поэтов, в Вестминстерском аббатстве.

1937 — посмертно выходит автобиография «Немного о себе.

Для моих друзей — знакомых и незнакомых». 1937–1939 — выходит полное, так называемое «суссекское» собрание сочинений Редьярда Киплинга в 35 томах.

1939 — смерть жены РК Кэролайн Киплинг, урожденной Бейлстир.

1941 — Томас Стернз Элиот выпускает сборник избранных стихотворений Киплинга и пишет к нему предисловие, в котором отдает дань забытому поэту.

1958 — Т. С. Элиот выступает в Киплинговском обществе с

прочувствованной речью о Киплинге, опубликованной в марте 1959 года в «Киплинговском журнале». Поворотный пункт в отношении к поэзии Киплинга в Англии и США. Элиот называет Киплинга крупнейшей литературной фигурой своего поколения.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

1) Произведения Р. Киплинга

Лиспет. Рассказы. Л., 1968.

Стихотворения и рассказы. М., 1976.

Избранное. Л., 1980.

Стихотворения и рассказы. Л., 1989.

Стихотворения. М., 1990.

Рассказы. Стихи. Сказки. М., 1990.

Ким. М., 1990.

Восток есть Восток. Рассказы. Путевые заметки. Стихи. М., 1991.

Собрание сочинений: В 5 т. М., 1991.

Сочинения: В 3 т. М., 2000.

Стихотворения. Книга джунглей. Рассказы. Свет погас. Ким. М., 2004.

Brazilian Sketches. New York, 1927.

A Choice of Kipling's Verse. London, 1941.

The Collected Works of Rudyard Kipling. V. 1—28. New York, 1941.

The Complete Works of Rudyard Kipling. V. 1—35. London, 1937–1939.

«O Beloved Kids»: R. Kipling's Letters to His Children. Lon-don, 1983.

Poems. Short Stories. Moscow, 1983.

Souvenirs of France. London, 1933.

Kipling's India: Uncollected Sketches 1884–1888. London, 1986.

Kipling's Japan. London, 1988.

Kipling's Mind and Art. Essays. Edinburgh — London, 1964.

2) Литература о Р. Киплинге

Amis K. Rudyard Kipling and His World. London, 1975.

Annan N. Kipling's Mind and Art: Essays. London, 1965.

Baldwin A. W. The McDonald Sisters. London, 1961.

Birkenhead F. W. Rudyard Kipling. London, 1978.

Bradley N. Son of Empire. London and Glasgow, 1945.

Brown H. Rudyard Kipling. A New Appreciation. London, 1946.

Carrington C. Rudyard Kipling. His Life and Work. London, 1955.

Cornell L. L. Kipling in India. London — New York, 1967.

Dobree B. Rudyard Kipling. Realist and Fabulist. Oxford, 1967.
Fido M. Rudyard Kipling. London, 1974.
Henn T.R. Kipling. Edinburgh — London, 1974.
Kemp S. Kipling's Hidden Narratives. Oxford — New York, 1988.
Kipling and the Critics. New York, 1965.
Kipling: Interviews and Recollections. London, 1983.
Kipling. The Critical Heritage. London, 1971.
Manley S. Rudyard Kipling. New York, 1965.
Mason P. Kipling: The Glass, the Shadow, and the Fire. Lon-don, 1975.
Page N. A Kipling Companion. London, 1984.
Seymour-Smith M. Rudyard Kipling. London, 1989.
Stewart J., Tunes M. Rudyard Kipling. London, 1966.
Theroux P. The White Man's Burden. London, 1987.
Tompkins, J.M.S. The Art of Rudyard Kipling. London, 1959.
Wilson A. The Strange Ride of Rudyard Kipling. His Life and Works. New York, 1978.
Wilson E. The Wound and the Bow. London, 1961.

notes

Примечания

1

Пер. Вяч. Вс. Иванова.

2

Киплинг Р. Немного о себе. Для моих друзей — знакомых и незнакомых. М., 2003. Пер. Д. Вознякевича.

3

Пер. Н. Голя.

4

Пер. М. Кан.

5

В те годы Уильям Моррис владел фабрикой мебели и предметов домашнего убранства и обставлял Грейндж сам.

«Stalky&Co» (1899). По-русски известна под названием «Сталки и компания». — Прим. ред.

Цит. по предисл. Ю. Кагарлицкого в кн.: Киплинг Р. Рассказы. Стихи. Сказки. М.: Высшая школа, 1990.

8

Цит. по вступ. ст. А. Долинина «О Редьярде Киплинге» в кн.: Киплинг Р. Избранное. Л.: Художественная литература, 1980. С. 9.

9

В кн.: Киплинг Р. Немного о себе. От моря до моря. М., 2003.

10

Цитаты из романа «Свет погас» даются в переводе В. Хинкиса.

11

Пер. М. А. Шишмаревой.

12

Пер. А. Оношкович-Яцыны и Г. Фиша.

13

Здесь и далее перевод Н. Гиляровской.

Здесь и далее перевод И. Бернштейн.

15

Цит. по предисл. Е. Гениевой в кн.: Киплинг Р. Восток есть Восток. Рассказы. Путевые заметки. Стихи. М.: Художественная литература, 1991. С. 7.

16

Куприн А. И. Собрание сочинений: В 6 т. Т. VI. М.: Художественная литература, 1958. С. 609.

17

Бунин И. А. Куприн. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 9. М.: Художественная литература, 1967. С. 394.

18

Киплинг Р. Восток есть Восток. С. 6.

19

Кокни — представители лондонского простонародья, а также их диалект, о котором дает некоторое представление речь героини «Пигмалиона» Элизы Дулитл. «Кокни» Киплинга во многом стилизован, перемешиваясь с англо-индийскими выражениями и солдатским жаргоном. — Прим. ред.

20

Речь идет о гражданской войне XVII века в Англии, где «круглоголовыми» (не носящими париков) называли приверженцев Оливера Кромвеля, а «кавалерами» — сторонников короля. — Прим. ред.

21

Пер. К. Чуковского и Р. Померанцевой.

22

Цит. по предисл. Ю. И. Кагарлицкого в кн.: Киплинг Р. Рассказы. Стихи. Сказки. М.: Высшая школа, 1989. С. 46–47.

23

Пер. Ксении Атаровой.

24

Дочь Чарльза Элиота Нортона Салли гостила в это время у Киплингов в Роттингдине.

«Южная Африка». Пер. Е. Витковского.

26

В 1893–1897 годах Великобритания вела две войны с воинственным племенем матабеле, населявшим Южную Родезию (ныне Зимбабве). — Прим. ред.

27

Пер. Ю. Кагарлицкого.

28

Джеймс сказал однажды, что в своих книгах Киплинг переходит от англо-индийцев к туземцам, от туземцев — к солдатам, от солдат — к четвероногим, от четвероногих — к рыбам, от рыб — к машинам и винтикам. В одном из писем Джеймс замечает, что утратил надежду на то, что из Киплинга-рассказчика «произрастет когда-нибудь английский Бальзак».

Здесь и далее перевод М. Клягиной-Кондратьевой.

30

Пер. В. Хинкиса.

31

«Добровольно пропавший без вести». Пер. К. Симонова.

32

«Голая правда» (лат.).

33

Убийца! (фр.).

Рабочие (фр.).

35

При отсутствии воздержавшихся (лат.).

Это ясно без слов (фр.).

Здесь: жестокости (фр.).

38

Хукка (инд.) — прибор для курения.

39

Сластена (фр.).